

ГРАНИ

GRANY

40
1958

Postverlagsort: Frankfurt (Main), 1. 10. 1958

Г Р А Н И

ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Год издания XIII

№ 40

Октябрь - Декабрь 1958 г.

СОДЕРЖАНИЕ

«ДЕЛО» ПАСТЕРНАКА	3
БОРИС ПАСТЕРНАК — Избранное	11
НИКОЛАЙ ОЦУП — Подвиг одиночки	51
Н. АНАТОЛЬЕВА — Пастернак и мировая общественность	54
Р. РЕДЛИХ — Философские выписки из «Доктора Живаго»	78
МИХАИЛ БЕРЛОГИН — Сон о жизни	98
ВАСИЛИЙ БАРСОВ — О Пастернаке	102
Л. ДУВИНГ — Нобелевские премии	117

ПРОЗА

ЖОРЖ БЕРНАНОС — Записки сельского священника. Перевод с французского Е. Таубер. (Окончание)	121
--	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

Н. ЧЕЛОВСКИЙ — Коммунистический империализм	207
С. КИРСАНОВ — Школа в свободной России	219
В. ТРЕМЛЬ — Будущее государственных займов СССР	229
Б. СЕРГЕЕВ — Объективные элементы революционного процесса в России	237

БИБЛИОГРАФИЯ

Ив. Сергеев. Банкротство. — В. Арсеньев. «Миссия» — Л. З. «Со- ветский человек». — Л. Зальцберг. Ядерное оружие и внешняя политика. — М. Шведова. «Волк из Лазкварэ»	249
--	-----

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Документы за октябрь-декабрь 1958 г.	261
--------------------------------------	-----

«ДЕЛО» ПАСТЕРНАКА

Писатель Борис Пастернак написал роман. Событие для нашей страны вполне заурядное: писатели у нас насчитываются тысячами, — если судить по числу членских билетов ССП, — и все они пишут романы. Однако, это заурядное, казалось бы, событие положило основу «делу Пастернака». Роман оказался незаурядным.

В чем же необычность романа «Доктор Живаго»?

Конечно, ни в его литературных достоинствах или недостатках, ни в его художественных образах, ни в его сюжете, ни в исторической эпохе, которая в нем отражена, ни, даже, в его философской концепции. Необычность романа заключается в том, что Пастернак был искренен от первого до последнего слова.

Борис Пастернак мог положить свой необычный роман в ящик стола, как это делают те немногие наши писатели, которые, движимые совестью, доверяют бумаге свои искренние мысли и чувства. Пастернак поступил необычно: он послал свой роман в редакции журналов. В нашей стране сотни издательств и журналов, но не нашлось ни одного редакционного коллектива, чье мужество соответствовало бы искренности романа. Тогда Пастернак передал роман итальянскому издателю, коммунисту Филетринелли, который и вывез рукопись за границу. За границей роман был переведен на многие языки и издан.

В конституциях почти всех государств записано право на свободу слова. Но права на бумаге — это одно, а в жизни — другое. Коммунистические писатели, например, Италии не экспортируют свои романы к нам, а издают их у себя на родине. Бумажные права советской конституции не выдержали соревнования с правами, записанными в конституциях капиталистических государств.

Когда Борису Пастернаку присудили Нобелевскую премию, у нас началась истерика. На писателя обрушили всю мощь партийно-пропагандного аппарата. Но какой немощной оказалась эта мощь! В идейном арсенале партии не нашлось ничего, кроме базарной ругани, проклятий, истерических выкриков: ату его, ату!

«Союз советских писателей» исключил Бориса Пастернака из своего состава и лишил его «звания советского писателя». Хотели нанести удар Пастернаку, нанесли удар по самим себе.

Войти в литературу — значит творить. Место писателя в литературе определяется его произведениями. Писатель — это не «звание», а призвание, осуществить которое дано только тому, у кого талант неразрывно сливается с искренностью и мужеством. А без них не только малый, но большой талант легко покрыть позором.

Реакционные вельможи елизаветинских времен интриговали против Ломоносова и добивались его удаления из Академии. По этому поводу великий ученый сказал: «Можно отставить Ломоносова от Академии, но невозможно отставить Академию от Ломоносова». Можно исключить Бориса Пастернака из «Союза советских писателей», но нельзя исключить его из русской литературы.

Борису Пастернаку предложили покинуть родину. Он отказался. По этому поводу кто-то заметил, что вместо автора эмигрировал роман. Но эта эмиграция была очень кратковременной. Одно за другим выходят за границу русские издания романа и книга за книгой самыми разнообразными путями устремляется «Доктор Живаго» на родину, к своему автору, к своему народу.

Известности романа, пробуждению интереса к нему очень способствовала травля писателя. «Раз так ругают, значит что-то там есть». Но главный мотив, толкающий людей на поиски «крамольной», запрещенной книги, иной. Он глубже и опаснее для коммунистического режима. Он проистекает из внутреннего протеста, пробужденного в людях требованием осуждать книгу, которую даже не разрешили прочесть.

Роман «Доктор Живаго» найдет своих благодарных читателей и окажет большое влияние на идейную, духовную жизнь народа. Он не является политическим произведением, этого не было и в замысле автора. Но сам коммунистический режим, содрогнувшийся в страхе перед мужественным творческим актом Бориса Пастернака, превратил роман «Доктор Живаго» в политическое явление общенародного значения.

Борис Пастернак совершил дело большого мужества. И мы, вместе с ним, старым русским писателем и поэтом, верим, что

... придет пора
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.

«Единогласное осуждение»

О действиях члена Союза писателей СССР Б. Л. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя

Президиум правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиум правления Московского отделения Союза писателей РСФСР на совместном заседании обсудили действия Б. Пастернака и пришли к единодушному выводу, что эти действия не совместимы со званием советского писателя, направлены против традиций русской литературы, против мира и социализма. Начав когда-то с деклараций о «чистом искусстве», Б. Пастернак кончил тем, что стал орудием буржуазной пропаганды, выподным объектом спекуляции для тех кругов, которые организуют холодную войну, стараются обогатить все прогрессивные и революционные движения. Реакционные круги встретили морально-политическое падение Б. Пастернака с одобрением совсем не потому, что ценят в нем какой-то писательский талант, а потому, что он присоединился к их ожесточенной, но безнадежной борьбе против поступательного движения истории.

Литературная деятельность Б. Пастернака давно иссякла в эгоцентрическом затворничестве, в самоизоляции от народа и времени. Роман «Доктор Живаго», вокруг которого поднята пропагандистская возня, обнаруживает только непомерное самомнение автора при нищете мысли, является воплем перепутанного обывателя, обиженного и уstraшенного тем, что история не пошла по кривым путям, которые он хотел бы ей предписать. Идея романа фальшива и ничтожна, выгашена с декадентской свалки. В самом деле, Б. Пастернак силится доказать, что Октябрьская революция была незакономерна и не нужна, в то время когда Советский Союз празднует свою сорок первую годовщину, как могучая и просвещенная держава, стоящая в первых рядах мировой культуры и науки. Победа социализма уже исторически утверждена на огромных территориях Европы и Азии. Прогрессивной мысли и преобразующему деянию Б. Пастернак пытается противопоставить цинично индивидуалистическую философию героя романа «Доктор Живаго». Исчерпывающая оценка романа «Доктор Живаго» дана в письме писателей — членов редколлегии журнала «Новый мир» в сентябре 1956 года.

Союз советских писателей, бережно относясь к творчеству писателей, на протяжении ряда лет стремился помочь Б. Пастернаку понять свои заблуждения,

Постановление президиума правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР, президиума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР.

избежать морального падения. Но Б. Пастернак порвал последние связи со своей страной и ее народом, превратил свое имя и свою деятельность в политическое орудие в руках реакции. Присуждение Б. Пастернаку Нобелевской премии по существу за роман «Доктор Живаго», наспех прикрытое высокопарными фразами о его лирике и прозе, в действительности подчеркивает политическую сторону нечистоплотной игры реакционных кругов. Симптоматично и показательно, что одни и те же силы организуют походы против национально-освободительных движений, военный шантаж против арабских народов, устраивают провокации против народного Китая и поднимают шум вокруг имени Б. Пастернака. Присуждение Нобелевской премии Б. Пастернаку сопровождается усилением антисоветской кампании, что уже само по себе свидетельствует о пропагандистском, а не литературном характере этого напразднения.

Факты состоят в том, что, к сожалению, не в первый раз литературные Нобелевские премии присуждаются тем, кто служит человеконенавистническим силам холодной войны, организующим крестовые походы против социального прогресса и гуманизма. Литературный Нобелевский комитет не заметил всемирно известных художественных ценностей, созданных Львом Толстым, Чеховым, Горьким, Маяковским, Шолоховым, но зато в поле его внимания попал Бунин только тогда, когда он стал активным политическим эмигрантом, а теперь — отщепенец Б. Пастернак. И вполне понятно, почему премия Б. Пастернаку оценена в буржуазной прессе, как «Нобелевская премия — против коммунизма». Честные люди и в самой Швеции, и в других странах открыто высказывают мнение, что Нобелевская премия присуждена Б. Пастернаку исключительно по политическим мотивам.

Поэтому, учитывая политическое и моральное падение Б. Пастернака, его предательство по отношению к советскому народу, к делу социализма, мира, прогресса, оплаченное Нобелевской премией в интересах разжигания холодной войны, — президиум правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиум правления Московского отделения Союза писателей РСФСР лишают Б. Пастернака звания советского писателя, исключают его из числа членов Союза писателей СССР.

(Принято единогласно)

Единодушное осуждение

Вопрос о действиях члена Союза писателей СССР Б. Пастернака, не совместимых со званием советского писателя, обсуждался вчера на совместном заседании президиума правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиума правления Московского отделения Союза писателей.

После вступительного слова председательствовавшего на заседании Н. Тихонова и выступления секретаря правления Союза писателей СССР Г. Маркова развернулось горячее обсуждение, в котором приняли участие С. Михалков, В. Катаев, Г. Гулиа, Н. Зарян, В. Ажаев, М. Шагинян, М. Турсун-заде, Ю. Смолич, Г. Николаева, Н. Чуковский, В. Панова, М. Луконин, А. Прокофьев, А. Караваева, Л. Соболев, В. Ермилов, С. Антонов, Н. Грибачев, Б. Полевой, С. С. Смирнов, А. Яшин, П. Нилин, С. В. Смирнов, А. Венцлова, С. Щипачев, И. Абашидзе, А. Токмобаев, С. Рагимов, Н. Атаров, В. Кожевников, И. Анисимов и другие писатели.

Все участники заседания единодушно осудили предательское поведение Пастернака, с гневом отвергнув всякую попытку наших врагов представить этого внутреннего эмигранта советским писателем. Выступавшие призывали всех советских литераторов еще теснее сплотиться вокруг Коммунистической партии, быть еще более бдительными и непримиримыми борцами за чистоту советской идеологии.

«Президиум правления Союза писателей СССР, бюро Оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиум правления Московского отделения Союза писателей РСФСР, — говорится в единогласно принятом постановлении, — лишают Б. Пастернака звания советского писателя, исключают его из числа членов Союза писателей СССР».

«Литературная газета» № 129 (3940) от 28 октября 1958 года.

Вольное обсуждение

(Из разговоров с советскими гражданами о «Деле» Пастернака)

Советская власть отдает себе отчет в опрометчивости решения и придаче нежелательной опласки и рекламы «Доктору Живаго».

✱

Так мы и поверили партии! У нас Пастернак считается большим поэтом и писателем. Партия отдает себе отчет в том, что не все так думают, как она! Мой значок комсомольца? Он не имеет никакого отношения к моим мыслям.

✱

Наш писатель, а сначала издают итальянцы! Ну, за это — молодцы итальянцы!

✱

У нас книгу «Доктор Живаго» читают по очереди.

✱

Это какой же Пастернак? Да тот, что написал какой-то антисоветский роман... Ну, как его? «Доктор Живаго»! Написано, наверно, здорово, в особенности конец. За него ему наверно и досталось. Эх, жалко премии! Да кто добровольно от такой премии откажется...

✱

Да, Пастернак правильно дал! Печатают ли у нас из-под полы? Конечно! Это у нас живо обтяпают. В Одессе наверно уже толкнули тысячным тиражом. Дундичева, говорят, тоже стали производить домашними средствами.

✱

Пастернак натворил делов! Его хотели даже из Советского Союза выставить. Ну, он стал упрашивать, чтобы его не выгоняли и отказался от премии. Если бы Шолохову дали премию, было бы в порядке.

*

«Доктора Живаго» мы не читали. Судить трудно, но наверное правду написал, потому так и шумели.

*

Мы этой книги не читали, но много слышали о ней. Говорят, что ее можно достать у нас дома. Можно ли ее достать здесь?

*

«Доктора Живаго» не напечатали потому, что у нас всегда что-нибудь найдут.

*

С этой книгой будет так же, как и с «Не хлебом единым». Пошумят, пошумят, да и напечатают.

*

Книгу Пастернака не читал, но считаю, что писатель должен отражать в своем творчестве жизнь того общества, в котором он живет.

*

О книге слышал. Правда ли, что этот роман написан на высоком художественном уровне? .. Тогда возьму его с собой.

*

Сейчас печатаются всякие крамольные произведения. Например, «Районные будни» — явно антисоветская повесть.

*

Его из России никто не выпонял. Ему просто была предоставлена свобода выбора, и если бы он пожелал выехать из Советского Союза, ему никто бы не помешал. Он и сам признал, что в своем романе написал много лишнего. За это его критикуют и писатели и студенты.

*

Почему вы ухватились за Пастернака? (Куда ни придеешь, только об этом и слышишь! Почему не говорите об Эренбурге? Или он для вас не авторитет?

*

У нас на родине продают эту книгу из-под полы. Этим занимаются иностранные дипломаты. Сколько стоит — не знаю, но слышал, что иностранные дипломаты спекулируют книгой «Доктор Живаго».

*

Раз у нас эту книгу осуждают, значит она направлена против нашего народа, против всех нас. Говорят, что книгу издали за границей без ведома Пастернака и написали в ней таких вещей, каких у Пастернака совсем не было. Ведь сам же Пастернак протестовал против издания этой книги, и, говорят, написал новую. Тем не менее, его не послушали и напечатали, чтобы заработать на этом деле. Так что Пастернак здесь ни при чем. Кто его знает, кто вообще написал эту книгу ...

*

А что в этой книге написано, что о ней так много гаму везде подняли? .. За книгу спасибо, но раз ее у нас запрещают, то лучше не надо, а то попадет еще!

*

«Доктор Живаго»? .. Здесь не место говорить об этом, и давайте не говорить о политике.

Что слышно про Пастернака? Да прошло уже это дело! Сейчас тихо.

✱

Это уже старое! Пошумели и отшумели. Интересно было бы почитать, но у нас за эту книжонку по головке не погладят! Можно и мореходку положить на стол, если увидят... Что говорили в народе? Ну, по-разному: одни ругали, другие дураком называли. За что?! Да за то, что от премии отказался!

✱

Какова популярность Пастернака в народе? Об этом и спрашивать не стоит! Популярность его на очень большой высоте. Вот я как раз хотел вас спросить, не имеете ли вы эту книгу, чтобы хотя посмотреть на нее. Какого она размера? Больше Библии? Жаль, что такая большая и неудобная для перевозки.

✱

У нас о Пастернаке тоже много писали, но совсем по-другому, чем здесь. До этого романа Пастернака дома мало кто знал. Ведь он, в основном, переводчик. Теперь-то его все знают!

✱

А вы знаете, что когда была шумиха вокруг Пастернака, то все его самые дряхлые и слабые произведения были в миг раскуплены?

✱

«Доктора Живаго»? Нет, не читал... Только слышали. Хорошее или плохое? Только плохое. Я читал кой-какие выдержки, не понравилось. Она у нас, кажется, тоже была издана, только малым тиражом, говорят, что-то около 5 000... Сейчас есть много хороших книг. Вы не читали «Битва в пути» Галины Николаевой? Хорошая книга, жалко только — конец как-то скомкан. В первом издании, в «Октябрьском», она была лучше. Читал и «Не хлебом единым» и «Станция Зима». Хорошая поэма! Что с самим Пастернаком? Ну что ж, поругали его немножко. Досталось старику!

✱

Пастернак — человек старой школы. Он высказал свои субъективные взгляды относительно нашего общества, за что и подвергся партийной критике. Раз человек ругает общество, которое его кормит и одевает, то оно имеет право такого человека исключить из своих рядов. Однако, я думаю, что если бы Пастернак не поспешил издать свою книгу за границей, ее бы издали в Советском Союзе. Ведь издали же «Не хлебом единым», «Битву в пути» и другие? Поругали вначале, но издали. Правительство имеет право ругать! Ведь оно создает писателю возможность писать и издавать свои труды? Бумага, на которой пишут — государственная? Типографская краска и работа тоже? Вот, пользуясь всем этим, писатель должен писать то, что выгодно государству!

✱

Скажите, книга Пастернака кем издана? Расскажите хотя бы главные факты! Почему именно эта книга тронула весь мир? Неужели думают, что русский народ и духом и всем опустел? Кто так думает, тот плохо знает наш народ и наш характер, не правда ли?... Хотелось бы ее прочитать! Самое главное, что он — наш русский поэт и, я думаю, он должен жить и чувствовать по-русски! Знаете, как это важно и нужно для народа, для каждого человека, который колеблется, такая моральная поддержка?..



ПОЭЗИЯ

Борис Пастернак

Избранное

ИЗ СБОРНИКА «ПОВЕРХ БАРЬЕРОВ»

(1912—1916 гг.)

* *
*

Как бронзовой золой жаровень,
Жуками сыплет сонный сад.
Со мной, с моей свечою вровень
Миры расцветшие висят.

И как в неслыханную веру,
Я в эту ночь перехожу,
Где тополь обветшало-серый
Завесил лунную межу,

Где пруд, как явленная тайна,
Где шепчет яблони прибой
И сад висит постройкой свайной
И держит небо пред собой.

* *
*

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен
Через благовест, чрез клик колес
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

ВЕСНА

Что почек, что клейких заплывших огарков
Налеплено к веткам! Затеplen
Апрель. Возмужалостью тянет из парка,
И реплики леса окрепли.

Лес стянут по горло петлею пернатых
Гортаней, как буйвол арканом,
И стонет в сетях, как стенает в сонатах
Стальной гладиатор органа.

Поэзия! Греческой губкой в присосках
Будь ты, и меж зелени клейкой
Тебя б положил я на мокрую доску
Зеленой садовой скамейки.

Расти себе пышные брызжи и фижмы,
Вбирай облака и овраги,
А ночью, поэзия, я тебя выжму
Во здравие жадной бумаги.

МАРБУРГ

(1915 г.)

Я вздрагивал. Я загорался и гас.
Я трясся. Я сделал сейчас предложение, —
Но поздно, я сдрейфил, и вот мне — отказ.
Как жаль её слез! Я святого блаженной!

Я вышел на площадь. Я мог быть сочтен
Вторично родившимся. Каждая малость
Жила и, не ставя меня ни во что,
В прощальном значении своем подымалась

Плитняк раскалялся, и улицы лоб
Был смугл, и на небо глядел исподлобья
Булыжник, и ветер, как лодочник, греб
По липам. И все это были подобья.

Но, как бы то ни было, я избегал
Их взглядов. Я не замечал их приветствий.
Я знать ничего не хотел из богатств.
Я вон вырывался, чтоб не разреветься.

Инстинкт прирожденный, старик-подхалим,
Был невыносим мне. Он крался бок о бок
И думал: «Ребятня зазноба. За ним,
К несчастью, придется присматривать в оба».

«Шагни и еще раз», — твердил мне инстинкт,
И вел меня мудро, как старый схоластик,
Чрез девственный, непроходимый тростник
Нагретых деревьев, сирени и страсти.

«Научишься шагом, а после хоть в бег», —
Твердил он, и новое солнце с зенита
Смотрело, как сызнава учат ходьбе
Туземца планеты на новой планиде.

Одних это всё ослепляло. Другим —
Той тьмою казалось, что глаз хоть выколи.
Копались цыплята в кустах георгинов,
Сверчки и стрекозы, как часики, тикали.

Плыла черепица, и полдень смотрел,
Не смаргивая, на кровли. А в Марбурге
Кто, громко свища, мастерил самострел,
Кто молча готовился к Троицкой ярмарке.

Желтел, облака пожирая, песок.
Предгрозые играло бровями кустарника.
И небо спекалось, упав на кусок
Кровоостанавливающей арники.

В тот день всю тебя, от гребенок до ног,
Как трагик в провинции драму Шекспирову,
Носил я с собою и знал на-зубок,
Шатался по городу и репетировал.

Когда я упал пред тобой, охватив
Туман этот, лед этот, эту поверхность
(Как ты хороша!) — этот вихрь духоты . . .
О чем ты? Опомнись! Пропало. Отвергнут.

Тут жил Мартин Лютер. Там — братья Гримм.
Когтистые крыши. Деревья. Надгробья.
И всё это помнит и тянется к ним.
Всё — живо. И всё это тоже — подобья.

Нет, я не пойду туда завтра. Отказ —
Полнее прощанья. Всё ясно. Мы квиты.
Вокзальная сутолока не про нас.
Что будет со мною, старинные плиты?

Повсюду портпледы разложит туман,
И в обе оконницы вставит по месяцу.
Тоска пассажиркой скользнет по томам
И с книжкой на оттоманке поместится.

Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику,
Бессонницу знаю. У нас с ней союз.
Зачем же я, словно прихода лунатика,
Явления мыслей привычных боюсь?

Ведь ночи играть садятся в шахматы
Со мной на лунном паркетном полу,
Акацией пахнет, и окна распахнуты,
И страсть, как свидетель, седеет в углу.

И тополь — король. Я играю с бессонницей.
И ферзь — соловей. Я тянусь к соловью.
И ночь побеждает, фигуры сторонятся,
Я белое утро в лицо узнаю.

ПОСЛЕ ДОЖДЯ

За окнами давка, толпится листва
И палое небо с дорог не подобрано.
Все стихло. Но что это было сперва!
Теперь разговор уж не тот, и по-доброму.

Сначала все опрометью, вразноряд
Ввалилось в ограду деревья развенчивать,
И попраным парком из ливня — под град,
Потом от сараев — к террасе бревенчатой.

Теперь не надьшишься крепью густой.
А то, что у тополя жилы полопались, —
Так воздух садовый, как соды настой,
Шипучкой играет от горечи тополя.

Со стекол балконных, как с бедер и спин
Озябших купальщиц — ручьями испарина.
Сверкает клубники мороженный клин,
И градинки стелются солью поваренной.

Вот луч, покатайся с паутины, залег
В крапиве, но кажется это ненадолго,
И миг недалек, как его уголек
В кустах разожжется и выдует радугу.

ИЗ СБОРНИКА «СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ»

(Лето 1917 года)

СЕСТРА МОЯ ЖИЗНЬ

Сестра моя жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.

У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

Что в мае, когда поездов расписание
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней Святого Писанья
И черных от пыли и бурь канале.

Что только нарвётся, разлаявшись, тормоз
На мирных сельчан в захолустном вине,
С матрацев глядят, не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезнает мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем: жалею, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью,
И рушится степь со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фатаморганой любимая спит
Тем часом, как сердце, плеча по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

* *
*

Ты в ветре, веткой пробуящем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробушком
Сиреневая ветвь!

У капель — тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес.
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.

Моей тоскою вынянчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.

Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой прогорклости
По платью пробежал.

Разбужен чудным перечнем
Тех прозвищ и времен,
Обводит день теперешний
Глазами анемон.

ПЛАЧУЩИЙ САД

Ужасный! — Капнет и вслушается,
Все он ли один на свете
Мнет ветку в окне, как кружевце,
Или есть свидетель.

Но давится внятно от тягости
Отеков — земля ноздревая,
И слышно: далеко, как в августе,
Полуночь в полях назревает.

Ни звука. И нет соглядатаев.
В пустынности удостоверюсь,
Берется за старое — скатывается
По кровле, за жолоб и через.
К губам поднесу и прислушаюсь,
Все я ли один на свете,
Готовый навзрыд при случае,
Или есть свидетель.
Но тишь. И листок не шелохнется.
Ни признака зги, кроме жутких
Глотков и плескания в шлепанцах,
И вздохов, и слез в промежутке.

ПРО ЭТИ СТИХИ

На тротуарах истолку
С стеклом и солнцем пополам,
Зимой открою потолок
И дам читать сырым углам.
Задекламирует чердак
С поклоном рамам и зиме,
К карнизам прянет чехарда
Чудаществ, бедствий и замет.
Буран не месяц будет мечь,
Концы, начала заметет.
Внезапно вспомню: солнце есть;
Увижу: свет давно не тот.
Галчонком глянет Рождество,
И разгулявшийся денек
Прояснит много из того,
Что мне и милой невдомек.
В кашне, ладонью заслонясь,
Сквозь фортку крикну детворе:
— Какое, милые, у нас
Тысячелетье на дворе?
Кто тропку к двери проторил,
К дыре, засыпанной крупой,
Пока я с Байроном курил,
Пока я пил с Эдгаром По?
Пока в Дарьял, как к другу вхож,
Как в ад, в цейхгауз и в арсенал,
Я жизнь, как Лермонтова дрожь,
Как губы в вермут окунал.

ЗАНЯТЬЯ ФИЛОСОФИЕЙ

Определение поэзии

Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.

Это — сладкий, заглохший горох,
Это — слезы вселенной в лопатках,
Это — с пультов и с флейт —
Низвергается градом на грядку.

Все, что ночи так важно сыскать
На глубоких купаленных доньях,
И звезду донести до садка,
На трепещущих, мокрых ладонях.

Площе досок в воде — духота.
Небосвод завалился ольхою.
Этим звездам к лицу б хохотать,
Ан вселенная — место глухое.

Определение души

Спелой грушею в бурю слететь
Об одном безраздельном листе.
Как он предан, — расстался с суком!
Сумасброд, — задохнется в сухом!

Спелой грушею, ветра косей.
Как он предан, — меня не затреплет,
Оглянись: — отгремела в красе,
Отпылала, осыпалась, — в пепле.

Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?
О мой лист, ты пугливей щегла!
Что ты бьешься, о шелк мой застенчивый?

О, не бойся, приросшая песнь!
И куда порываться еще нам?
Ах, наречье смертельное «здесь» —
Невдомек содроганью сращенному.

Болезни земли

О еще! — Раздастся ль только хохот
Перламутром, Иматрой бацилл,
Мокрым гулом, тьмой стафилоккоков,
И блеснут при молниях резцы,

Так — шабаш! Нешаткие титаны
Захлебнутся в черных сводах дня,
Тени стянет трепетом tetanus
И медянок запылит столбняк.

Вот и ливень. Блеск водобоязни,
Вихрь, обрывки бешеной слюны.
Но откуда? С тучи, с поля, с Клязьмы
Или с сардонической сосны?

Чьи стихи настолько нашумели,
Что и гром их болью изумлен?
Надо быть в бреду, по меньшей мере,
Чтобы дать согласие быть землей.

Определение творчества

Разметав отвороты рубашки,
Волосато, как торс у Бетховена,
Накрывает ладонью, как шашки,
Сон и совесть, и ночь, и любовь оно.

И какую-то черную доведь*)
И — с тоскою какою-то бешеной,
К преставлению света готовит,
Конкоборцем над пешками пешими.

А в саду, где из погреба, со льду,
Звезды благоуханно разохались,
Соловьем над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова захолодь.

И сады, и пруды, и ограды,
И кипящее белыми воплями
Мирозданье — лишь страсти разряды,
Человеческим сердцем накопленной.

*) Доведь — шашка, проведенная в дамы.

Наша гроза

Гроза, как жрец, сожгла сирень
И дымом жертвенным застлала
Глаза и тучи. — Расправляй
Губами вывих муравья.

Звон ведер сшиблен набекрень.
О, что за жадность: неба мало?!
— В канаве бьется сто сердец.
Гроза сожгла сирень, как жрец.

В эмали — луг. Его лазурь,
Когда бы зябли, — соскоблили.
Но даже зяблик не спешит
Стряхнуть алмазный хмель с души.

У кадок пьют еще грозу
Из сладких шапок изобилья,
И клевер бурен и багров
В бордовых брызгах маляров.

К малине липнут комары.
Однако ж, хобот малярный,
Как раз сюда вот, изувер,
Где роскошь лета розовой?!

Сквозь блузу заронить нарыв
И сняться красной балериной?
Всадить стрекало озорства,
Где кровь, как мокрая листва?!

О верь игре моей, и верь
Гремящей вслед тебе мигрени!
Так гневу дня судьба гореть
Дичком в черешенной коре.

Поверила? — теперь, теперь
Приблизь лицо, и в озареньи
Святого лета твоего,
Раздую я в пожар его!

Я от тебя не утаю:
Ты прячешь губы в снег жасмина,
— Я чую на моих тот снег,
Он тает на моих во сне.

Куда мне радость деть мою?
В стихи, в графленую осьмину?
— У них растрескались уста
От ядов писчего листа.

Они с алфавитом в борьбе,
Горят румянцем на тебе.

(Эти развлечения прекратились, когда, уезжая, она сдала свою миссию заместительнице).

ТОСКА

Для этой книги на эпиграф
Пустыни сипли,
Ревели львы и к зорям тигров
Тянулся Киплинг.

Зиял, иссякнув, страшный кладезь
Тоски отверстой,
Качались, лаская и глядясь
Иззябшей шерстью.

Теперь, качаться продолжая
В стихах вне ранга,
Бредут в туман росой лужаек
И снятся Гангу.

Рассвет холодною ехидной
Вползает в ямы,
И в джунглях сырость панихиды
И фимиама.

ИЗ СБОРНИКА «ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ»

(1917—1922 гг.)

* * *

Весна, я — с улицы, где тополь — удивлен,
Где даль — пугается, где дом — упасть боится,
Где воздух — синь, как узелок с бельем
У выпятившегося из больницы.

Где вечер — пуст, как прерванный рассказ,
Оставленный звездой без продолженья,
К недоумению тысяч шумных глаз,
Бездонных и лишенных выраженья.

* *
*

Чирикали птицы и были искренни.
Сияло солнце на лаке карет.
С точильного камня не сыпались искры,
А сыпались — гасли, в лучах сторов.

В раскрытые окна на их рукоделье
Садилась, как голуби, облака.
Они замечали: с воды похудели
Заборы — заметно, кресты — слегка.

Чирикали птицы. Из школы на улицу,
На тумбы ложилось, хлынув волной,
Немолчное пенье и щелканье шпuleк,
Мелькали косички и цокал челнок.

Не сыпались искры, а сыпались — гасли.
Был день расточителен; над школой свежей
Неслись облака, и точильщик был счастлив,
Что столько на свете у женщин ножей.

* *
*

Мой стол не столь широк, чтоб грудью всею
Налечь на борт и локоть завести
За край тоски, за этот перецеек
Сквозь столько верст прорытого прости.

(Сейчас там ночь.) За душный твой затылок.
(И спать легли.) Под царства плеч твоих.
(И тушат свет.) Я б утром возвратил их.
Крыльцо б коснулось сонной ветвью их.

Не хлопьями! Руками крой! — Достанет!
О десять пальцев муки, с бороздой
Крещенских звезд, как знаков опозданья
В пургу на север шедших поездов!

* *
*

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
— Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.

Как я трогал тебя! Даже губ моих медью
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был, как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом раздражалась гроза.

Пил, как птицы. Тянул до потери сознания.
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.

* *
*

Рояль дрожащий пену с губ облизжет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред,
Ты скажешь: милый! — Нет, вскричу я, — нет!
При музыке?! — Но можно ли быть ближе,

Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?
О, пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! — ты свободна.

Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно — что жилы отворить.

* *
*

Так начинают. Года в два
От мамки рвутся в тьму мелодий,
Щебечут, свищут, — а слова
Являются о третьем годе.

Так начинают понимать.
И в шуме пущенной турбины
Мерещится, что мать — не мать,
Что ты — не ты, что дом — чужбина.

Что делать страшной красоте
Подсевшей у скамьи сирени,
Когда и впрямь не красть детей?
Так возникают подозренья.

Так зреют страхи. Как он даст
Звезде превысить досяганье,
Когда он — Фауст, когда — фантаст?
Так начинаются цыгане.

Так открываются, паря
Поверх плетней, где быть домам бы,
Внезапные, как вздох, моря.
Так будут начинаться ямбы.

Так ночи летние, ничком
Упав в овсы с мольбой: исполнься!
Грозят заре твоим зрачком.
Так затевают ссоры с солнцем.
Так начинают жить стихом.

ИЗ СБОРНИКА «СМЕШАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»

(1922—1928 гг.)

ПЕТУХИ

Всю ночь вода трудилась без отдышки.
Дождь до утра льняное масло жег.
И валит пар из-под лиловой крышки,
Земля дымится, словно щей горшок.

Когда ж трава, отряхиваясь, вскочит,
Кто мой испуг изобразит росе
В тот час, как загорланит первый кочет,
За ним другой, еще за этим — все?

Перебирая годы поименно,
Поочередно окликая тьму,
Они пророчить станут перемену
Дождю, земле, любви — всему, всему.

ОТПЛЫТИЕ

Слышен лепет соли каплющей.
Гул колес едва показан.
Тихо взявши гавань за плечи,
Мы отходим за пакгаузы.

Плеск, и плеск, и плеск без отзыва.
Разбегаясь со стенаньем,
Вспыхивает бледнорозовая
Моря ширь берестяная.

Треск и хруст скелетов раковых,
И шипит, горя, берёста.
Ширь растёт, и море вздрагивает
От ее прироста.

Берега уходят ельничком, —
Он невзрачен и тщедушен.
Море, сумрачно бездельничая,
Смотрит сверху на идущих.

С моря еще по морошку
Ходит и ходит лесками,
Грохнув и борт огороша,
Ширящееся плесканье.

Виден еще, еще виден
Берег, еще не без пятен
Путь, — но уже необыден
И как беда необъятен.

Страшным полуоборотом,
Сразу меняясь во взоре,
Мачты въезжают в ворота
Настежь открытого моря.

Вот оно! И в предвкушеньи
Сладко бушующих новшеств,
Камнем в пучину крушений
Падает чайка, как ковшик.

АННЕ АХМАТОВОЙ

Мне кажется, я подберу слова,
Похожие на вашу первозданность.
А ошибусь, — мне это трын-трава,
Я все равно с ошибкой не расстанусь.

Я слышу мокрых кровель говорок,
Торцовых плит заглохшие эклоги.
Какой-то город, явный с первых строк,
Растет и отдается в каждом слогe.

Кругом весна, но за город нельзя.
Еще строга заказчица скупая.
Глаза шитьем за лампою слезя,
Горит заря, спины не разгибая.

Вдыхая дали, Ладожскую гладь,
Спешит к воде, смиряя сил упадок.
С таких гулянок ничего не взять.
Каналы пахнут затхлостью укладок.

По ним ныряет, как пустой орех,
Горячий ветер, и колышет веки
Ветвей и звезд, и фонарей, и вех,
И с мосту вдаль глядящей белошвейки.

Бывает глаз по-разному остер,
По-разному бывает образ точен.
Но самой страшной крепости раствор —
Ночная даль под взглядом белой ночи.

Таким я вижу облик ваш и взгляд.
Он мне внушен не тем столбом из соли,
Которым вы пять лет тому назад
Испуг оглядки к рифме прикололи.

Но, исходив от ваших первых книг,
Где крепили прозы пристальной крупницы,
Он и во всех, как искры проводник,
События былью заставляет биться.

М. Ц.*)

Ты в праве, вывернув карман,
Сказать: ищите, ройтесь, шарьте.
Мне все равно, чем сыр туман.
Любая быль — как утро в марте.

Деревья в мягких армяках
Стоят в грунту из гумигута,
Хотя ветвям наверняка
Невмоготу среди закута.

*) Очевидно это стихотворение посвящено Марине Цветаевой, с которой поэт находился в переписке. Ред.

Роса бросает ветки в дрожь,
Струясь, как шерсть на меринесе.
Роса бежит, тряся как еж,
Сухой копной у переносья.

Мне все равно, чей разговор
Ловлю, плывущий ниоткуда.
Любая быль — как внешний двор,
Когда он дымкою окутан.

Мне все равно, какой фасон
Сужден при мне покрою платьев.
Любую быль сметут как сон,
Поэта в ней законопатив.

Клубясь во много рукавов,
Он двинется подобно дыму
Из дыр эпохи роковой
В иной тупик непроходимый.

Он вырвется, курясь, из прорв
Судеб, расплющенных в лепеху,
И внуки скажут, как про торф, —
Горит такого-то эпоха.

ДРУГУ

Иль я не знаю, что, в потемки тычась,
Вовек не вышла б к свету темнота,
И я — урод, и счастье сотен тысяч
Не ближе мне пустого счастья ста?

И разве я не мерюсь пятилеткой,
Не падаю, не поднимаюсь с ней?
Но как мне быть с моей грудною клеткой
И с тем, что всякой косности косней?

Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта:
Она опасна, если не пуста.

ЛЕЙТЕНАНТ ШМИДТ

(Отрывки)

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

4

Октябрь. Кольцо забастовок.
 О, ветер! О, ада исчадьё!
 И моря, и грузов, и клади
 Летящие пряди.
 О, буря брошюр и листовок!
 О, слякоть! О, темень! О, зовы
 Сирен, и замки и засовы
 В начале шестого.

От тюрем — к брошюрам и бурям.
 О, ночи! О, вольные речи!
 И залпам навстречу — увечья
 Отвесные свечи!

.

6

.

О, государства истукан,
 Свободы вечное преддверье!
 Из клеток крадутся века,
 По коллизею бродят звери,
 И проповедника рука
 Бесстрашно крестит клеть сырую,
 Пантеру верой дрессируя,
 И вечно делается шаг
 От римских цирков к римской церкви,
 И мы живем по той же мерке,
 Мы, люди катакомб и шахт.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

8

.

И вот он поднялся.
 Слепой порыв безмолвия
 Стянул гусиной кожей
 Тазы и пояса,

И, протавившись с дрожью,
Как зябкая оса,
По записям и папкам,
За пазухи и шапки
Заполз под волоса.

И точно шла работа
По сборке эшафота,
Стал слышен частый стук
Полутораста штук
Расколебавших сумрак
Пустых сердечных сумок.
Все были предупреждены,
Но это превзошло расчеты.
«Тише!» — крикнул кто-то,
Не вынесши тишины.

«Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним — карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.

Как вы, я часть великого
Перемещенья сроков,
И я приму ваш приговор
Без гнева и упрека.

Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, — мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.

Я тридцать лет вынашивал
Любовь к родному краю,
И снисхожденья вашего
Не жду и не желаю.

В те дни, — а вы их видели,
И помните, в какие, —
Я был из ряда выделен
Волной самой стихии.

Не встать со всею родиной
Мне было б тяжелее,
И о дороге пройденной
Теперь не сожалею.

Я знаю, что столб, у которого
Я стану, будет гранью
Двух разных эпох истории
И радуюсь избранью».

ИЗ СБОРНИКА «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ»

(1930—1931 гг.)

БАЛЛАДА

На даче спят. В саду, до пят
Подветренном, кипят лохмотья.
Как флот в трехъярусном полете
Деревьев паруса кипят.
Лопатами, как в листопад,
Пребут березы и осины.
На даче спят, укрывши спину,
Как только в раннем детстве спят.

Ревет фагот, гудит набат.
На даче спят под шум без плоти,
Под ровный шум на ровной ноте,
Под ветра яростный надряд.
Льет дождь, он хлынул с час назад.
Кипит деревьев парусина.
Льет дождь. На даче спят два сына,
Как только в раннем детстве спят.

Я просыпаюсь. Я объят
Открывшимся. Я на учете.
Я на земле, где вы живете,
И ваши тополя кипят.
Льет дождь. Да будет также свят,
Как их невинная лавина . . .
Но я уж сплю наполовину,
Как только в раннем детстве спят.

Льет дождь. Я вижу сон: я взят
Обратно в ад, где все в компоте,
И женщин в детстве мучат тети,
А в браке дети теребят.
Льет дождь. Мне снится: из ребят
Я взят в науку к исполину,
И сплю под шум, месящий глину,
Как только в раннем детстве спят.

Светает. Мглистый банный чад.
Балкон плывет, как на плашкоте.
Как на плотах, — кустов щепоти
И в каплях потный тес оград.
(Я видел вас пять раз подряд).

Спи, был. Спи жизни ночью длинной.
Усни, баллада, спи, былина,
Как только в раннем детстве спят.

НЕ ВОЛНУЙСЯ, НЕ ПЛАЧЬ, НЕ ТРУДИ...

Не волнуйся, не плачь, не труди
Сил иссякших и сердца не мучай.
Ты жива, ты во мне, ты в груди,
Как опора, как друг и как случай.

Верой в будущее не боюсь
Показаться тебе краснобаем.
Мы не жизнь, не душевный союз, —
Обоюдный обман обрубаем.

Из тифозной тоски тюфяков
Вон на воздух широт образцовый!
Он мне брат и рука. Он таков,
Что тебе, как письмо, адресован.

Надорви ж его вширь, как письмо,
С горизонтом вступи в переписку,
Победи изнуренья измор,
Заведи разговор по-альпийски.

И над блюдом баварских озер
С мозгом гор, точно кости, мосластых
Убедишься, что я не фразер,
С заготовленной к месту подсласткой.

Добрый путь. Добрый путь. Наша связь,
Наша честь не под кровлею дома.
Как росток на свету распрямись,
Ты посмотришь на все по-другому.

ПОКА МЫ ПО КАВКАЗУ ЛАЗАЕМ...

Пока мы по Кавказу лазаем,
И в задыхающей раме
Кура ползет атакой газовой
К Арагве, сдавленной горами.
И в августовский свод из мрамора,
Как обезглавленных гортани,
Заносят яблоки адамовы
Казненных замков очертанья.

Пока я голову заламываю,
Следя, как шеи укреплений
Плывут по синеве сиреневой
И тонут в бездне поколений,

Пока, сменяя рощи вязовые,
Курчавится лесная мелочь,
Что шепчешь ты, что мне подсказываешь,
Кавказ, Кавказ, о что мне делать!

Объятье в тысячу охватов,
Чем обеспечен твой успех?
Здоровый глаз за веко спрятав,
Над чем смеешься ты, Казбек?

Когда от высей сердце ёкает,
И гор колышатся кадила,
Ты думаешь, моя далекая,
Что чем-то мне не угодила?
И там, у Альп, в дали Германии,
Где так же чокаются скалы,
Но отклики еще туманнее,
Ты думаешь, — ты оплошала?

Я брошен в жизнь, в потоке дней
Катящую потоки рода,
И мне кроить свою трудней,
Чем резать ножницами воду.
Не бойся снов, не мучься, брось.
Люблю и думаю и знаю.
Смотри, и рек не мыслит врозь
Существованья ткань сквозная.

НИКОГО НЕ БУДЕТ В ДОМЕ . . .

Никого не будет в доме,
Кроме сумерек. Один
Зимний день в сквозном проеме
Незадернутых гардин.

Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, — никого.

И опять зачертит иней,
И опять завертит мной
Прошлогоднее унынье
И дела зимы иной.

И опять кольнут доньне
Неотпущенной виной,
И окно по крестовине
Сдавиг голод дровяной.

Но нежданно по портьере
Пробежит вторженья дрожь.
Тишину шагами меря,
Ты, как будущность, войдешь.

Ты появишься у двери
В чем-то белом без причуд,
В чем-то впрямь из тех материй,
Из которых хлопя шьют.

* *
*

Мне хочется домой, в огромность
Квартиры, наводящей грусть.
Войду, сниму пальто, опомнюсь,
Огнями улиц озарюсь.

Перегородок тонкоробость
Пройду насквозь, пройду, как свет.
Пройду, как образ входит в образ,
И как предмет сечет предмет.

Пускай пожизненность задачи,
Врастающей в заветы дней,
Зовется жизнью сидячей, —
И по такой, грущу по ней.

Опять знакомостью напева
Пахнут деревья и дома.
Опять направо и налево
Пойдет хозяйничать зима.

Опять к обеду на прогулке
Наступит темень — просто страсть!
Опять научит переулки
Охулки на руки не класть.

Опять повалят с неба взятки,
Опять укроет к утру вихрь
Осин подследственных десятки
Сукном сугробов снеговых.

Опять опавшей сердца мышцей
Услышу и вложу в слова,
Как ты ползешь и как дымишься,
Встаешь и строишься, Москва.

И я приму тебя, как упряжь,
Тех ради будущих безумств,
Что ты как стих меня зазубришь,
Как былъ запомнишь наизусть.

* *
*

Любить иных — тяжелый крест,
А ты прекрасна без извилин,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равносильна.

Весною слышен шорох снов
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ.
Твой смысл как воздух бескорыстен.

Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор из сердца вытрясть
И жить, не засоряясь впредь.
Все это — не большая хитрость.

ИЗ СБОРНИКА «ИЗБРАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ»*)

БРЮСОВУ

Я поздравляю вас, как я отца
Поздравил бы при той же обстановке.
Жаль, что в Большом театре под сердца
Не станут стлать, как под ноги, цыновки.

Жаль, что на свете принято скрести
У входа в жизнь одни подошвы; жалко,
Что прошлое смеется и грустит,
А злоба дня размахивает палкой.

Вас чествуют. Чуть-чуть страшит обряд,
Где вас, как вещь, со всех сторон покажут
И золото судьбы посеребрят,
И, может быть, серебрить в ответ обяжут.

Что мне сказать? Что Брюсова горька
Широко разбежавшаяся участь?
Что ум черствеет в царстве дурака?
Что не безделка — улыбаться, мучась?

Что сонному гражданскому стиху
Вы первый настежь в город дверь открыли?
Что ветер смел с гражданства шелуху,
И мы на перья разодрали крылья?

Что вы дисциплинировали взмах
Взбешенных рифм, тянувшихся за глиной,
И были домовым у нас в домах
И дьяволом недетской дисциплины?

*) ГИХЛ, Москва, 1934.

Что я затем, быть может, не умру,
Что, до смерти теперь устав от гили,
Вы сами, было время, поутру
Линейкой нас не умирать учили?

Ломиться в двери пошлых аксиом,
Где лгут слова и красноречье храмлет? . .
О! весь Шекспир, быть может, только в том,
Что запросто болтает с тенью Гамлет.

Так запросто же! Дни рожденья есть.
Скажи мне, тень, что ты к нему желала б?
Так легче жить. А то почти не снести
Пережитого слышавшихся жалоб.

ИЗ СБОРНИКА «НА РАННИХ ПОЕЗДАХ»

(1941—1944 гг.)

НА РАННИХ ПОЕЗДАХ

Я под Москвою эту зиму,
Но в стужу, снег и буревал
Всегда, когда необходимо,
По делу в городе бывал.

Я выходил в такое время,
Когда на улице ни зги,
И рассыпал лесною тьмью
Свои скрипучие шаги.

Навстречу мне на переезде
Вставали ветлы пустыря.
Надмирно высились созвездья
В холодной яме января.

Обыкновенно у задворок
Меня старался перегнать
Почтовый или номер сорок,
А я шел на шесть двадцать пять.

Вдруг света хитрые морщины
Сбирались щупальцами в круг.
Прожектор неся всей машиной
На оглушенный виадук.

В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли, как господа.

Рассевшись кучей, как в повозке,
Во всем разнообразье поз,
Читали дети и подростки,
Как заведенные, вчасос.

Москва встречала нас во мраке,
Переходившем в серебро,
И, покидая свет двоякий,
Мы выходили из метро.

Потомство тискалось к перилам
И обдавало на ходу
Черемуховым свежим мылом
И пряниками на меду.

ОПЯТЬ ВЕСНА

Поезд ушел. Насыпь черна.
Где я дорогу впотьмах раздобуду?
Неузнаваемая сторона,
Хоть я и сутки только отсюда.
Замер на шпалах лязг чугуна.
Вдруг, что за новая, право, причуда:
Сутолка, кумушек пересуды . . .
Что их попутал за сатана?

Где я обрывки этих речей
Слышал уж как-то порой прошлогодней?
Ах, это сызнава, верно, сегодня
Вышел из рощи ночью ручей.
Это, как в прежние времена,
Сдвинула льдины и вздулась запруда.
Это поистине новое чудо,
Это, как прежде, снова весна.

Это она, это она.
Это ее чародейство и диво.
Это ее телогрейка за ивой,
Плечи, косынка, стан и спина.
Это Снегурка у края обрыва.
Это о ней из оврага со дна
Льется без умолку бред торопливый
Полубезумного болтуна.

Это пред ней, заливая преграды,
Тонет в чаду водяном быстрине.
Лампой висячего водопада
К круче с шипеньем пригвождена.
Это, зубами стуча от простуды,
Льется чрез край ледяная струя
В пруд и из пруда в другую посуду.
Речь половодья — бред бытия.

ВЕСНА

Всё нынешней весной особое.
Живее воробьев шумиха.
Я даже выразить не пробую,
Как на душе светло и тихо.

Иначе думается, пишется,
И громкою октавой в хоре
Земной могучий голос слышится
Освобожденных территорий.

Весеннее дыхание родины
Смывает след зимы с пространства
И черные от слез обводины
С заплаканных очей славянства.

Везде трава готова вылезти,
И улицы старинной Праги
Молчат, одна другой извилистей,
Но заиграют, как овраги.

Сказанья Чехии, Моравии,
И Сербии с весенней негой,
Сорвавши пелену бесправия,
Цветами выйдут из-под снега.

Все дымкой сказочной подернется,
Подобно завиткам по стенам
Боярской золоченой горницы
И на Василии Блаженном.

Мечтателю и полуночнику
Москва милей всего на свете.
Он дома, у первоисточника
Всего, чем будет цвести столетье.

ИЗ СБОРНИКА «КОГДА РАЗГУЛЯЕТСЯ»

(1955—1956 гг.)

ВЕТЕР

(Три отрывка о Блоке)

* * *

Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим,
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.

Не знал бы никто, может статья,
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На всё проливающих свет.

Но Блок, слава Богу, иная,
Иная, по счастью, статья.
Он к нам не спускался с Синая,
Нас не принимал в сыновья.

Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем,
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.

* * *

Он ветрен, как ветер. Как ветер,
Шумевший в имени в дни,
Как там еще Филька-фалетер
Скакал в голове шестерни,

И жил еще дед-якобинец,
Кристалльной души радикал,
От коего ни на мизинец
И ветренник внук не отстал.

Тот ветер, проникший под ребра
И в душу, в течение лет
Недоброю славой и доброй
Помянут в стихах и воспет.

Тот ветер повсюду. Он — дома,
В деревьях, в деревне, в дожде,
В поэзии третьего тома,
В «Двенадцати», в смерти, везде.

* * *

Зловещ горизонт и внезапен,
И в кровоподтеках заря,
Как след незаживших царапин
И кровь на ногах косаря.

Нет счета небесным порезам,
Предвестникам бурь и невзгод,
И пахнет водой и железом
И ржавчиной воздух болот.

В лесу, на дороге, в овраге,
В деревне или на селе
На тучах такие зигзаги
Сулят непогоду земле.

Когда ж над большою столицей
Край неба так ржав и багрян,
С державою что-то случится,
Постигнет страну ураган.

Блок на небе видел разводы.
Ему предвещал небосклон
Большую прозу, непогоду,
Великую бурю, циклон.

Блок ждал этой бури и встряски.
Ее огневые штрихи
Боязнью и жаждой развязки
Легли в его жизнь и стихи.

ПЕРЕМЕНА

Я льнул когда-то к беднякам —
Не из возвышенного взгляда,
А потому, что только там
Шла жизнь без помпы и парада.

Хотя я с барством был знаком
И с публикою деликатной,
Я дармоедству был врагом
И другом голи перекаточной.

И я старался дружбу свести
С людьми из трудового звания,
За что и делали мне честь,
Меня считая тоже рванью.

Был осязателен без фраз,
Вещественен, телесен, весок
Уклад подвалов без прикрас
И чердаков без занавесок.

И я испортился с тех пор,
Как времени коснулась порча,
И горе возвели в позор,
Мещан и оптимистов корча.

Всем тем, кому я доверял,
Я с давних пор уже неверен.
Я человека потерял,
С тех пор, как всеми он потерян.

В БОЛЬНИЦЕ

Стояли как перед витриной,
Почти запрудив тротуар.
Носилки втокнули в машину,
В кабину вскочил санитар.

И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.

Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.

Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
Марали опросный листок.

Его положили у входа.
Всё в корпусе было полно.
Разило парами иода,
И с улицы дуло в окно.

Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок,

Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.

Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
Из города озарена.

Там в зареве рдела застава
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.

«О, Господи, как совершенны
Дела Твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.

Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О, Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть Тебя.

Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным Твоим сознать.

Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук Твоих жар.
Ты держишь меня, как изделие,
И прячешь, как перстень, в футляр».

СНЕГ ИДЕТ

Снег идет, снег идет.
К белым звездочкам в буране
Тянутся цветы герани
За оконный переплет.

Снег идет, и всё в смятении,
Все пускается в полёт.
Черной лестницы ступени,
Перекрестка поворот.

Снег идет, снег идет,
Словно падают не хлопья,
А в заплатах салопа
Сходит наземь небосвод.

Словно с видом чудака,
С верхней лестничной площадки,
Крадучись, играя в прятки,
Сходит небо с чердака.

Потому что жизнь не ждет.
Не оглянись, и — святки.
Только промежуток краткий,
Смотришь, там и Новый Год.

Снег идет, густой-густой.
В ногу с ним, стопами теми,
В том же темпе, с ленью той
Или с той же быстротой,
Может быть, проходит время?
Может быть, за годом год
Следуют, как снег идет,
Или как слова в поэме?

Снег идет, снег идет,
Снег идет, и все в смятении —
Убеленный пешеход,
Удивленные растенья,
Перекрестка поворот.

СЛЕДЫ НА СНЕГУ

Полями наискось к закату
Уходят девушек следы.
Они их валенками вмяты
От слободы до слободы.

А вот ребенок жался к мамке.
Луч солнца, как лимонный морс,
Затек во впадины и ямки
И лужей света в льдину вмерз.

Он стынет вытекшею жижей
Яйца в разбитой скорлупе,
И синей линией лыжи
Его срезают по тропе.

Луна скользит блином в сметане,
Все время скатываясь вбок.
За ней бегут вдогонку сани,
Но не дается колобок.

ПОСЛЕ ВЬЮГИ

После утомившейся вьюги
Наступает в округе покой.
Я прислушиваюсь на досуге
К голосам детворы за рекой.

Я наверно неправ, я ошибся,
Я ослеп, я лишился ума.
Белой женщиной мертвой из гипса
Наземь падает навзничь зима.

Небо сверху любитесь лепкой
Мертвых, крепко придавленных век.
Все в снегу, двор и каждая щепка
И на дереве каждый побег.

Лед реки, переезд и платформа,
Лес и рельсы, и насыпь и ров
Отлились в безупречные формы
Без неровностей и углов.

Ночью, сном не успевши забыться,
В просветленьи вскочивши с софы,
Целый мир уложить на странице,
Уместиться в границах строфы.

Как изваяны пни и коряги
И кусты на речном берегу,
Море крыш возвести на бумаге,
Целый мир, целый город в снегу.

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА

Три месяца тому назад,
Лишь только первые метели
На наш незащищенный сад
С остервененьем налетели,

Прикинул тотчас я в уме,
Что я укроюсь, как затворник,
И что стихами о зиме
Пополню свой весенний сборник.

Но навалились пустяки
Горой, как снежные завалы.
Зима, расчетам вопреки,
Наполовину миновала.

Тогда я понял, почему
Она во время снегопада
Снежинками пронзая тьму,
Заглядывала в дом из сада.

Она шептала мне: «Спешь!»
Губами, белыми от стужи,
А я чинил карандаши,
Отшучиваясь неуклюже.

Пока под лампой у стола
Я медлил зимним утром ранним,
Зима явилась и ушла
Непонятым напоминаньем.

НОВЫЕ СТРОКИ*)

Во всем мне хочется дойти
До самой сути:
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.

О, если бы я только мог,
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти!

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.

Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд —
Гуськом, в затылок.

В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.

Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.

*) Журнал «Знамя» № 9, 1956 г. Москва.

Достигнутого торжества
Игра и мука —
Натянутая тетива
Тугого лука.

СТИХИ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ В СБОРНИКЕ «ДЕНЬ ПОЭЗИИ»

БЕЗ НАЗВАНИЯ*)

Недотрога, тихоня в быту,
Ты сейчас вся огонь, вся горенье.
Дай, запрю я твою красоту
В темном тереме стихотворенья.

Посмотри, как преображена
Огневой кожурой абажура
Конура, край стола, край окна,
Наши тени и наши фигуры.

Ты с ногами сидишь на тахте,
Под себя их поджав по-турецки,
Все равно — на свету, в темноте —
Ты всегда рассуждаешь по-детски.

За беседой ты нижешь на шнур
Кучку с шеи скатившихся бусин.
Слишком прустен твой вид, чересчур
Разговор твой прямой безыскусен.

Пóшло слово «любовь», ты права;
Я придумаю кличку иную.
Для тебя я весь мир, все слова,
Если хочешь, переименую.

Разве хмурый твой вид передаст
Чувств твоих рудоносную залежь,
Сердца тайно светящийся пласт?!
Для чего же глаза ты печалишь?

Л Е Т О

По дому бродит привиденье.
Весь день шаги над головой.
На чердаке мелькают тени,
По дому бродит домовой.

*) 1957 г. Москва.

Везде болтается некстати,
Мешается во все дела,
В халате крадется к кровати,
Срывает скатерть со стола.

Ног у порога не обтерши,
Вбегает в вихре сквозняка
И с занавеской, как с танцоршей,
Взлетает вверх до потолка.

Но кто ж тот баловник-невежа,
То привиденье, тот двойник?
Тот призрак — наш жилец приезжий,
Тот дух — наш дачник-отпускник.

На весь его недолгий роздых
Мы этот дом ему сдаем.
Июль с грозой, июльский воздух
Снял комнаты у нас внаем.

Июль, таскающий в одеже
Пух одуванчиков, лопух.
Июль, домой сквозь окна вхожий,
Все громко говорящий вслух.

Степной нечесанный растреп,
Пропахший липой и травой,
Ботвой и запахом укропа,
Июльский воздух полевой.

ОСЕННИЙ ДЕНЬ

Плетемся по грибы.
Шоссе. Леса. Канавы.
Дорожные столбы
Налево и направо.

С широкого шоссе
Идем во тьму лесную.
По щиколку в росе
Плутаем врассыпную.

А солнце под кусты
На грузди и волнушки
Чрез дебри темноты
Бросает свет с опушки.

Гриб прячется за пень.
На пень садится птица.
Нам вехой служит тень,
Чтобы с пути не сбиться.

Но время в сентябре
Отмерено так куцо,
Едва ль до нас заре
Сквозь чащу дотянуться.

Набиты кузовки,
Наполнены корзины,
Одни боровики
У доброй половины.

Уходим. За спиной
Стеною лес недвижный,
Где день в красе земной
Сгорел скоропостижно.

БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ

Быть знаменитым — некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества — самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов,
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчеркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в нем не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но поражения от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

МУЗЫКА

Рояль на лямках волоча,
Болтавшийся все своевольней,
Его несли два силача,
Как колокол на колокольню.

Они тащили вверх рояль
Над ширью городского моря,
Как с заповедями скрижаль
На каменное плоскогорье.

И вот в гостинной инструмент.
И город в свисте, шуме, гаме,
Как под водой на дне легенд,
Внизу остался под ногами.

Жилец шестого этажа
На землю поглядел с балкона,
Как бы ее в руках держа
И ею властвуя законно.

Вернувшись внутрь, он заиграл
Не чью-нибудь чужую пьесу,
Но собственную мысль, хорал,
Гуденье мессы, шелест леса.

Раскат импровизаций нес
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,
Бульвар под ливнем, стук колес,
Жизнь улиц, участь одиночек.

Так ночью, при свечах, взамен
Былой наивности нехитрой
Свой сон записывал Шопен
На черной выпилке попитра.

Или, опередивши мир
На поколения четыре,
По крышам городских квартир
Грозой гремел полет Валькирий.

Или консерваторский зал
При адском грохоте и треске
До слез Чайковский потрясал
Судьбой Паоло и Франчески.

* *
*

(Весна, 1958 г.)

Пронесшейся грозой полон воздух,
Все ожило, все дышит как в раю.
Всем роспуском кистей лиловогроздых
Сирень вдыхает свежести струю.

Все живы переменою погоды.
Дождь заливает кровель жолоба,
Но все светлее неба переходы,
И высь за черной тучей голуба.

Рука художника еще всеильней
Со всех вещей смывает грязь и пыль.
Преображенной из его красильни
Выходят жизнь, действительность и былль.

Воспоминание о полувеке
Пронесшейся грозой уходит вспять.
Столетье вышло из его опеки,
Пора дорогу будущему дать.

Не потрясенья и перевороты
Для новой жизни очищают путь,
А откровенья, бури и щедроты
Души воспламенной чьей-нибудь.

Примечание: Даты, стоящие в скобках под названием сборника или стихотворения, обозначают время их написания. Даты в сносках указывают на год издания. *Ред.*

Подвиг одиночки

Николай Авдеевич Оцуп — поэт, прозаик, публицист, профессор русской литературы в высших учебных заведениях Франции, постоянный сотрудник нашего журнала — скоропостижно скончался 28 декабря 1958 года в расцвете творческих сил и планов. Соратник Гумилева, он написал о нем труд, ставший его докторской диссертацией в Сорбонне. В 1957 г. вышла книга избранных стихотворений Ф. Тютчева под его редакцией на русском и французском языках. Одной из жизненных задач Н. А. Оцуна было распространение и внедрение духа и традиций русской культуры на Западе. С 1912 г. по 1958 г. вышел целый ряд его книг: «Град», стихи, Цех поэтов, Петербург, «В дыму», стихи, Берлин, «Встреча», поэма, Париж, «Новейшая русская поэзия» (по-немецки), Бреславль, «Беатриче в аду», роман, Париж, «Дневник в стихах», Париж, «Три царя», драма, Париж. В настоящее время готовится к печати «Собрание стихотворений» и «Персонализм как явление литературы». Творчество Н. А. Оцуна, талантливого художника и мыслителя, еще очень мало раскрыто критикой. Служение России, человеку, Богу определяло его произведения последних лет.

Ниже редакция печатает отрывки из задуманной им большой статьи о творчестве Б. Пастернака, предназначавшейся для нашего журнала. Неоконченная рукопись была любезно предоставлена женой поэта в распоряжение редакции.

Присуждение Нобелевской премии Пастернаку — праздник для всех, кто любит русскую литературу и Россию. Увенчан не только поэт, но и пражданин. Редкое слияние биографии с поэзией достигало такой полноты в нашу эпоху.

Мы потрясены до самых глубин нашего существа неравной борьбой между этим человеком и грандиозным государственным аппаратом. В этой борьбе, как обычно в творимой легенде, все элементы непредвиденного, чудесного: книга выходит в чужой стране. Остановить ее выход не удается. Хитроумные планы добровольных и правительственных эмиссаров расстраиваются. Изданная на чужих языках книга «доходит». Запад понимает не столько смысл «Доктора Живаго», сколько праведность и героизм автора. Головокружительное, сверхъестественное вплетается в развитие литературного факта. Книга только что родилась и уже вращается вокруг земли, подобно удачно запущенной ракете, точно посаженной на орбиту.



Это — мир античности в условиях нашей атомной современности. Поэт становится легендарным героем. Какое это утешение в наш якобы лишенный поэзии век!

Нет, он не лишен поэзии, наоборот, он ею насыщен. Поэзия на большой глупине не может не быть религиозной. Пастернак и это подтверждает. Поэзия и свобода — синонимы.



Блок был своего рода творимой легендой. То же можно сказать и о Пастернаке: о нем уже сотворен миф из его удивительной судьбы. Оба в каком-то смысле — искупительные жертвы за полубесчувственных современников.

Прец ликом родины суровой

Я закачаюсь на кресте...

напророчил сам про себя Блок.

Пастернак этого про себя не сказал. Но путь у него крестный.



Одному западному журналисту И. Эренбург сказал о Пастернаке: это — эгоцентрик. Надо же как-нибудь назвать стиль жизни отшельника, знающего наперекор Горькому: человек — это вовсе не звучит гордо! При этом — о, ужас — причины такого Пастернаковского знания — вовсе не материальные: он пришел к невозможности обоготворять человека потому, что полюбил Бога.

Отсюда ошеломляющая контрреволюционность его искусства, независимого и христианского. Отсюда особенность его биографии, вызывающе не похожей на советский штамп. Но герсем без пятнышка в своей биографии он не стал (письмо в «Правде»), и от этого она лишь приблизилась к ужасу нашего века, отобразила все черты героической несвободы.

Трагедия Пастернака — это трагедия избранника.

Кто же избрал его? Шведская академия? Издатель Фельтринелли? Небольшая группа в самом деле читавших и любивших его стихи?

Избрала его некая высшая сила, которую атеисты называют духом истории, а верующие — иначе.

Однако, оставаясь в пределах земной хроники, мы отмечаем участие в ней и самого поэта, и его итальянского издателя, и присудившую ему Нобелевскую премию академию. Всё это осуществители не ими намеченного плана. Дух истории или Провидение — автор трагедии Пастернака.

Два первых акта — возникновение и самоутверждение героя.

Третий — «Доктор Живаго», написание этого романа и его напечатание.

Четвертый — увенчание и унижение героя.

Пятый — еще впереди: развязка.

Эпилог: суд потомства.

В таком понимании духовная биография Пастернака, в нерасторжимой связи с его стихами и прозой, — один из наиболее ярких примеров персонализма в современной литературе.



«Только одиночки ищут истину, и они порывают общение со всеми, кто не любит одиночества... Христианство, тайна личности — есть именно то, что должно быть воплощено в жизни для того, чтобы жизнь получила для человека смысл».

Эти мысли бесконечно радуют, подтверждая, что истинная наша современность, во-первых, глубоко религиозна, во-вторых, развивает в каждом из нас

ответственность за всех. Личное именно на глубине уединения, вдали от площадей, становится всеобщим, историческим, мировым.

Отсюда огромное значение в нашу эпоху всякого рода дневников, этих интимных признаний, где только лицемеры отказываются видеть разоблачение сокровенных тайн нашего времени.

Одним из таких дневников я ощущаю «Доктора Живаго». Это смешанный род дневника: в стихах и прозе. Но Пастернак не решился всё говорить в своем романе...



Огромный, явно несоразмерный с обычной судьбой литературных произведений, успех этой книги показывает, что и в самом деле персонализм в нашем веке — явление центральное, утверждающееся само собой без стовора его адептов.

Обращение человека к Богу — насущная необходимость, потому что масса перешла все поставленные ей границы.

Персонализм — реакция на атеизм, на стадность. Это не эгоизм писателя, это защита личного достоинства во имя каждого современника. Оттого любовь к Пастернаку так велика, благодарность за его поведение так взволнованна.

В России его признал народ, но не власть. Народное же признание сметает все административные запреты.

Это победа свободы над рабством. И если никогда еще не был сильнее натиск на личную свободу человека, то никогда и человек не был способен на ту силу отпора, которую развивают сейчас одиночки, бегущие от всего стадного, чтобы творить историю.

Пастернак и мировая общественность

Введение

Вряд ли за последние десятилетия имя какого-либо писателя так часто появлялось на страницах мировой печати, как имя скромного, любящего тишину и уединение русского поэта Бориса Пастернака. В настоящее время нет буквально ни одной газеты в странах Европы, Америки, Азии и Африки, которая бы не поместила статей, посвященных Пастернаку. Интерес, проявляемый литературными кругами всего мира, и Запада в особенности, к Пастернаку — не случаен и, вопреки утверждениям советской печати, вызван отнюдь не сенсацией.

Исследователи русской литературы на Западе должны были уже давно обратит внимание на этого талантливого, своеобразного поэта. Начиная с самого раннего периода творчества Пастернака, писатели и критики России, его коллеги-поэты высоко ценили его поэтическое дарование. В период между 1922 и 1934 годами произведения Пастернака издаются или переиздаются почти ежегодно, и ежегодно в советских литературных журналах и сборниках появляются статьи, посвященные ему и его произведениям. Так имя Пастернака проникло на Запад раньше его произведений, которые начали переводиться только в тридцатых годах. Теперь Запад как бы «открыл» Пастернака и с чрезвычайно горячим интересом принялся за чтение, издание, переиздание и перевод его поэзии и прозы. «Повесть» Пастернака, опубликованная во Франции уже в 1934 году, в январе 1958 года вышла в Лионе. В конце тридцатых годов несколько стихотворений Пастернака были включены в «Антологию русской поэзии», составленную французскими филологами Эммануилом Рэ и Жаком Робером. Теперь сборник стихов Пастернака готовится к печати французским издателем Пьером Сегерсом; несколько стихов опубликованы в декабрьском номере журнала «Прёв» за 1958 год. В июне 1958 года парижский издатель Галлимар выпустил «Биографический очерк» поэта, рукопись которого была первоначально сдана автором в редакцию журнала «Новый мир». Но русские читатели не дождались советского издания. В Германии, кроме вышедших «Доктора Живаго» и «Охранной грамоты», готовится к печати сборник стихотворений Пастернака. «Охранная грамота» была уже давно переведена на английский язык, так же как и некоторые ранние рассказы. В 1953 году в Дании были переведены некоторые стихи и рассказы Пастернака. «Доктор Живаго» переведен уже почти на все европейские языки. Об интересе читателей к творчеству Пастернака свидетельствует быстрота, с которой раскупаются его книги: 6 тысяч экземпляров «Доктора Живаго», появившихся

ся 22 ноября 1957 года в итальянских магазинах, были проданы к вечеру. Теперь в Италии разошлось уже 6 изданий романа. Парижский журнал «Матч» сообщил, что во Франции в день продавалось по 5 000 экземпляров «Доктора Живаго». Немецкое издательство «Фишер» выпустило уже несколько изданий романа, и спрос на эту книгу еще далеко не удовлетворен. Интерес английских читателей к Пастернаку настолько велик, что лондонская газета «Сандэй Таймс» даже предложила своим читателям написать стихотворное обращение к русскому поэту. Лучшее из присланных стихотворений было напечатано. Автор его, миссис Холден, выражает чувства многих читателей — поэт подтвердил, что подлинная Россия продолжает существовать, Россия, «о которой мы так много читали, Россия, с ее вечерним светом, освещающим поля, леса, луга, Россия, с ее народом, скрытым от нас плакатами и досками с объявлениями, Россия, которая так жизненно нужна поэту для его вдохновения, и расстаться с которой для него хуже смерти...», пишет миссис Холден.

Этот живой интерес к русскому поэту объясняет, почему печать всех стран уделила ему такое большое внимание. Можно различить три волны, вынесшие на страницы западной печати имя Бориса Пастернака. Первая волна поднялась в связи с подготовкой к изданию романа «Доктор Живаго» итальянским издателем Фельтринелли. Сначала это были сообщения скорее чисто информационного характера. Но после выхода этого романа в свет, он сразу обратил на себя внимание литературоведов и литературных критиков. Тогда же в печати появилось несколько прекрасных анализов романа. Но многим, не владеющим итальянским языком, пришлось ждать до весны 1958 года выхода в свет французского и английского переводов романа. Почти одновременно вышел на французском языке и «Автобиографический очерк». Это вызвало вторую волну, вынесшую имя поэта на страницы западных газет и журналов. И, наконец, третья волна была вызвана присуждением ему Нобелевской премии и нелепым поведением советских властей, сделавших из события литературной и культурной жизни политическую сенсацию.

Сначала, как это обычно и бывает при выходе в свет выдающегося литературного произведения, заговорили литературные критики, литературоведы и писатели. Их привлек образ автора, особенности его художественного творчества, его эстетические и философские взгляды. Награждение автора Нобелевской премией было естественно, и приветствовалось всеми. Но вскоре интерес, проявляемый обычно к лауреату Нобелевской премии, величие дарования которого читающий мир начал постигать сравнительно недавно, приобрел сенсационный характер. В редакциях некоторых газет картотека с именем Пастернака из литературного отдела была перенесена в политический. Имя Пастернака появилось даже на прошевых листках, называемых обычно «бульварными». Но не Запад надо обвинять в этом. Повинно в этом само советское правительство. Не дай оно сигнала редакции «Литературной газеты» и правлению Союза советских писателей, не дай задания опытному составителю хлестких памфлетов Заславскому оскорбить и унижить талантливейшего поэта России — сенсации бы не возникло. Так искусственно было создано «дело Пастернака». И естественно, что когда создалась угроза жизни поэта, то «имя, слава и несчастье великого русского поэта Бориса Леонидовича Пастернака находились в те дни в центре внимания всего мира», как писала испанская газета «Аррива» 31 октября 1958 года. В анализе реакции западной печати и общественности мы попытаемся строго разграничить политическую часть «дела Пастернака» от чисто литературных и философских оценок его творчества, от характеристики его облика как писателя и человека.

1. ОБЛИК ПОЭТА

В связи с выходом на Западе романа «Доктор Живаго» и награждением его автора Нобелевской премией, в западных журналах и газетах появились воспоминания о нем людей, знавших его или его семью раньше, появились кое-какие данные, освещающие биографию поэта, в которой еще так много неясного, и его облик как писателя и человека. Появилась целая серия фотографий поэта и его жены в их доме в Переделкино. Жорж Рейе, автор статьи в журнале «Пари-Матч», подробно описывает дсррогу, ведущую от станции Переделкино к даче поэта, сообщает читателям, что в «соседстве с Пастернаком живут на своих дачах Всеволод Иванов и Константин Федин, этот современный Иудушка, бывший друг семьи Пастернака, одним из первых предавший его. Из сообщения корреспондента газеты «Фигаро» Николая Шатлэна узнал мир и адрес Пастернака — улица Павленко, дом №3. Журналы «Пари-Матч», «Дас Шёнсте», газеты «Аррива», «Фигаро литерэр» и «Манчестер гардиен» поместили целую серию фотографий, на которых поэт запечатлен у чайного стола, в своем саду, у письменного стола и у полок с книгами. Немецкий журналист Герд Руте, корреспондент немецкого радио в Москве, выпустил целую книгу — «Биография Пастернака в снимках». Испанская газета «Аррива» дает точное описание кабинета Пастернака: в кабинете — просторном и светлом — письменный стол, полки с книгами, светлый шкаф, широкая тахта, два кресла, два сундука. Здесь он беседует со своими друзьями — профессорами, художниками, писателями, врачами: «Избранная группа интеллигенции, с которой Пастернак, между тостами и шутками, беседует по-английски и по-французски, по-русски и по-немецки. Здесь цитируют Пруста по-французски и Фолкнера по-английски. Здесь обсуждают Шекспира и Эсхила, разбирают Кафку и Святого Августина»... — пишет испанская газета «Аррива» (26 октября 1958 г.). Затем разговор продолжается в столовой, за обедом. Окруженный своими друзьями, поэт продолжает разговор о Шекспире и Гёте, он говорит о них, как о своих современниках, почти как о своих друзьях.

Из другой статьи в газете «Аррива» от 26 окт. (автор Антонио Приэта) мы узнаем, что Пастернак холодно принял антологию стихов Бертольда Врехта, подаренную ему немецким автором по случаю присуждения этому последнему Сталинской премии — творчество Врехта не соответствовало эстетике Пастернака.

Чрезвычайно интересные подробности о жизни и окружении поэта рассказали Элен Пельтье — ассистент русского языка и литературы в Тулузском университете, шведский корреспондент Нильс Акс Нильсон и западногерманский корреспондент Герд Руте. От госпожи Пельтье стало известно, что стихи религиозного содержания, приложенные к роману «Доктор Живаго», были знакомы московским студентам уже в 1956 году. От нее же узнаем несколько более о тех людях, с которыми встречается поэт. В его доме бывают Анна Ахматова, известный пианист Рихтер, дирижер Нейгауз, артисты МХАТ'а. Посещения дачи поэта были откровением для госпожи Пельтье. Это были, пишет она, «незабываемые моменты, в которые мне открылась такая среда, о существовании которой в Советском Союзе я никогда не подозревала и в которой я нашла очень много сходства с художественными и артистическими кругами Запада». Она была поражена глубиной культуры и эрудицией Пастернака и его ближайших друзей — это был прекрасный синтез лучшего из русской культуры и культуры Запада. Ей же поэт рассказал историю написания своего стихотворения «Хлеб», опубликованного в 1956 году в журнале «Новый мир»: — «Я хотел написать его в современном стиле, хотел прославить достижения в области зерновых... но результат был далеко не

блестящий... Тогда я переделал стихотворение в своем стиле, и хлеб стал символом непрерывной моральной борьбы, которую мы ведем», — сказал поэт.

Шведскому корреспонденту Нильсу Акэ Нильсону Пастернак говорит, что он никогда не скрывал своих взглядов, и излагает ему свое понимание искусства и роли писателя. Он считает, что нынешние времена мировых войн и атомной энергии изменили значение многих вещей и понятий для человека. «Мы узнали, что мы только гости в этом мире, путешественники между двумя станциями. Нашу безопасность мы должны искать в самих себе. За нашу короткую жизнь мы должны сами уяснить себе наше отношение к внешнему миру, мы должны найти свое место в этом мире. Иначе жизнь невозможна. Это означает, по-моему, разрыв с материалистическим пониманием мира, сложившимся в XIX веке. Это означает возрождение духовной жизни, возрождение значения нашей внутренней жизни — и религии. Но не религии как церковной догмы, а как внутреннего чувства...» Говоря о роли писателя в жизни, Пастернак сказал: — «Писатель не должен заниматься ни пропагандой, ни морализированием». Он утверждает, что это ни в коем случае не было целью его романа. Но писатель может показать человеку жизнь во всей ее полноте и интенсивности. И этим, больше чем всеми декларациями о мире, писатель может помочь людям жить в нашу трудную эпоху.

Преподаватель русского языка в Оксфордском университете Рональд Хингли посетил Пастернака за несколько недель до присуждения ему Нобелевской премии. Впечатления от этого посещения были опубликованы в английском еженедельной газете «Сандэй Таймс» (26 октября 1958 года). Хингли застал поэта в его саду. «Подобно своему герою, доктору Живаго, пишет Хингли, Пастернак охотно работает на своем усадебном участке». Хингли поразила беседа с поэтом: «Его речь проникнута полной жизни умственной энергией, он быстро переходит с одной темы на другую и всё время дает поразительные образы, поэтические и часто чрезвычайно забавные. Пастернак считает, пишет Хингли, что человеческая жизнь стала в наш век богаче опытом и значением. Но литература не смогла ответить на этот вызов и искала выхода в обращении к личным и местным темам. Чтобы изменить это положение и как-то восстановить утерянное равновесие, поэт и написал «Доктора Живаго». Он сообщил также своему английскому гостю, что, получив французское издание своего романа, он был тронут до слез. Свой рассказ о посещении поэта Хингли заканчивает словами: — «В тот вечер я сел в пригородный поезд на станции Переделкино, чувствуя, что мне посчастливилось повидаться с одним из самых независимых, талантливых и замечательных людей нашего времени».

Парижская газета «Русская мысль» 18 ноября 1958 г. поместила чрезвычайно интересные воспоминания о гимназических годах Бориса Пастернака его бывшего школьного товарища Г. Круглова. Г. Круглов говорит об увлечении Бориса композицией и предполагает, что уже в старших классах гимназии Борис, вероятно, начал писать стихи, но никогда их никому не показывал. Из автобиографических очерков Пастернака известно, что в ранней юности писание стихов он считал «слабостью».

Исключительно ценные сведения о семье поэта дали английская газета «Манчестер Гардиан» и французская газета «Фигаро Литэратер». Газета «Манчестер Гардиан» сообщила (20 ноября 1958 г.), что в одном из домов Оксфорда имеются сотни рисунков и картин отца поэта — Леонида Осиповича Пастернака. Все они принадлежат двум дочерям художника, Жозефине и Лидии, живущим в Оксфорде. Весной 1958 года в Оксфорде, а затем и в Лондоне, была организована выставка рисунков Леонида Осиповича. До самой своей кончины, последовавшей тринадцать

лет тому назад, Леонид Осипович, как рассказывают его дочери, не прекращал рисовать. «Казалось, что у него всегда был в руках карандаш или кусок мела», говорит его младшая дочь госпожа Лидия Слэйтер-Пастернак. Газета «Манчестер Гардиан» поместила несколько снимков с рисунков художника — вот прекрасный набросок головы шестнадцатилетнего Бориса, вот портрет двух мальчишек в гимназических рубашках — Бориса и Александра Пастернаков в 1905 году, эскизы портретов Эйнштейна, Штреземана, Шалыпина. Леонид Осипович писал портреты Толстого, Рахманинова, Рильке, Ленина. Его рисунки и картины рассеяны по многим странам мира. Одна из дочерей художника, Жозефина, составляет теперь каталог его произведений. Многие из этих рисунков и портретов, на которых изображен его сын Борис и другие члены семьи, представляют огромную ценность для литературоведов и будущих биографов поэта. Они дают также более ясное представление о той пропитанной искусством обстановке, в которой рос и развивался Борис.

Газета «Фигаро Литэре» (1 ноября 1958 г.) поместила очаровательный портрет всех четырех детей Розы и Леонида Пастернаков, написанный художником в день его «серебряной» свадьбы: все четверо пришли поздравить родителей с торжественным событием — впереди всех старший сын Борис, читающий поздравительное послание. В интервью с корреспондентом этой газеты, младшая сестра поэта — госпожа Лидия Слэйтер-Пастернак рассказывает о своих родителях. Мать — Роза Кауфман — уже в четырнадцать лет была замечательной пианисткой и, по предложению Рубинштейна, в юном возрасте совершила свое первое турне, ставшее сплошным триумфом. Г-жа Слэйтер рассказывает, как в 1921 году ее родители, взяв обеих дочерей, поехали в Германию, так как матери необходимо было повторить курс лечения, пройденный ею впервые еще до войны.

Борис и Александр (теперь московский архитектор) остались в России. Приехали они навестить родителей в Берлине в 1923 году. Это была, по-видимому, последняя встреча поэта со своими родителями и сестрами. Вернувшись в Москву, оба брата женились. Вскоре вышли замуж и дочери Леонида Осиповича и уехали в Англию. Он остался в Берлине с женой. В 1938 году Леонид Осипович решил вернуться в Россию — тоска по Москве стала невыносимой. Но состояние здоровья помешало ему выполнить свое намерение. Вместо Москвы он поехал в Англию к дочерям. Там же, в Англии, и окончилось земное существование чудесной пары — художника и пианистки, оказавших такое большое влияние на формирование личности и таланта Бориса. Его сестра Лидия только что закончила перевод на английский язык его поэм, в том числе и нескольких, никогда не издававшихся на русском языке. Этот сборник скоро выйдет в свет.

Заслуживают внимания воспоминания о встречах с Борисом Пастернаком в Париже, куда он прибыл в 1935 году на антифашистский конгресс как член советской делегации. Очень интересны воспоминания Георгия Анненкова, знавшего Бориса Пастернака в молодые годы и увидевшегося с ним в последний раз в 1935 году в Париже, в отеле Мадисон, на бульваре Сэн-Жермен. Поэт попросил Анненкова показать ему дом, где жил Райнер Мария Рильке... С восхищением беседовал он с Анненковым о Париже, который он видел, по-видимому, в первый раз, о Флоренции и Венеции. Анненков пишет (в «Фигаро Литэре» 1 ноября 1958 г.), что поэта привлекали искусство и непреходящая красота городов, созданных человеческим гением, а не разговоры о материализме. Анненков вспоминает чудесную эпоху расцвета русской культуры, полнокровной, богатой, разнообразной, когда молодежь в литературе, живописи, музыке, театре искала новых путей, новых средств выражения, новых мыслей... В то время Борис Пастернак

был близок к Хлебникову, Маяковскому, Каминскому, Бурлюку, Крученых. «В то время все мы были противниками войны и всех проявлений националистических настроений, пишет Анненков. Всем хотелось, чтобы война скорее прекратилась и освободила бы дорогу для развития искусства. Пастернак хотел «закрыть глаза» на войну, чтобы освободиться «от дурного сна». «Мы хотели видеть творческий союз всех людей, людей-братьев, без различия цвета кожи, языка, истории, этих людей сформировавшей... Хотели видеть человечество-оркестр, оркестр без дирижера», пишет Анненков. «Я — скрипка, у меня есть слух и мне не нужна палочка дирижера, чтобы играть в унисон с другими инструментами, — сказал Пастернак Анненкову. — Более того, эта палочка мешает мне сконцентрироваться, я теряю равновесие...» Анненков видит в продолжении творчества Пастернака, несмотря на все трудности советской жизни, подтверждение того, что живое искусство, создавшее русскую литературу, не прекратилось в России. Доказательство этому — «случайно попавший за границу и* случайно ставший известным всему миру роман «Доктор Живаго».

Французский писатель Луи Мартэн-Шюффье пишет, что на парижском конгрессе 1935 года Пастернак производил скорее впечатление не члена советской делегации, а какого-то ангела, парящего высоко над ней. В состав советской делегации входили Алексей Толстой, Бабель, Эренбург, Тихонов, Михаил Колюцов... Пастернак держался очень скромно и выступил всего лишь на одном из последних заседаний. Говорил он о поэзии, о том, что о ней нельзя рассуждать на собраниях, о том, что поэзией полно сердце счастливого человека... «Чем больше будет счастливых людей, тем легче будет быть поэтом», — сказал Пастернак.

Многие западные журналисты и писатели отмечают в своих воспоминаниях и статьях, как высоко ценили Пастернака его коллеги — советские писатели, в частности Илья Эренбург. Незадолго перед выходом в свет итальянского издания романа «Доктор Живаго» миланская газета «Коррьере делля Сера» (18 октября 1957 г.), характеризируя творческую деятельность Пастернака и отношение к нему советских властей, отмечает, что в начале 30 годов, когда начались в советской печати выпады против Пастернака, заступничество некоторых влиятельных друзей, и прежде всего, Эренбурга, спасло поэта от участи многих других писателей, о которых он потом писал в стихотворении «Душа моя печальница». Как сообщает западно-германский журналист Герд Руте в еженедельной газете «Ди Цайт» (17 октября 1958 г.), незадолго перед присуждением Пастернаку Нобелевской премии Эренбург еще раз подтвердил, что он считает Пастернака одним из величайших здравствующих поэтов мира. Эренбург в беседе с Руте отметил, что необычайной поэтичностью проникнута не только вся лирика поэта, но также и его проза.

Западно-германский журналист Герд Руте чрезвычайно много сделал для ознакомления Запада с жизнью и обликом Пастернака. Руте, находящийся последние годы в Москве в качестве корреспондента немецкого радио и ряда газет, впервые посетил поэта в его доме в Переделкино в конце 1957 года и приоткрыл перед миром ту завесу, которая до осени 1957 года густо окутывала личную жизнь Пастернака. Из статей Руте Запад узнал, какие книги стоят на полках у поэта: рядом с Библией — только что полученное им немецкое издание Кафки, Пруст по-французски... Он говорит о Рильке, Томасе Манне, Элиоте, Джемсе Джойсе, как о своих близких знакомых. Руте собрал несколько снимков поэта, его жены, его дома. Эти снимки опубликованы в иллюстрированной биографии поэта, изданной Руте, и в декабрьском номере журнала «Дас Шёнсте».

«Редкая судьба — на один мсмент пробудить совесть всего мира — выпала

Борису Пастернаку только потому, что он был внутренне готов, когда эта судьба избрала его — пишет Руге. Но чтобы награжденный почетнейшей литературной премией писатель стал бы символом целой эпохи — нужны были не только эстетические категории как красота языка, богатство фантазии и мысли, композиционные совершенство литературных произведений — здесь нужны были предпосылки этического порядка. И потому что эти предпосылки имелись, Пастернак стал символом — он выступил незапятнанным на яркий свет после десятилетий окружавшей его темноты. Он не встал на одну доску с подчинившимися и пошедшими на службу к власти имущим — он сумел сохранить себя и не стал предателем духа. И привыкшие материалистически мыслить правители родины Пастернака не ожидали, что непокорившийся дух одного человека обладает такой колоссальной силой». Этим и объясняет Герд Руге, внимательно следящий из непосредственной близости за ходом развития событий и отношением советской власти к поэту, бешеную реакцию во всем мире правительства и зависящих от него организаций на успех поэта. Власть забыла все свои теории о «либерализации» и о «сосуществовании» и с небывалой, даже для советских условий, злобой обрушила на писателя весь свой огромный аппарат клеветы только за то, что он сумел сохранить свою духовную целостность. Отказ Пастернака покинуть пределы своей страны напомнил Руге слова, сказанные более двадцати лет назад другим человеком, моральная сила которого оказалась могущественнее преследовавших его сторонников деспотических тоталитарных властей. Карл Осецкий, которому нацистские власти запретили принять Нобелевскую премию, сказал: «Если человек хочет действительно бороться против отравленного духа страны, то он должен разделить общую судьбу всех». Это убеждение, по всей вероятности, и определило действия Пастернака, не совсем, может быть, понятные для некоторой части западной общественности.

От Руге мы узнаем подробности о причинах, побудивших поэта взяться за писание большого прозаического произведения. «После войны я узнал, что имя мое известно многим, что за границей также есть люди, знающие имя Бориса Пастернака. Тогда я сказал себе: ты должен стоять на вытяжку перед твоим собственным именем. Я подумал тогда, что я еще должен заслужить это имя и не стихами, а прозой, чем-то, что должно потребовать много работы, усилий, времени и, может быть, чего-то еще большего», — сказал поэт в беседе с Руге. И под влиянием такого чувства Пастернак сел за писание романа. Опротное влияние оказал на него один вечер, организованный союзом писателей весной 1946 года, незадолго перед началом ждановского наступления на литературу, в которой, под влиянием войны и пробуждения подлинно патриотических чувств и иного понимания искусства, начали всё сильнее раздаваться искренние голоса. Об этом вечере подробно рассказывает также Леон Ленеман в парижском журнале «Экспресс». Когда встреченный бурей аплодисментов поэт прочитал принесенные с собою стихи, его просили читать еще и еще, и аудитория громко подсказывала ему те строки, которые он сам уже не помнил точно или не мог воспроизвести от волнения. В то время стихов его нигде не было в продаже. И тем не менее, его знали, читали, переписывали... Оказалось, что кроме тихой жизни на переделькинской даче, он жил другой жизнью, до сих пор неизвестной ему — он был для кого-то символом, утешением, эстетическим наслаждением... Поистине, лучшего стимула для писателя нельзя найти. И тогда в душе его окрепло давно лелеемое желание заговорить изым голосом, передать другим часть своего мира, спасти то светлое, освещающее даже самые темные, заброшенные, покинутые места и души, то, что пришло в мир почти два тысячелетия тому назад вместе с Сыном Плотника, от-

давшим себя во искупление человека. Характерно, что именно в этот период — в 1950 году — Пастернак берется за перевод обеих частей «Фауста» — работу, требующую не только высочайшего поэтического мастерства, но и силы духа, поднявшегося над всеми земными делами, духа, парящего в иных сферах, сумевшего освободить себя от всех ограничений, от всех земных забот. Одновременно он продолжает работу над романом и заканчивает его к концу 1955 года. «Я написал, как я пережил всё это время. Но это — не обвинение советскому обществу, это я говорю вам совершенно откровенно», сказал поэт в разговоре с Руге.

Руге, ознакомившись на месте с положением литературы в Советском Союзе, пишет в заключение своей лучшей статьи о Пастернаке (в журнале «Дас Шёнсте») следующее: «Но страна Пушкина и Лермонтова, Толстого, Достоевского, Гоголя и Чехова не может исчезнуть с карты мировой литературы. Снова и снова даже в официально разрешенной литературе в Советском Союзе раздаются голоса, говорящие о России, полной прекрасных человеческих сил, помогающих ей переносить страдания, о той России, которую мир знает по величайшим произведениям русской классической литературы. Пусть партийные чиновники думают, что в советской литературе нет места для произведений поэта Бориса Пастернака... Но что бы ни произошло с самим поэтом, произведения его будут продолжать жить в области, которая стоит вне всякой полемики — в одиноком мире русской поэзии».

II. ЧТО ЦЕНИТ ЗАПАД В ТВОРЧЕСТВЕ ПАСТЕРНАКА?

Западные читатели и западные литературоведы прежде всего ценят в Пастернаке его моральную целостность и чистоту, силу его духа, его всеобъемлющий гуманизм. В его романе «Доктор Живаго», случайно проникшем на Запад и так быстро завоевавшем всеобщее признание и симпатии, западные читатели увидели возрождение основных мотивов русской литературы — любви к ближнему, сострадания к человеку, идею его внутренней свободы. Западная печать отмечает широкую образованность поэта, неразрывную связь его с мировой культурой, и, самое главное, — его верность самому себе, своим этическим и эстетическим принципам. Когда стало невозможно писать в соответствии с его пониманием искусства, он перестал печататься и погрузился в работу переводчика. Проникая в мир таких великих художников, как Гёте, Шекспир, поэт продолжает видеть жизнь своими глазами. И этот свой мир, свое понимание истории, как праведной и неправедной, он и хотел передать в своих произведениях. Видение мира и природы, пронизанной христианской идеей очищения человеческой души через страдание и жертвенность, ставит Пастернака высоко над политической борьбой партий, партийных групп и фракций. За всем этим столкновением идей, мнений и взглядов, часто принимающих форму кровавой, беспощадной борьбы, он ищет человека. Французский писатель Жан Геенно пишет в газете «Фигаро Литерэр», что между поэтом и его народом существуют такие тонкие связи, которые власть не в состоянии ни постичь, ни понять, ни, тем более, контролировать. Цель власти — управлять, пишет Геенно, а поэт интересуется больше всего и прежде всего та часть человеческого духа и ума, которая не подвержена никакому управлению...

В воскресном литературном приложении к испанской газете «Аррива» (26 окт. 1958 г.) в статье о жизни и творчестве Пастернака говорится, что он избрал единственный верный путь для истинного писателя — путь сохранения сво-

ей собственной целостности, своей внутренней свободы и независимости, искренности перед самим собою, а также чувство ответственности перед будущим. И именно эта искренность перед самим собою позволила поэту выразить в его произведениях то, что он думал и чувствовал. Его произведения соответствуют тому миру, который он хочет воссоздать в литературной форме.

Западные литературоведы прежде всего почувствовали глубочайшее философское и этическое значение романа «Доктор Живаго». Можно смело сказать, что «Доктор Живаго» кладет основы новому этическому восприятию мира, которое начинается озревать где-то в глубоких недрах России. Глеб Струве начинает свою рецензию, появившуюся в американском журнале «Нью Лидер» (27 октября 1958 г.) длинной цитатой высказывания Николая Веденяпина — дяди и первого наставника осиротевшего Юры Живаго — по поводу его понимания этических основ, на которых строится человеческое общество. («Доктор Живаго», стр. 16).

В этой цитате, а также в другом высказывании о том, что «общение между смертными бессмертно и что жизнь символична, потому что она значительна» — Глеб Струве, — автор многих трудов по истории русской литературы, — видит ключ к раскрытию значения романа Пастернака. Именно в обилии и совпадении случайностей, которые некоторые критики считают композиционным недостатком романа, Струве видит внешнее проявление символического и сокровенного смысла жизни, как его хочет выразить Пастернак. И поэтому сам дар жизни бесценен — для Юрия Живаго «Лара... была воплощением вечно сущего горячего желания благодарить жизнь, благодарить само существование». Струве пишет: — «Весь роман пропитан этим неисчислимым чувством жизни. Он заканчивается на оптимистической ноте, хотя сам Живаго — трагический образ... он — трагическая жертва русской революции, ее сокрушающей и унижающей жизни власти».

После выхода в свет английского издания романа лондонский еженедельный журнал «Тайм энд Тайд» (6 сентября 1958 г.) пишет: — «Главное, что дает нам книга — это взгляд Пастернака на жизнь. Хотя он описывает войну и анархию, возвращающую власть и мертвящую теорию, хотя он пишет о страхе и о тех фатальных ошибках, которые порождают страх, — он противопоставляет всему этому силу любви и дружбы, красоту самопожертвования и служения».

В январе 1958 года, вскоре после выхода в свет романа «Доктор Живаго» на итальянском языке, итальянский литературный критик Никола Кьяромонте поместил в западно-германском журнале «Дер Монат» рецензию, которая до сих пор остается одной из лучших рецензий на книгу Пастернака. Кьяромонте прекрасно уловил историзм романа, его глубочайшую внутреннюю правдивость, делающую эту книгу произведением искусства. Кьяромонте пишет, что один русский писатель снова заговорил свободным голосом, заговорил, чтобы поведать миру о страданиях своего народа. И этот роман — прекраснейшее свидетельство того, как пишет Кьяромонте, что, несмотря на все боли, страдания, ужасы и насилия, в душе русского писателя сохранилось нетронутым чувство правды, любовь к жизни, надежда на силу слова. Книга его — это размышления над историей, или, вернее, о том опромном расстоянии, которое лежит между сознанием человека и ответственностью истории. Только осознав это, человек может оставаться человеком, пишет Кьяромонте, и снова обрести правду, которую душил вихрь событий. Кьяромонте увидел, как в романе Пастернака из хаоса событий, из трагических судеб отдельных людей вырастает та сила, которая больше, чем все эти события, превращает их в общую, универсальную жизнь и позволяет судить обо всем по-человечески. В основе такого понимания истории лежит скорее не религиозное, а мистическое восприятие природы и утверждение жизни, несмотря ни на какие ис-

пытания. Итальянский критик видит связь Пастернака с великими классиками русской литературы в том, что он, как и они, не отделяет судьбы отдельного человека от судеб России. Кьяромонтэ отмечает существование в произведении Пастернака, наряду со всем хаосом, порожденным людьми, вечной природы, с ее никогда не переходящими красотами, облегчающими страдания, смягчающими боль и укрепляющими в сердце человека извечную уверенность в возможности высшей красоты. Кьяромонтэ видит, что взор Пастернака всегда обращен к Евангелию, и образ Христа означает для него воплощение абсолютной веры в душу и свободу человека. Кьяромонтэ особенно ценит то, что Пастернак снова ставит вопросы, издавна занимавшие русских писателей и мыслителей, — вопросы о смысле существования человека, о смысле жизни, о добре и зле — все те «проклятые» вопросы, постановка которых уже в прошлом веке была большой смелостью и влекла за собою большую ответственность.

Частое обращение поэта к Священному Писанию отмечает французский литературный критик Морис Воссар в одной из первых рецензий, появившихся во французской печати на роман «Доктор Живаго» (в газете «*Le Monde*», 26 декабря 1957 года). Воссар не считает себя вправе судить о вере или неверии поэта. Но он считает необходимым отметить, что «Пастернак, как и Толстой, проникнут евангельским духом, и что для Пастернака существует тайна бытия».

Эту же глубокую веру в идею бессмертия человечества при смертности каждого отдельного человека отмечает и американский журналист Солсбери в журнале «*Saturday Review of Literature*» (6 сентября 1958 г.). Основной этический принцип Пастернака Солсбери видит выраженным в следующей фразе: — «... Есть ли что-нибудь на свете, что заслуживало бы верности? Таких вещей очень мало. Я думаю надо быть верным бессмертию, этому другому имени жизни, немного усиленному. Надо сохранять верность бессмертию, надо быть верным Христу!». И поэтому, пишет Солсбери, «Пастернак смотрит в лицо судьбе спокойно и вдумчиво. Это возможно для него потому, что он проникнут христианскими убеждениями и верой, настолько горячей, поэтичной и сильной, что она уже почти чужда людям Запада, привыкшим к сухому доктринёрству»...

Ги Дюмюр в статье «Пастернак и мужество» в журнале «*Франс-Обсерватор*» (30 октября 1958 г.) пишет, что образ поэта, который встает из его автобиографических набросков и из его произведений, противоречит тому облику, который хотят придать ему партийная печать и советские критики. «Я люблю свою жизнь и доволен ею. Я не нуждаюсь в ее дополнительной позолоте. Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю», — приводит автор статьи слова Пастернака из его «Биографического очерка», как доказательство его скромности. Говоря о книге «Доктор Живаго», французский критик пишет, что «нежность и любовь доминируют в этом романе. Страдающие повсюду присутствуют в романе, но оно не экзальтировано». Все ужасы — бои, казни, голод, бандитизм — «всё это — только покрывало, скрывающее красоту мира. В романе Пастернака зло порождается не волей отдельных индивидуумов, а событиями, — пишет Дюмюр. — Я не знаю никого, кроме русских писателей — прежнего времени и теперь Пастернака — кто был бы способен на такое *милосердие*». Пастернак всегда видит в человеке образ брата, пишет Дюмюр, выражая этими словами глубокий гуманизм поэта.

Интересно замечание Дюмюра относительно некоторых отзывов о романе «Доктор Живаго». Некоторые критики, пишет он, в своих неупоминимых поисках «настоящих писателей», не заметили глубочайшего смысла романа; привыкшие к посредственным произведениям, заполняющим витрины книжных магазинов,

литературные критики оказались неподготовленными к пониманию подлинно великого произведения и подошли к нему со своими обычными мерилami. «Доктор Живаго», пишет Дюмюр, принадлежит к тем редким произведениям, где человек противостоит насилию истории. Пастернак снова открыл шлюзы той реки, которую составляло творчество Достоевского, Чехова, Толстого, и которая, как думали все, уже иссякла. Дюмюр пишет в заключение своей статьи в журнале «Франс-Обсерватер», что никакие политические императивы никогда не смогут стереть ни красоты самого произведения, ни мужества его автора, создавшего такую выдающуюся книгу в трудных условиях одиночества.

В подробном анализе романа в швейцарской газете «Базлер Нахрихтен» (16 ноября 1958 г.), Рудольф Сутер отмечает, что в книге Пастернака насилие, жестокость, бюрократизм, бесчеловечность, ложь и неискренность осуждаются самим рассказом о них. Швейцарский критик обращает особое внимание на то, что Пастернак не выступает с обвинениями кого бы то ни было и не затевает злобы. Именно это отсутствие обвинений и выпадов и делает книгу Пастернака потрясающим свидетельством величия человека и его падения. То, что создание такого высоко художественного произведения, насквозь проникнутого человечностью, оказалось возможным, несмотря на террор и на тяжелые условия, пишет литературный критик газеты «Базлер Нахрихтен» — это истинное чудо и счастье для всего искусства как Запада, так и Востока.

Профессор русской литературы в Колумбийском университете Эрнест Симмонс пишет в американском журнале «Атлантик Монсли» (в сентябре 1958 г.):— «Поэт Борис Пастернак живет в своем духовном мире и как художник отказывается искажать голос жизни. Он осуждает растрачивание и уничтожение красоты, когда она соприкасается с вульгарностью материализма». О романе «Доктор Живаго» профессор Симмонс пишет, что он «чрезвычайно искренен, честен... После долгих лет молчания и, надо думать, длительной и вдумчивой подготовки, Пастернак написал роман, возрождающий, наконец, благородную традицию русской литературы, которая в прошлом была совестью народа». Далее профессор Симмонс пишет, что поэта привлекает человек, противостоящий истории, неиссякаемая способность человека противостоять злым событиям и преодолевать их. «Эпизод романа подсказывает, что надежда русского народа как в прошлом, так и в будущем связана именно с этой способностью противостоять и выдержать всё. И образ доктора Живаго — превосходный символ этой духовной борьбы против злых сил истории».

Французский журнал «Энформасьон Католик Энтернациональ» (сентябрь 1958 г.) отмечает, что, независимо от режима власти, Пастернак требует одного: права для человека быть личностью. И поэт обратился к христианству потому, что оно «поставило личность на место силы числа, и начало проповедь свободы».

Западно-германский критик Вернер Розе пишет в еженедельной газете «Ди Цайт» (13 февраля 1958 г.), что он видит выражение гуманизма поэта в любви к ближнему, — этой высшей форме жизненной энергии, в идеале свободной индивидуальности и в представлении о жизни как жертве. В романе «Доктор Живаго», пишет Розе, полностью отсутствуют какие-либо «правые» или «левые» политические тенденции — эта книга — воплощение протеста против непрекращающихся честолюбивых стремлений людей, пришедших к власти, переделать жизнь и людей по-своему.

Многие западные критики находят в Юрии Живаго биографические черты поэта. Антонио Приэто в испанской газете «Аррива» (26 октября 1958 г.) пишет, что создание романа было вызвано желанием автора оставить свидетельство о прожитой им жизни. В «Докторе Живаго», как и в произведениях Кафки и Пруста, пишет Приэто, говорится о необходимости прожить и проработать жизнь. Всё существование Юрия Живаго на земле, наполненное любовью к Ларисе и его страданиями, — есть поиски и осознание жизни. И такое отношение главного героя романа к жизни совпадает с отношением самого Пастернака, что и дает многим повод говорить о биографичности образа Живаго.

Другой испанский критик — Марио дель Пиллар Паломо — говорит в той же газете о символичности многих образов романа. Лариса — олицетворение юношеской мечты Юрия, и она никогда не теряет своей символической ирреальности. Она как бы случайно появляется у проба Юрия, чтобы проститься с ним, и исчезает вместе с его уходом из жизни. Так же перестает существовать и Вася, когда он приспособляется к ходу событий. Этим вторым, символическим, значением многих персонажей романа и объясняется фраза, которую только подумал Живаго о своих друзьях Дудорове и Гордоне и которая так возмутила советских критиков: ... «Единственное живое и яркое в вас, это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали». Уже в самом начале романа все как бы случайно появляющиеся персонажи связаны между собою, но нитей, связывающих их, пока не видно. Марио дель Пиллар Паломо пишет, что весь роман пронизан страстной любовью автора к жизни и к искусству. Испанский критик, как и многие, отмечает, что Пастернак хотел оставить живое свидетельство о своей эпохе, он ощущал желание сообщить возможно большему числу людей обо всем, пережитом им. Книга о Юрии Живаго написана с намерением спасти определенную форму жизни и принести таким образом спасение другим. В заключение своей статьи Пиллар Паломо говорит: «Доктор Живаго» предполагает в Пастернаке глубокую любовь к жизни, к своей стране, к своему народу. Связанный с нитями невидимыми нитями непоколебимой верности, он снова вводит русский роман в современную западную культуру».

В очень интересном анализе творчества Пастернака автор, пишущий под именем Жака Круазе, пишет во французском двухнедельном журнале «Ревю дэ дё монд» (15 ноября 1958 г.), что силам природы в душе Пастернака отвечают глубокие человеческие страсти. Его мощь, динамизм его поэтики смещает все известные явления и воссоздает первоначальный мир, единственный, который может открыть тайны существования. Говоря о «Докторе Живаго», автор пишет: — «Никогда еще не было написано более проникновенной, более правдивой книги о новой России и о ее рождении. Всем, кто хочет познать русских людей и их судьбу, следует прочесть эту книгу». Жак Круазе надеется, что «настанет день, когда книга Пастернака будет издана в России, и сто миллионов читателей смогут найти в этом романе правдивое отражение всего пережитого ими и откроют вокруг себя новый мир, освободившись от той болезни, о которой говорит поэт». Вопреки всем политическим мифам, эта книга восстанавливает в истории правду о России, горящей, как говорит Живаго, искупительной свечой за несчастья всего человечества».

Эти наиболее характерные высказывания западных литературных критиков и литературоведов объясняют тот живой отклик, который нашел роман Пастернака среди читателей всех стран. Летом 1958 года в Риме роману Пастернака была присуждена премия «Банкарелля». Премия эта, учрежденная итальянскими

книготорговцами, ежегодно присуждается книге, пользующейся самым большим спросом на итальянском книжном рынке.

Художественное достоинство книги Пастернака подтверждается отношением польских литературных кругов к Пастернаку и его роману. Характерно, что существовавший очень недолго польский литературный журнал «Опиние» самым первым — уже в № 1 за 1957 год — поместил несколько отрывков из романа «Доктор Живаго». В предисловии редакция журнала пишет, что она печатает фрагменты из романа, который в скором времени выйдет в одном из советских издательств. Роман этот, пишет редакция, — «обширный, многоплановый рассказ о судьбах русской интеллигенции, об ее переделке, сопутствуемой часто трагическими конфликтами». К сожалению, оптимизм польской редакции не оправдался. Но интересно отметить, что Пастернак как оживший символ той русской литературы XIX и начала XX века, которую так ценили польские литературные круги, был впервые встречен в Польше. Журнал «Опиние» видел в Пастернаке средство восстановить связи между польской и русской литературой. И хотя христианство Пастернака чуждо полякам, они сумели увидеть в романе «Доктор Живаго» одну из главных его идей — сохранение гуманизма пред лицом бесчеловечной силы.

Некоторые произведения Пастернака хорошо знакомы польским читателям. Поэма «Волны» появилась в августе 1958 года в журнале «Творчость» и встретила живой отклик среди польской общественности — настроения, отраженные в этой поэме или, вернее, цикле стихов, актуальны в сегодняшней Польше. В октябре 1958 года стихи Пастернака появились на страницах газеты «Нова культура». Варшавское радио в специальной передаче о Пастернаке передало некоторые его стихи. О предполагаемом награждении Пастернака Нобелевской премией газета «Нова культура» говорила, как о чести для всей советской литературы. И поздравительная телеграмма, направленная Пастернаку Ассоциацией польских писателей на следующий день после присуждения ему премии была искренним выражением радости польских писателей за талантливого коллегу. Такое отношение характерно для непредвзятого суждения литературных кругов о русском поэте. Рассмотрим теперь, как же встретил Запад награждение Пастернака Нобелевской премией и как он отнесся к реакции советской печати и советских властей на эту честь, возданную русскому поэту.

III. ЗАПАД О РЕАКЦИИ СОВЕТСКИХ ВЛАСТЕЙ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПАСТЕРНАКУ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ

Печать, общественность и литературные круги всех свободных стран встретили известие о награждении русского поэта Бориса Пастернака Нобелевской премией по литературе с большой радостью, сердечностью и теплотой. 24 и 25 октября не было ни одной зарубежной газеты, которая не поместила бы сведений о жизненном и творческом пути поэта. Все единодушно одобрили выбор Шведской Академии. Датская писательница Карен Бликсен-Финке, пишущая под псевдонимом Исаак Динесен, и бывшая одним из вероятных кандидатов на Нобелевскую премию этого года, выразила свое удовлетворение по поводу того, что премия была присуждена Пастернаку. Один из крупнейших французских писателей и лауреат Нобелевской премии 1952 года Франсуа Мориак сказал, что книга Пастернака достойна восхищения. Американский драматург Максвелл Андерсон, поздравляя Пастернака, пишет ему: «Ваше произведение давно уже заслужило и продолжает заслуживать высшей награды». Немецкий поэт Генрих Белл назвал решение Шведской Академии чудесным: «Как поэт, я знаком с произведениями Па-

стерняка и очень высоко ценю их». Пёрль Бак — американская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе за 1938 год — отзывается о романе Пастернака как о великом произведении великого писателя. Отзывы писателей различных стран наилучшим образом выражает высказывание французского писателя Альбера Камю, награжденного Нобелевской премией в 1957 году. Камю сказал: — «Это самый лучший выбор, какой можно было только сделать. Я надеялся, что Пастернак получит премию, и радуюсь этому от всего сердца. Произведение, удостоенное этой награды, достойно восхищения, а его создатель является человеком, которым как современником каждый может гордиться».

Реакция советских властей и советской печати на награждение Бориса Пастернака Нобелевской премией и организованная травля поэта были совершенно неожиданными для мировой общественности и поразили всех, как громом. Эта реакция была тем более странной, что за несколько дней до опубликования решения Шведского Комитета по Нобелевским премиям, когда уже повсюду предполагали, что наиболее вероятным кандидатом будет Пастернак, Борис Полевой в беседе с западно-германским журналистом Гердом Руте сказал, что хотя роман «Доктор Живаго» считается советскими критиками неполноценным, против самого Пастернака и его прежних стихов в Советском Союзе никто ничего не имеет. Аналогично было и высказывание советского министра культуры Михайлова непосредственно после присуждения Пастернаку премии. «Хотя роман и слаб, сказал он, но Борис Пастернак хороший поэт и хороший переводчик, и за это уже десять лет тому назад ему стоило дать премию». Руте сообщает, что уже утром 23 октября одни из соседей поэта пришли сообщить ему только что услышанную новость, переданную одной заграничной радиостанцией: — Пастернак — один из наиболее вероятных кандидатов на премию, окончательное решение Шведской Академии будет опубликовано в половине четвертого пополудни... И когда надежды оправдались — дача Пастернаков наполнилась друзьями, спешившими поздравить нового лауреата. Но не прошло и недели, как многие из «друзей» поставили свои подписи под письмами и резолюциями, клеветущими на поэта... Никто не выступил открыто в его защиту. Всё, что сделали наиболее талантливые писатели — они сохранили молчание и не покрыли себя позором предательства своего же коллеги. Пастернак, вероятно, благодарен им и за это.

Шведские литературные круги никак не ожидали, что их честное намерение отдать должное автору, уже десять лет тому назад предложенному в кандидаты на премию, встретит такой «бурный» прием на самой родине этого автора. Как писала после сообщения о решении Шведской Академии газета «Свенска Дагбладет», вся шведская общественность надеялась, что присуждение премии Пастернаку, поэту, который многими советскими писателями и критиками уже давно считался одним из лучших здравствующих русских поэтов, будет благоприятно встречено советскими властями. Многие шведские писатели, например, Гарри Мартинсон и Эйвинд Йонсон — оба члены Шведской Академии — выступили по радио и телевидению против преследования Пастернака советскими властями. Мартинсон с глубоким возмущением говорил о лицемерии советских властей, разрешивших физикам принять Нобелевскую премию, как честь, справедливо им возданную, и в то же время заявивших, что принятие премии по литературе равносильно предательству и позору.

Гамбургская газета «Ди Вельт» опубликовала 15 ноября 1958 г. письмо итальянского издателя романа «Доктор Живаго» Фельтринелли, в котором Фельтринелли, первым издавший роман Пастернака на Западе, подробно рассказывает о том, как возникло так называемое «дело Пастернака». Это «дело» возникло и

стало политической сенсацией, пишет Фельтринелли, только из-за позиции, занятой самими советскими властями и партийным руководством. Фельтринелли пишет, что аполитичное самое по себе литературное творчество Пастернака было превращено в политическое дело еще тогда, когда Запад не имел ни малейшего понятия о существовании романа. Извещение редакции журнала «Знамя» в 1954 году о предстоящем выходе в свет нового романа Пастернака, опубликование нескольких стихотворений из последней части романа стало возможным только благодаря изменению политической ситуации и начавшегося духовного «оттаивания» искусства и мышления после смерти Сталина. Вся остальная история — решение редакции «Нового мира» сначала отложить печатание романа, а затем вообще отказаться от его опубликования, тесно связаны с общим ходом политической и идеологической борьбы внутри страны. Фельтринелли пишет, что появление в Милане Суркова, его требование выдать ему рукопись и прекратить набор текста в Италии, а также его злобещее напоминание о судьбе, постигшей Пильняка, выпустившего свой роман за границей, и, в особенности, истерические оскорбления, которым подвергся писатель после присуждения ему Нобелевской премии — всё это звенья одной цепи, этапы одной и той же политики. По мере обострения политического нажима, цепь становится всё тяжелее, и удары наносимые ею всё болезненнее.

Фельтринелли сообщает, что значительную роль во всей истории сыграли, по словам самого Суркова, резкие личные расхождения между этим последним и Пастернаком. Но у западных литературоведов, писателей и читателей роман Пастернака нашел положительную оценку, более того, все они, пишет Фельтринелли, считают этот роман выдающимся произведением, которое по праву должно быть причислено к лучшим произведениям русской классической литературы. И права на такое суждение о романе, пишет итальянский издатель, не отнимут у западных писателей и читателей даже самые высокопоставленные советские чиновники от культуры.

Гамбургский журнал «Дер Шпигель», известный левизной своих взглядов, приводя целую серию газетных комментариев по поводу вынужденного отказа Пастернака от Нобелевской премии под прямым давлением советских властей, приводит также высказывание западно-германского журналиста Альхарда фон дер Борха из газеты «Майнхаймер Морген». «Мы, немцы, пишет он, особенно хорошо понимаем всё случившееся с Пастернаком» и отмечает, что возмущение немецкой общественности тем сильнее, чем яснее она вспоминает аналогичную историю, происшедшую 22 года тому назад с немецким публицистом Карлом Оссецким, которому Гитлер запретил принять присужденную ему Нобелевскую премию мира. Немецкий журнал «Дер Шпигель» подробно сравнивает случай Карла Оссецкого с делом Пастернака и находит бесчисленные параллели. Комментарии здесь уже не нужны — ассоциации между двумя системами и двумя жертвами слишком явны.

Австрийский журнал «Форум» в ноябрьском номере за 1958 год, обсуждая так взволновавшую всю мировую общественность недостойную травлю писателя советскими властями, также проводит параллели между отношением гитлеровского режима к напращиванию немецких ученых и деятелей культуры Нобелевскими премиями и отношением советского правительства к напращиванию этой премии поэта Пастернака. Но в то время, как Карл Оссецкий активно выступал против военных планов нацистского правительства, пишет журнал «Форум», вся вина Бориса Пастернака заключается только в том, что своим художественным произведением, своим поэтическим дарованием он становится на сторону русских идеа-

лов и традиций и вечных непреходящих общечеловеческих ценностей. Выступление советских властей против подобного произведения покрывает позором всех инспирирующих преследование поэта и принимающих участие в его травле.

Известный французский публицист Борис Суварин пишет в журнале «Эст-Уэст» (16—30 ноября 1958 г.), что «преступление», в котором обвиняется вот уже несколько месяцев Пастернак, не предусмотрено даже советским Уголовным Кодексом: преступление это — получение Нобелевской премии. Суварин указывает на всю абсурдность заявлений советских властей о разнице между премией, присужденной трем советским физикам, и премией, присужденной поэту. «Диалектическое мышление» доведено на этот раз до абсурда: что признается честью для одних — покрывает позором других. Суварин показывает также всю абсурдность обвинений шведских академиков в «реакционности» — во-первых, потому, что они известны на Западе своей «левизной», во-вторых, он приводит длинный список писателей, известных своими левыми взглядами и, тем не менее, награжденных Нобелевской премией по литературе. История с Пастернаком, этим «лауреатом поневоле», как остроумно замечает Суварин, свидетельствует о том, что Хрущев и его окружение пользуются теми же методами, что и Сталин. Эпигоны отбросили только, как пишет Суварин, «бесполезную жестокость», которой славилась сталинская эпоха, оставив в ходу «жестокость полезную», то есть ту, посредством которой они добиваются нужных партийному руководству результатов. А задача заключалась в том, чтобы вырвать у Пастернака покаяние. После этого в сталинские времена последовала бы осылка или расстрел, теперь же жертва уже не представляет никакого интереса для Хрущева — он добился желаемого результата.

Суварин, как и комментаторы многих других стран, указывает также на абсурдность «писем читателей», помещенных в «Литературной газете», «читателей», обливающих крупнейшего современного им русского поэта грязью и поносящих его произведения, которых они никогда не читали! Суварин, так же как Анненков, как и многие другие западные комментаторы и литературоведы, не теряет надежды, что настанет день, когда «Доктор Живаго» возвратится из «осылки» и займет подобающее ему место на полках настоящих русских читателей. Свободный талант побеждает со временем злобу и клевету — Бунин, которого долгое время не называли иначе, как «реакционером» и «белогвардейцем», не только «реабилитирован» теперь настолько, что его произведения снова печатаются в Советском Союзе, но и пользуется, особенно у молодежи, куда большей популярностью, чем «ортодоксальные» последователи социалистического реализма кочетовы и им подобные.

Немецкий профессор Канторович, перешедший несколько лет назад из Восточной Германии в Западную, видит в Пастернаке и его трагедии олицетворение символа, почти два тысячелетия стоящего перед миром — Человека, избранного Высшей Милостью, оскорбляемого чернью, затравленного и оклеветанного фарисеями, но с достоинством молча несущего свой крест. Недаром вырвались у Пастернака эти пророческие слова, в которых выразилась вся бездонная тоска Человека, окруженного лишенными света правды и милосердия, погрязшими в низких помыслах, злобе и зависти существами: — «Я один, всё тонет в фарисействе...» Профессор Канторович считает, что напиши Пастернак политический памфлет, направленный против коммунистического правительства, власти быстро ликвидировали бы подобное «дело». Но имманентная взрывная сила романа Пастернака заключается как раз в том, что это произведение далеко от политического памфлета, что оно по-иному освещает весь исторический ход событий и

выходит за пределы всех привычных для советских властей и партийных идеологов нормативов и догм. Профессор Канторович пишет в журнале «Дас Шёнсте», что обвинения русского поэта в том, будто он забрался в «башню из слоновой кости», несправедливы, так как в своем романе он занимается проблемами, нависшими над человечеством, и не обходит идеологических разногласий, раздрающих наш век, а находит свое, надпартийное разрешение мучающих человечество вопросов. Канторович обращает особое внимание на то, что поэт считает два элемента необходимыми для существования современного человека: идею свободы человека как личности и представление о жизни как жертве. Канторович видит основную мысль поэта в словах: «Истину ищут только одиночки и порывают со всеми, кто любит ее недостаточно...» Этот лейтмотив жизни Живаго есть в то же время лейтмотивом самого писателя. И это отрицание застывшей структуры массового, нормативного общества вызвало бурю преследования, так как, пишет Канторович, догма непреложного коллективизма не терпит исключений — любой, отрицающий установленные нормы и догмы, клеймится еретиком и осуждается на позор, мученичество, костер, на моральными или физическими пытками вырываемое отступничество от самого себя, от своих идей и убеждений. Таков железный закон тоталитаризма. Жизненная философия Живаго, заключающаяся в глубоком убеждении, что насилие не приводит к добру, что добра можно достичь только путем добра — исконное чужда тоталитаризму и диктатуре: компромисс здесь невозможен.

В западногерманской двухнедельной газете «Ди Кальтур» (1 ноября 1958 г.) литературный критик Ганс Вернер Рихтер пишет, что история с преследованием Пастернака лишила Советский Союз последних симпатий, которые еще сохраняли к нему некоторые западные интеллигенты после венгерских событий. Автор указывает, насколько смехотворно, несмотря на всю его трагичность, заявление правления Союза советских писателей о лишении Пастернака звания писателя. Писатель — это не звание, которое может быть дано или отнято; человек или сам делается писателем или просто не может им быть, пишет Рихтер. Своими выступлениями против Пастернака и заявлением о «лишении» его «звания писателя» Союз советских писателей только показал глубину своего падения.

Многие западные комментаторы, отмечая, что весь роман пронизан любовью к России и ее народу, выражают удивление по поводу реакции советских властей. Гвидо Пьевене в итальянском журнале «Нуова Стампа» пишет, что если бы советские власти объективно оценили успех книги Пастернака на Западе, то увидели бы, что этот успех только благоприятен для Советского Союза.

Жак Мишель пишет в еженедельнике «Франс-Обсерватер» (6 ноября 1958 г.), что виной всему догматизм и нетерпимость советских властей. Если бы роман Пастернака не был запрещен в Советском Союзе, советское правительство спокойно могло бы увидеть в Нобелевской премии, присужденной Пастернаку, справедливую награду, данную выдающемуся русскому писателю. Но поскольку власть не могла выйти за пределы своей собственной ограниченности и закосневшей дьявольской догмы, то в момент присуждения поэту премии, она оказалась застигнутой врасплох — признать премию значило бы расписаться в своем собственном обскурантизме. Жак Мишель пишет: — «тогда пришлось бы опубликовать «Доктора Живаго» в Советском Союзе, да еще с официальной самокритикой, объясняющей появление этой книги с таким запозданием. Это было бы одновременно фактическим признанием, что тридцать лет социалистического реализма были долгим периодом ошибок и засилия обскурантизма».

Печать стран Азии и Африки уделила много места делу Пастернака. Газеты

этих стран прежде всего восприняли политическую сторону этого дела. Они пишут, что преследование советскими властями поэта за то, что ему была присуждена международная, всеми уважаемая премия, полностью обесценило все торжественные заявления о свободе высказывания и свободе творчества в Советском Союзе, в частности, все провозглашенные декларации советских представителей на ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки.

Таиландская газета «Сансери» пишет: «Случай с Пастернаком — яркий пример отсутствия подлинной свободы в Советском Союзе... Жестокость по отношению к писателю со стороны советского правительства показывает, что русский народ лишен даже свободы взглядов...»

Сингапурская газета «Стрейт Тайм» отмечает, что «ничто так ясно не обнарило внутренней слабости коммунизма, как травля Бориса Пастернака...»

Подобное мнение высказывает и индийская газета «Трибюн оф Амбала», она пишет: — «Эпизод с Пастернаком пролил яркий свет на слабость тоталитарной системы. Он показал, что в тоталитарном государстве нет места для творчества, что писатель может там «творить» только в том случае, если он целиком отождествляет себя с интересами правящей касты и того социального строя, который эта каста создала...»

К аналогичному выводу приходит и марокканская газета «Аль Алам», говоря, что отказ Пастернака от Нобелевской премии под давлением правительства означает, что советское правительство стремится подчинить мысль человека определенным, даваемым им критериям и нормам. «Мы называем это искажением и порабощением мысли, закрепощением человеческого духа и интеллекта»...

Газета «Таймс оф Индия» в литературном приложении (4 ноября 1958 г.) пишет по поводу выступления Семичастного: «Какой позор! Неужели нельзя было оставить в покое пожилого человека, который вновь окрылил русскую литературу? До какого же предела доведено будет унижение поэта, всё преступление которого заключается лишь в том, что он посмел прервать молчание и поведать свету о скорби, выношенной им в сердце и затаенной долгие годы?» Газета считает позором для всего советского общества безобразное выступление Семичастного на собрании, на котором присутствовало 12 000 человек.

Выходящая на бенгальском языке газета «Джанасеван» пишет, что трагическое письмо Пастернака Хрущеву с просьбой не высылать его из России, должно открыть глаза всем, обращающим свои взоры в сторону советского образца.

Пакистанская газета «Таймс оф Карачи» пишет, что ужасная история с травлей Пастернака превращает в жалкий фарс всю торжественную конференцию писателей стран Азии и Африки, проведенную с таким трескучим барабанным боем.

Примеров высказываний печати стран Азии и Африки можно было бы привести огромное количество. Все газеты выражают свое возмущение действиями советских властей и лицемерием пропагандных заявлений представителей советского правительства.



Следует отметить, что на Западе нашлись, правда, довольно редкие, голоса, обвинившие Шведскую Академию в «необдуманности» ее выбора. Одним из них был полос известного испанского журналиста, бывшего директора испанского радио, Суэвоса. Суэвос обвиняет шведских академиков в том, что они упустили из виду то обстоятельство, что пока Пастернак тихо работал в Советском Союзе, присуждением ему премии они вынудили его выступить в качестве политической фигуры. Испанская газета «Аррива» поместила статью Суэвоса (2 ноября 1958 г.)

без комментариев. Но предыдущий номер еженедельного литературного приложения к газете был полностью посвящен жизни и творчеству Пастернака с приложением перевода на испанский язык нескольких его стихотворений. В вводной статье издатель выразил удовлетворение по поводу присуждения Пастернаку премии и отметил его заслуги перед мировой литературой. Некоторые западные журналисты и политические деятели высказывали мнение, что Запад должен был читать роман Пастернака «пятихоньку», не проявлять к нему особого интереса и не награждать поэта Нобелевской премией, потому что советские партийные круги и официальная критика относятся к нему неблагоприятно. Против таких взглядов неоднократно выступали другие журналисты, в частности, известный французский журналист Франсуа Бонди. В журнале «Прёв» (декабрь 1958 г.) Бонди пишет, что было бы нечестностью замалчивать художественные достоинства выдающегося литературного произведения только потому, что оно «неблагоприятно» принято советскими партийными кругами. Бонди пишет, что тот Запад, о котором с такой враждебностью говорит советская печать, проявил такой большой интерес к роману Пастернака потому, что он искал и нашел в этом романе тот образ современной России, которую он мог бы понять и полюбить. Франсуа Бонди пишет, что Шведская Академия, подвергшаяся таким нападкам со стороны Союза советских писателей и партийной советской печати, всегда была противником всякого конформизма и никогда не подчиняла свое суждение каким-либо политическим требованиям или тенденциям. Так был награжден Нобелевской премией в 1956 году испанский поэт Хуан Рамон Хименес, живший в эмиграции. Однако, все произведения Хименеса опубликованы в Испании, и присуждение ему премии было воспринято испанской общественностью как честь, оказанная всей испанской литературе, частью которой продолжает быть поэт Хуан Рамон Хименес, независимо от того, разделяет ли он политические взгляды правительства или нет.

Франсуа Бонди отмечает также, что официальные сообщения советской печати о «единодушном» осуждении Пастернака восьмьюстами писателями из почти трех тысяч не следует понимать буквально. «Это не голос советской культуры — пишет Бонди, — а только голос государства» — подлинные стремления писателей Советского Союза выявились в многих выступлениях на Втором съезде писателей и в произведениях, появившихся в период между 1953—1956 годами.

Голосом, раздавшимся против Пастернака, был голос французского писателя Жюль Ромэна. В статье, опубликованной в газете «Орор» (14 ноября 1958 г.), Жюль Ромэн упрекает Пастернака в том, что он выступил с «покаянными» письмами. «До какой степени может дойти раболепие среднего советского интеллигента и подлость печати, подпитывающей настоящий вой по приказу, — мы знаем», пишет Жюль Ромэн. Но он считает, что писатель, стоящий так высоко, как Пастернак, к тому же поддерживаемый мировым общественным мнением, по крайней мере должен был хранить молчание и не поддаваться нажиму и шантажу со стороны властей. Жюль Ромэн напоминает, что, например, в 1940—1941 гг. большое число людей «избрали риск и нищету изгнания, которое, по всем признакам, должно было быть окончательным, только чтобы не подчиниться гитлеровскому господству, не принять уничтожения свободы и не молчать в то время, когда такие люди, как они, должны были говорить и протестовать...» А Пастернаку, пишет Жюль Ромэн, его изгнание на Запад было бы скрашено сверх меры. Но у Пастернака нехватило мужества, пишет Жюль Ромэн с чувством глубокого опорочения и недоумения. Во второй статье Жюль Ромэн пишет, что весь ужас случая с Пастернаком заключается именно в том, что в искренности его покаянных заяв-

лений трудно сомневаться, что создается впечатление, будто он действительно считает, что он совершил какую-то ошибку, то есть позволил себе мыслить самостоятельно. Жюль Ромэн считает самым ужасным именно этот факт разрушения совести человека, которое удалось новым тиранам при помощи террора и шантажа.

Возразить Жюлю Ромэну можно только, зная все подробности того нажима, которому подвергся Пастернак. Совершенно очевидно, что поэт до последней возможности стремился сохранить свою позицию. Ясно, что заявление советского правительства о том, что оно ничего не имеет против выезда писателя за границу, совершенно несостоятельно, так как это заявление последовало *после* того, как Пастернака заставили отказаться от премии. Но писателю, как Жюль Ромэн, воспитанному в принципах свободолюбия и полной свободы действий каждого человека, непостижимо, до какой изощренности и лицемерия может дойти тоталитаризм.

IV. ПРОТЕСТ ОБЩЕСТВЕННОСТИ СВОБОДНЫХ СТРАН ПРОТИВ ТРАВЛИ ПАСТЕРНАКА В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

Когда советское правительство через своих ставленников начало применять репрессии против Пастернака и открыто припростило ему изгнанием из родной земли, что, по-видимому, влекло за собою разлуку с семьей, на защиту Пастернака выступили национальные и международные объединения писателей, известные писатели заявили протест советским властям против их обращения с поэтом.

Одними из первых выступили с протестом американские писатели. Группа английских писателей послала на имя председателя Союза советских писателей телеграмму следующего содержания: «Во имя великих традиций русской литературы, которую вы призваны представлять, призываем вас не позорить ее преследованием писателя, которого чтит и уважает весь цивилизованный мир». Эту телеграмму подписали писатели Элиот, Грэхем Грин, Сомерсэт Моэм, Пристли, Олдус Гексли, Форстер, Ребекка Уэст, философ Бертран Рассел.

Во Франции Исполнительный комитет союза писателей по защите правды опубликовал протест против выступлений советских газет «Правда» и «Литературная газета». В заявлении говорится, что решение об исключении Бориса Пастернака из Союза советских писателей свидетельствует о подчинении, в котором советские писатели находятся у советских властей и пренебрежении этими властями правдой, культурой и правами духа. «Приговаривая Пастернака к молчанию, отнимая у него всё, лишая его средств к существованию, унижая его, советские писатели предают традиции русской литературы, русский народ, мир и идеи социализма, которыми они прикрываются в своей кампании клеветы против писателя», говорится в заявлении.

Французская еженедельная газета «Нуэль Литтерэр» обратилась к Борису Пастернаку с выражением симпатии. Обращение подписали сотни французских писателей самых разнообразных взглядов и направлений. Редакция газеты пишет, что это доказывает верность выбора Шведской Академии и необоснованность и лживость всех обвинений ее в совершении политического жеста.

Многие объединения обратились к советским властям с призывом сохранить за Пастернаком его права. Среди них — Ассоциация датских писателей, Национальное Объединение драматургов и писателей Италии, Союз голландских писателей, Шведский Союз писателей и многие другие. Союз голландских писателей

обратился в специальной телеграмме к советскому правительству с призывом «сделать возможным для Пастернака получение Нобелевской премии».

Ассоциация писателей Непала на митинге протеста против действий советских писателей обратилась к ним с призывом аннулировать резолюцию об исключении Пастернака из Союза советских писателей и прекратить его преследование.

Всеиндийский ПЕН-Клуб послал Союзу советских писателей телеграмму, в которой заявил, что индийские писатели глубоко сожалеют об исключении Пастернака из Союза писателей и о его вынужденном отказе от премии и обращаются к советским писателям с призывом уважать свободу писателя и обеспечить достойное обращение с Пастернаком. Сам Неру заявил, что он глубоко огорчен травлей в Советском Союзе Пастернака, указав, что в Индии почитают его как крупного писателя.

В протесте австрийских писателей говорится, что они глубоко симпатизируют Борису Пастернаку и поддерживают его в часы одиночества, на которое осудил его террор, которому подвергают интеллигенцию правители Советского Союза. «Мы протестуем против ограничения личной и творческой свободы пользующегося мировой известностью автора, только что удостоенного Нобелевской премии. Мы призываем всех деятелей искусства, ученых и культурные организации Запада присоединиться к нашему протесту и поставить условием для будущих контактов с советскими деятелями искусства и учеными полную реабилитацию Бориса Пастернака как гражданина и писателя».

Аналогично содержание протеста 293 итальянских писателей и представителей интеллигенции, опубликованного в итальянском журнале «Иль Мондо» (11 ноября 1958 г.). Итальянские писатели призывают объявить бойкот всем советским организациям, принимающим участие в преследовании писателя. «Чтобы заставить его отказаться от премии, говорится в заявлении итальянских писателей, против одного человека, против писателя, была поднята самая разнузданная кампания брани и угроз, которая когда-либо поднималась даже в Советском Союзе». В заявлении отмечается, что исключение Пастернака из Союза советских писателей и из союза переводчиков лишает его права на работу, право добывать себе средства к существованию. Итальянские писатели указывают, что вся травля писателя только еще более подчеркивает его величие. «С чувством глубокого уважения и волнения мы склоняемся перед ним», говорится в заявлении. «В лице Пастернака советские власти нанесли оскорбление всей мировой культуре», читаем дальше в заявлении, и поэтому итальянские писатели призывают «все свободные народы прекратить всякие контакты с отдельными лицами, с ассоциациями, академическими учреждениями и культурными организациями, зависящими от советского государства, публично выступившими в качестве преследователей Пастернака, до тех пор, пока писатель не будет восстановлен в праве на труд, а также в праве принимать участие в культурной жизни всего мира, для которой его уход из нее будет большим уроном, а также пока все эти права не будут гарантированы ему советским правительством».

Югославский студенческий журнал «Водечи» (в номере сентябрь-ноябрь 1958 года) поместил статью под названием «Защите Пастернака». Это — открытое письмо советской интеллигенции. Автор письма, Милош Стамболич, обращается к своему «советскому современнику» с призывом выступить на защиту Пастернака. «Я обращаюсь к Вам, как к моей последней надежде, хотя и не знаю, аплодировали ли Вы «от всего сердца» пресловутому Семичастному, когда тот с исте-

рическими выкриками плевал в лицо человека и писателя Бориса Пастернака»... Автор предостерегает об опасности возврата к сталинскому произволу:

«...Если Вы, мой советский современник, присоединяетесь теперь к аплодирующим Семичастному, то тогда, действительно, нужно будет ожидать, что завтра люди снова закачаются на виселицах. Как долго Вы будете довольствоваться ролью пассивного наблюдателя, а то и соучастника неправых и жестоких дел? Разве, выступив на защиту Пастернака и против тех, кто его травит, Вы не выступите тем самым на защиту вашего собственного человеческого достоинства? ...»

В заключение позволим себе привести открытое письмо английского писателя Роберта Конквеста советскому министру культуры Михайлову по поводу дела Пастернака. Письмо это было опубликовано в лондонском журнале «Спэктейтор». Автор письма указывает, что известные писатели Англии и других стран уже обращались к советскому правительству с протестами против обращения советских властей с Пастернаком. Конквест как рядовой член английской ассоциации писателей пытается еще раз подействовать на советское правительство, отмечая, что позиция, занятая этим правительством, непостижима для Запада. Конквест пишет, что самое главное в том, что литературные крути всего мира были почти единодушно на стороне Пастернака. Даже итальянские коммунисты дали положительный отзыв в своей партийной газете о прижизнении Пастернаку Нобелевской премии. И только одна «Литературная газета» выступила с заявлением, что Шведская Академия избрала Пастернака в качестве лауреата 1958 года «по приказу американских «provokаторов»...

Это свидетельствует о совершенно ложном понимании советскими властями несветского мира, пишет Роберт Конквест. Английским писателям давались сталинские и ленинские премии, причем эти премии носят политический характер, все награжденные ими были коммунистами или близко стояли к компартии. И однако никто этих писателей не преследовал. Более того, автор письма отмечает, что все английские писатели объединились бы и стали бы защищать писателя даже самого вызывающего поведения, если бы власти сделали хотя малейшую попытку препятствовать его работе. «Защищая таким образом свободу литературы, мы оказываем услугу всем», пишет Конквест в своем открытом письме Михайлову. Конквест спрашивает далее, отдает ли советское правительство себе отчет в том, какое ужасное впечатление произвело на весь свободный мир зрелище, когда могущественное государство мобилизует все свои органы подавления и всю свою печать, чтобы сокрушить одного молчаливого человека. «Мы знаем, что он смелый человек, так как он отказывался подписывать документы, направленные против маршалов, безо всякой причины преданных казни. При чтении сообщений о собрании московских писателей, «единодушно» осуждающих Пастернака, нам очень трудно думать, что положение в Советском Союзе в настоящее время стало лучше, чем оно было в тридцатых годах». Конквест пишет, что создается впечатление, будто вся эта «демонстрация мощи» рассчитана на оказание определенного воздействия на всех советских писателей и на население Советского Союза. Все выпады против романа «Доктор Живаго» бессмысленны, пишет Конквест, поскольку этот роман не опубликован в Советском Союзе. Автор письма указывает, что года два назад Хрущев объявил о «мирном соревновании» между идеями Советского Союза и идеями всего остального мира. Но теперь история с Пастернаком ясно показывает, пишет Конквест, что в Советском Союзе не может быть никаких идей, кроме тех, которые нужны режиму.

В связи с угрозой советского правительства выслать Пастернака за пределы его родной страны, следует отметить трогательные выражения готовности при-

нять писателя, если бы советские власти действительно осуществили свою угрозу. Со всех сторон мира последовали предложения обеспечить писателю спокойное существование, где он мог бы спокойно работать. Американский писатель Эрнест Хемингуэй пригласил Пастернака к себе и предложил подарить ему дом и создать все условия для творческой деятельности. Такое же предложение поступило от бургомистра маленького американского городка. Английский философ Бертран Рассел выразил готовность принять опального писателя в своей усадьбе. Такую же готовность выразил и лауреат Нобелевской премии 1955 года исландский писатель Халдор Лакснесс, известный своими левыми взглядами. Лакснесс очень активно выступил на защиту Пастернака, обратившись с письмом к Хрущеву. Лакснесс сказал, что он готов обеспечить Пастернаку подлинное убежище. «Я не понимаю ни Хрущева, ни советских писателей, сказал Лакснесс, — терпимость — важная предпосылка, необходимая для того, чтобы оценить по достоинству заслуги такого крупного писателя, как Борис Пастернак».

Писатели индийского штата Керала, находящегося в настоящее время под управлением коммунистов, обратились к Неру — президенту Индийской Академии Наук — с просьбой пригласить Пастернака в Индию, «где верят в свободу художника и в его право на свободное высказывание своего мнения».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После опубликования в печати письма Пастернака Хрущеву и редакции газеты «Правда», многие западные обозреватели выказали мнение, что «дело» Пастернака считается в Советском Союзе, по-видимому, законченным. Власти добились от него того, что им было нужно — отказа от премии. Итальянский писатель Игнацио Силоне, бывший когда-то сторонником коммунизма, но затем отошедший от него и ставший теперь одним из наиболее ревностных хранителей интеллектуальной свободы, убежден, что затишье, наступившее после бури, которая чуть не увлекла в пропасть Пастернака, в значительной степени — результат энергичных протестов общественности свободных стран. Игнацио Силоне пишет во французской газете «Фигаро Литерэр» (6 декабря 1958 г.), что решительные протесты, с которыми отдельные писатели, национальные и международные объединения писателей, общественные и государственные деятели выступили против преследований Пастернака, свидетельствуют, что кроме «общества, к которому принадлежит поэт Пастернак» и которое обрушило на него весь тяжелый аппарат партийной и государственной пропаганды, чтобы только воспрепятствовать крупнейшему здравствующему поэту России получить международную премию, существует еще другая, более крупная сила — международная общественность и международное общественное мнение. И эта сила сделала одинокого пожилого поэта более могущественным, чем все его противники в его родной стране. «И никто из нас, — пишет Силоне, — не считает, что, заступаясь за поэта, мы вмешиваемся во внутренние дела иностранного государства. Пастернак принадлежит нам так же, как и русским; он — часть того, что Гёте называл «мировой литературой». Он — часть общества художников и свободных людей, общества, не имеющего границ. И это общество почувствовало себя оскорбленным подлым, бесчестным поведением советских партийных бюрократов так называемого «литературного фронта».

«Честь и достоинство Пастернака — это честь и достоинство всего мира», — пишет Силоне.

«Дело» Пастернака позволило миру заглянуть за кулисы советской партийной печати и увидеть истинное состояние современной культурной жизни в советской империи, пишет Силоне. Запад не скоро забудет имена людей, называю-

щих себя писателями и возглавивших кампанию травли Пастернака. «Если кто-нибудь из этих подлецов появится на международной конференции где-нибудь в Венеции, Риме, Цюрихе или Париже, мы прервем нормальный ход нашей работы и потребуем от них отчета в совершенной ими низости».

Последний раз имя Бориса Пастернака появляется на страницах почти всех газет мира в связи с торжественной церемонией вручения шведским королем почетной грамоты и золотой медали вместе с денежным чеком лауреатам Нобелевской премии 1958 года. Одновременно с церемонией в Стокгольмском концертном зале, на торжественном заседании в актовом зале университета в Осло была вручена премия мира.

Необычайно празднично выглядел концертный зал Стокгольма. Почти две тысячи почетных гостей собрались здесь — во главе шведская королевская семья, члены шведского правительства, дипломатический корпус, шведские академики и ученые, многие лауреаты Нобелевской премии предшествующих лет. На эстраде на почетных местах — три советских физика, три американских медика и английский химик. Только одно место осталось незанятым — место лауреата премии по литературе...

Вместе с торжественностью, свойственной этой единственной в мире церемонии, в этом году чувствовалась какая-то особенная напряженность... Чувствовалась она и во взволнованных жестах и взглядах советских ученых. Но вот, после вручения королем почетных грамот и медалей присутствующим лауреатам, на кафедру взошел секретарь Шведской Академии доктор Естерлинг. Чувство острой боли за оклеветанного писателя, чувство глубочайшего возмущения и негодования охватило всех присутствующих в зале и многие миллионы зрителей, следивших за церемонией по телевидению, когда Естерлинг с глубоким сожалением сообщил о том, что ввиду отказа писателя Бориса Пастернака от присужденной ему премии, премия по литературе за 1958 год не может быть вручена. Однако отказ писателя не ведет за собою никакого изменения в решении Шведской Академии — несмотря ни на что, лауреатом Нобелевской премии по литературе 1958 года будет считаться Борис Пастернак. Как пишет лондонская газета «Таймс» — «в опромятом зале воцарилась красноречивая тишина». Трое советских ученых низко опустили головы.

Что же делал в этот момент тот, к кому были обращены сердца всех честных людей во всем мире? Из сообщения газеты «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» от 10 декабря 1958 года мы узнаем, что корреспонденту западно-германского телеграфного агентства ДПА удалось получить интервью у поэта. Корреспондент сообщает, что Пастернак оправился от своей недавней болезни и сел за перевод польской классической драмы в стихах. «Работа всегда помогает, — сказал поэт, — в последние недели я перевел уже более двух тысяч строк». О том, будет ли этот перевод принят издательствами, пока ничего неизвестно, так как все прежние переговоры с издательствами и прежние контракты сейчас заморожены. Поэт сообщил корреспонденту, что в ближайшие два-три года он не в состоянии взяться за писание какой-либо большой вещи — «...после «Живаго» я не могу предлагать посредственного произведения», — сказал он.

Кажется, что после ужасной травли, которой он подвергся, поэт еще сильнее замкнулся в каком-то пока только ему одному доступном мире. Газета «Мюнхнер Меркур» сообщает, что на вопрос одного журналиста, что он думает о споре, возникшем между тремя западными издателями по поводу передачи прав на экранизацию романа «Доктор Живаго» кинокомпаниям, Пастернак устало ответил: — «Вы знаете, это всё так далеко отсюда и от меня и совсем меня не трогает...»

Философские выписки из «Доктора Живаго»

(Без претензии на полноту и стройность)

Мой меч и мой народ «В сопровождении великого князя Николая Николаевича государь обошел выстроившихся пренадер. Каждым слогом своего тихого приветствия он, как расплывавшуюся воду в качающихся ведрах, поднимал взрывы и всплески промоподобно прокатывавшегося ура.

Смущенно улыбавшийся государь производил впечатление более старого и опустившегося, чем на рублях и медалях. У него было вялое, немного отекавшее лицо. Он поминутно виновато косился на Николая Николаевича, не зная, что от него требуется в данных обстоятельствах, и Николай Николаевич, почтительно наклоняясь к его уху, даже не словами, а движением брови или плеча, выводил его из затруднения.

Царя было жалко в это серое и теплое горное утро, и было жутко при мысли, что такая боязливая сдержанность и застенчивость могут быть сущностью притеснителя, что эту слабость казнят и милуют, вяжут и решают.

— Он должен был произнести что-нибудь такое вроде: я, мой меч и мой народ, как Вильгельм, или что-нибудь в этом духе. Но обязательно про народ, это непременно. Но, понимаешь ли ты, он был по-русски естественен и трагически выше этой пошлости. Ведь в России немислима эта театральщина. Потому что ведь это театральщина, не правда ли? Я еще понимаю, что такие были народы при Цезаре, галлы там какие-нибудь или свевы или иллирийцы. Но ведь с тех пор это только выдумка, существующая для того, чтобы о ней произносили речи цари и деятели и короли: народ, мой народ». (стр. 142).

Николай II — единственная историческая личность, появляющаяся в романе Пастернака, да и то не прямо, а в рассказе Юрия Живаго Гордону, еще на фронте, еще до революции. И вместе с тем «Доктор Живаго» — исторический роман: он охватывает самые страшные годы русской истории.

Уточним: Пастернак не занимается в нем хронографией. Исторические даты в романе вообще не указываются, исторические события разворачиваются лишь как фон, география дается в обобщении, а отдельные названия (Мелюзеев, Юрятин) вымышлены, как и имена героев, — я всё же настаиваю, — монументальной исторической эпопеей.

Живаго утверждает, что в наше время история народов стала пошлостью. Ее не должно быть. Ее пора заменить историей человека и человечества. А поставленный во главе именно народа Николай Второй, Император Всероссийский, Царь

Польский, Великий Князь Финляндский и прочая, и прочая, и прочая, был «порусски естественен и трагически выше этой пошлости». В этой полуфразе и отречение, и подвал Ипатьевского дома, судьба человека в истории, в которой пошлость и театральщина, увы, очень даже возможна.

Доктору Живаго предстоит еще изведать ее в собственном наивном восхищении первыми большевистскими декретами, в партизанском отряде, в надломах людей, ломающих ход истории... Но это еще предстоит.

*Человек умирает
не под забором*

«Вернемся к предмету разговора. Я сказал, — надо быть верным Христу. Сейчас я объясню. Вы не понимаете, что можно быть атеистом, можно не знать, есть ли Бог и для чего Он, и в то же время знать, что человек живет не в природе, а в истории, и что в нынешнем понимании она основана Христом, что Евангелие есть ее обоснование. А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющей сердце человека и требующей выхода и расточения, и затем это главные составные части современного человека, без которых он немьслим, а именно, идея свободной личности и идея жизни, как жертвы. Имейте в виду, что это до сих пор чрезвычайно ново. Истории в этом смысле не было у древних. Там было сангвиническое свинство жестоких, оспой изрытых калигул, не подозревавших, как бездарен всякий порабититель. Там была хвастливая мертва вечность бронзовых памятников и мраморных колонн. Века и поколения только после Христа вздохнули свободно. Только после него началась жизнь в потомстве, и человек умирает не на улице под забором, а у себя в истории, в разгаре работ, посвященных преодолению смерти, умирает, сам посвященный этой теме». (стр. 16).

Это не выписка из статьи о философии Николая Федорова. Это говорит Николай Николаевич Веденяпин, дядя Живаго, властитель его юношеских дум; «расстриженный по собственному прошению священник», «прошедший толстовство и революцию и шедший все время дальше».

Но то, что им сказано, не всё. Накануне Октября захмелевший Живаго прощается с собой на вечеринке:

*Циклопическое
событие*

«... На третий год войны в народе сложилось убеждение, что рано или поздно грань между фронтом и тылом сотрется, море крови подступит к каждому и залетят отсиживающихся и окопавшихся. Революция это и есть наводнение.

В течение ее вам будет казаться, как нам на войне, что жизнь прекратилась, все личное кончилось, что ничего на свете больше не происходит, а только убивают и умирают, а если мы доживем до записок и мемуаров об этом времени и прочтем эти воспоминания, мы убедимся, что за эти пять или десять лет пережили больше, чем иные за целое столетие.

Я не знаю, сам ли народ подымется и пойдет стеной, или всё делается его именем. От события такой огромной важности не требуется драматической доказательности. Я без этого ему поверю. Мелко копать в причинах циклопических событий. Они их не имеют. Это у домашних озор есть свой генезис, и после того, как отгаскают друг друга за волосы и перебьют посуду, ума не приложат, кто на-

чал первый. Всё же истинно великое безначально, как вселенная. Оно вдруг оказывается налицо без возникновения, словно бывши всегда или с неба свалившись

Я тоже думаю, что России суждено стать первым за существование мира царством социализма. Когда это случится, оно надолго оглушит нас, и очнувшись, мы уже больше не вернем себе половины утраченной памяти. Мы забудем, что чему предшествовало и не будем искать небывалому объяснения. Наставший порядок обступит нас с привычностью леса на горизонте или облаков над головой. Он окружит нас отовсюду. Не будет ничего другого.

Он еще что-то говорил и тем временем совершенно протрезвился. Но по-прежнему плохо слышал, что говорилося крутом и отвечал невпопад. Он видел проявления общей любви к нему, но не мог отогнать печали, от которой был сам не свой. И вот он сказал:

— Спасибо, спасибо. Я вижу ваши чувства. Я их не заслуживаю. Но не надо любить так запасливо и торопливо, как бы из страха, не пришлось бы потом полюбить еще сильнее». (стр. 211).

Живаго все любят. Пастернак не устает повторять об этом в течение всего романа. Никто не хочет ему зла. Может быть оттого, что он сам незлобив и мягкосердечен и никого сознательно не обижает? Но добрых людей в романе много, а Живаго и не отнесешь к категории «добрых». Обаяние его характера не в доброте. Пастернак неутомимо повторяет, справедливо опасаясь, что иной читатель может и не понять в чем дело: главное в Живаго его талантливость, созидательный склад его характера. В романе есть только один человек творчески ему равноценный. Это его дядя Николай Николаевич, с которым он встречается после многолетней разлуки летом 1917 года:

Люди созидательного склада «Ах, но ведь совсем не то, не то наполнило первые часы их встречи, заставило бросаться друг другу на шею, плакать и, задыхаясь от волнения, прерывать быстроту и горячность первого разговора частыми паузами.

Встретились два творческих характера, связанные семейным родством, и хотя встало и второй жизнью зажило минувшее, нахлынули воспоминания и всплыли на поверхность обстоятельства, происшедшие за время разлуки, но едва лишь речь зашла о главном, о вещах, известных людям созидательного склада, как исчезли все связи, кроме этой единственной, не стало ни дяди, ни племянника, ни разницы в возрасте, а только осталась близость стихии со стихией, энергии с энергией, начала и начала.

За последнее десятилетие Николаю Николаевичу не представлялось случая говорить об обаянии авторства и о сути творческого предназначения в таком соответствии с собственными мыслями и так заслуженно к месту, как сейчас. С другой стороны, и Юрию Андреевичу не приходилось слышать отзывы, которые были бы так пронизательно метки и так окрыляюще увлекательны, как этот разбор.

Оба поминутно вкрикивали и бегали по номеру, хватаясь за голову от ошибочности обоюдных догадок, или отходили к окну и молча барабанили пальцами по стеклу, потрясенные доказательствами взаимного понимания». (стр. 206).

Сладость творческого собеседования, этого совместного, я бы сказал, «купанья в истине» описана Пастернаком с потрясающей точностью. Совпадение мыслей и чувств, «близость стихии со стихией, энергии с энергией, начала и начала» в общем сосуде истины, творческое слияние в «разгаре работ, посвященных преодо-

лению смерти»... Кстати заметим: Живаго талантливый врач и поэт, он «созерцает смерть и творит жизнь из этого созерцания».

Но бывают и другие разговоры.

«Между ними шла беседа, одна из тех летних, ленивых, неторопливых бесед, какие заводятся между школьными товарищами, годам дружбы которых потерян счет. Как они обыкновенно ведутся?

У кого-нибудь есть достаточный запас слов, его удовлетворяющий. Такой человек говорит и думает естественно и связно. В этом положении был только Юрий Андреевич.

Его друзьям не хватало нужных выражений. Они не владели даром речи. В восполнение бедного словаря они, разговаривая, рассказывали по комнате, затягивались папиросою, размахивали руками, по несколько раз повторяли одно и то же. («Это, брат, нечестно; вот именно, нечестно; да, да, нечестно»).

Они не сознавали, что этот излишний драматизм их общения совсем не означает горячности и широты характера, но, наоборот, выражает несовершенство, пробел.

Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей, хороших композиторов, хорошей, всегда, вчера и сегодня хорошей, и только хорошей музыки, и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы.

Гордон и Дудоров не знали, что даже упреки, которыми они осыпали Живаго, внушались им не чувством преданности другу и желанием повлиять на него, а только неумением свободно думать и управлять по своей воле разговором. Разогнавшаяся телега беседы несла их, куда они совсем не желали. Они не могли повернуть ее и в конце концов должны были налететь на что-нибудь и обо что-нибудь удариться. И они со всего разгону расшибались проповедями и наставлениями об Юрия Андреевича.

Ему насквозь были ясны пружины их пафоса, шаткость их участия, механизм их рассуждений. Однако, не мог же он сказать им: «Дорогие друзья, о, как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете, и блеск и искусство ваших любимых имен и авторитетов. Единственно живое и яркое в вас, это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали». Но что было бы, если бы друзьям можно было делать подобные признания! И чтобы не огорчать их, Юрий Андреевич покорно их выслушивал». (стр. 557).

Это — покорность смертельно больного и опустившегося Живаго, Живаго, который «хорошо думал и очень хорошо писал», который еще с юношеских лет «мечтал о прозе, о книге жизнеописаний, куда бы он в виде скрытых взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать». (стр. 79).

Живаго не написал своей книги, но Пастернак написал ее за него и о нем, в виде скрытых взрывчатых гнезд вставив то, что он передумал о человеке и человечестве.

Тема моих размышлений теперь обрисована. Мне хотелось бы вскрыть самое ошеломляющее из того, что я успел рассмотреть во взрывчатых гнездах, вставленных в роман «Доктор Живаго».

Дрожжи
истории

Присуждение Пастернаку Нобелевской премии за «продолжение великих традиций русской прозы» оправдано не только с эстетической точки зрения. «Доктор Живаго» — философский роман; он продолжает путь Гоголя, Достоевского, Толстого. Описание государства, с кото-

рого я начал статью, могло бы принадлежать Толстому. Но это не подражание. Мы уже знаем, что оно имеет совсем не толстовский смысл, что Пастернак просто хорошо чувствует толстовское начало в истории, стихийность исторического действия и жалкую роль наполеонов, театрально восклицающих «народ, мой народ!» и выпячивающих грудь, точно от них что-то зависит.

Впрочем, в «Докторе Живаго» есть на этот счет прямое высказывание:

«Он (Живаго. — Р. Р.) снова думал, что историю, то, что называется ходом истории, он представляет себе совсем не так, как принято, и ему она рисуется наподобие жизни растительного царства. Зимой под снегом ополенные прутья листовенного леса тощи и жалки, как волоски на старческой бородавке. Весной в несколько дней лес преобразается, подымается до облаков, в его покрытых листьями дебрях можно заперяться, спрятаться. Это превращение достигается движением, по стремительности превосходящим движения животных, потому что животное не растет так быстро, как растение, и которого никогда нельзя подсмотреть. Лес не передвигается, мы не можем его накрывать, подстеречь за переменою места. Мы всегда застаем его в неподвижности. И в такой неподвижности застаем мы вечно растущую, вечно меняющуюся неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю.

Толстой не довел своей мысли до конца, когда отрицал роль зачинателей за Наполеоном, правителями, полководцами. Он думал именно то же самое, но не договорил этого со всюю ясностью. Истории никто не делает, ее не видно, как нельзя увидеть, как трава растет. Войны, революции, цари, Робеспьеры это ее органические возбудители, ее бродильные дрожжи. Революции производят люди действенные, односторонние фанатики, гении самоограничения. Они в несколько часов или дней опрокидывают старый порядок. Перевороты длятся недели, много годы, а потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности, приведшей к перевороту, как святыне». (стр. 526).

Мне кажется, что Пастернак идет дальше и этой цитаты. Мало сказать, что «войны, революции, цари, Робеспьеры это ... бродильные дрожжи» истории. Надо показать, как эти дрожжи действуют, надо раскрыть природу войн и революций и значение в них человеческой воли, выявить роль и «односторонних фанатиков, гениев самоограничения» и роль тех, кто «потом десятилетиями, веками поклоняются духу ограниченности ... как святыне».

И Пастернак делает это, но делает не в форме «взрывчатых гнезд», а всем ходом своего повествования о судьбе Живаго, творческого человека в истории, в котором не одна только Тоня, в письмо которой Пастернак вкладывает эту характеристику, любит «всё выгодное и невыгодное, все обыкновенные твои стороны, дорогие в их необыкновенном соединении, облагоустроенное внутренним содержанием лицо, которое без этого, может быть, казалось бы некрасивым, талант и ум, как бы занявшие место начисто отсутствующей воли». Не одной Тоне «всё это дорого» и не одна она не знает «человека лучше тебя». (стр. 483).

Рассматривать Живаго, как еще одного «лишнего человека» в русской литературе, видеть в нем продолжение безвольных героев нашего XIX века, было бы пошло. Социальный признак его принадлежности к интеллигенции не значителен и не характерен. Пастернак написал метафизический, а не социальный роман. Размышление об истории уводит его в заисторическое, как и его искусство, «творящее жизнь из созерцания смерти».

Игра в людей Стихия, ломающая ход истории, — мзониическая стихия. Это псевдо-бытие, укорененное в темном унгрунде мира, который не есть ни жизнь, ни смерть, ни бытие, ни небытие, ни время, ни вечность, о котором никто ничего не может сказать, но из которого на плечах царей и робеспьеров поднимается «театральщина», «царство трескучей фразы», «гении самоограничения» и те, кто «веками поклоняются духу ограниченности, как святыне». Эта стихия вламывается в «неуследимую в своих превращениях жизнь общества, историю», нарушает «разгар работ, посвященных преодолению смерти», подменяет живую жизнь «подражательностью прописных чувств». Летом 1917 года доктор Живаго

«урывками, кроме периодических записей для своих медицинских трудов, писал здесь свою «Игру в людей», мрачный дневник или журнал тех дней, состоявший из прозы, стихов и всякой всячины, внушенной сознанием, что половина людей перестала быть собой и неизвестно что разыгрывает». (стр. 214).

Этой «игрой в людей» полны страницы пастернаковского романа. Вспомните сцену приезда в Мелюзеев, да и всё поведение молодого комиссара Гинца (стр. 158 и след.). Вспомните глухонемого Клинцова-Погоревших (стр. 183 и след.). Вспомните партизанское собрание в сарае в тылу у белых и в пандан ему мобилизацию рекрутов в колчаковскую армию (стр. 370 и след., и 376 и след.). Вспомните образ партизанского командира Ливерия и страшную судьбу Антипова-Стрельникова.

И обратите внимание на противопоставление этому помешательству непрекращающейся жизни природы. Помните, как в мелюзеевский эпизод с митингами и комиссаром Гинцем вставлена тоска приведенной на новое место коровы? Или, еще ярче, непосредственно перед сценой дикого расстрела партизанских заговорщиков, когда конвой, «взяв винтовки на руку, быстрым теснящим шагом затолкал, загнал их в скалистый угол площадки, откуда им не было выхода, кроме прыжков в пропасть», — описание таежной рябины.

«У выхода из лагеря и из леса, который был теперь по-осеннему гол и весь виден насквозь, точно в его пустоту растворены ворота, росла одинокая, красивая, единственная из всех деревьев сохранившая неопавшую листву ржавая рыжелистая рябина. Она росла на горке над низким топким кочкарником и протягивала ввысь, к самому небу, в темный свинец предзимнего ненастья плоско расширяющиеся щитки своих твердых разордевшихся ягод. Зимние пичужки с ярким, как морозные зори, оперением, снегири и синицы, садились на рябину, медленно, с выбором клевали крупные ягоды и, закинув кверху головки и вытянув шейки, с трудом их проглатывали.

Какая-то живая близость заводилась между птицами и деревом. Точно рябина всё это видела, долго упрямылась, а потом сдавалась и, сжалившись над птичками, уступала, расстегивалась и давала им прудь, как мамка младенцу. «Что, мол, с вами поделаешь. Ну, ешьте, ешьте меня. Кормитесь». И усмехалась». (стр. 412).

Нас учили целоваться на небе «Война и мир» на фоне грандиозных исторических кулис с полководцами, деятелями и императорами рассказывает в сущности об очень простых людях, занятых очень простыми делами. Ее непреходящее значение именно в том, что это не столько эпопея наполеоновских войн, сколько эпопея дома Ростовых, достойных имени «Живаго» ничуть не меньше, чем пастернаковский доктор. Наташа Ростова — это сама жизнь живет. Ее обаяние господствует над «Войной и миром», как жизнь

господствует над историей. Я не могу представить себе читателя, не влюбившегося в Наташу.

Обаяние Ларисы и Юрия Живаго гораздо более сложно, хотя в авторском замысле оно того же корня. «Доктор Живаго» — книга о силах миротворения, с которых сдернут покров истории. Лара — это тоже живая жизнь, но уродуемая мертвящим возжеланием Комаровского, терзаемая пропиею добродетелью Антипова и предаваемая творческим безволием Юрия Андреевича. Во всей истории доктора Живаго меня больше всего потрясло последнее пребывание и отъезд Лары из Варькина, описание предсмертного общения любящих смертных, общения, которое бессмертно, ибо оно есть творческий акт труднейший и высочайший. Лара говорит Юрию:

«Мне ли, слабой женщине, объяснить тебе, такому умному, что делается сейчас с жизнью вообще, с человеческой жизнью в России, и почему рушатся семьи, в том числе твоя и моя? Ах, как будто дело в людях, в сходстве и несходстве характеров, в любви и не любви. Всё производное, налаженное, всё относящееся к обиходу, человеческому гнезду и порядку, всё это пошло прахом вместе с переворотом всего общества и его переустройством. Всё бытовое опрокинуто и разрушено. Осталась одна небытовая, неприложенная сила голой, до нитки обобранной душевности, для которой ничего не изменилось, потому что она во все времена зябла, дрожала и тянулась к ближайшей рядом, такой же обнаженной и одинокой. Мы с тобой как два первых человека Адам и Ева, которым нечем было прикрыться в начале мира, и мы теперь так же раздеты и бездомны в конце его. И мы с тобой последнее воспоминание обо всем том неисчислимо великом, что создано на свете за многие тысячи лет между ними и нами, и в память этих исчезнувших чудес мы дышим и любим, и плачем, и держимся друг за друга и друг к другу льнем». (стр. 467).

Пастернак раскрывает любовь на фоне провала в заисторический унgrund, и это гениально. Это именно унgrund звучит в Варькинском пребывании, как оркестровый аккомпанимент извечному требованию жизни, вложенному в уста женщины. Доктор Живаго, творец и любовник, спрашивает:

«— Но что ты в таком случае хочешь? Что прикажешь мне делать?», и Лара, женщина-жизнь, готовая раскрыть перед ним все свои тайны, отвечает:

«— Я и сама не знаю, как тебе ответить. Держи меня всё время в подчинении. Беспрестанно напоминай мне, что я твоя, слепо тебя любящая, не рассуждающая раба. О, я скажу тебе. Наши близкие, твои и мои, в тысячу раз лучше нас. Но разве в этом дело? Дар любви, как всякий другой дар. Он может быть и велик, но без благословения он не проявится. А нас точно научили целоваться на небе и потом детьми послали жить в одно время, чтобы друг на друге проверить эту способность». (стр. 504).

«Мы в книге рока на одной строке», — говорит ей Юрий Андреевич, цитируя Шекспира. И он имеет на это право: в прорыве заисторического унgrundа их любовь с Ларой обнажена до ее роковой основы, до стихийной элементарности, недостижимой в разгаре работ, среди которых протекает война и мир толстовских героев.

Кто-то давно заметил, что умные герои Толстого размышляют как шестнадцатилетние юноши, тогда как у Достоевского даже глупые персонажи одарены изумительной проницательностью. Тема Толстого — жизнь. Тема Достоевского — дух. Тема «Доктора Живаго» — гибель одухотворенного человека в провале исторического катаклизма. У Толстого история — панорама быта. У Достоевского быт — игрище духа. Петербургские

трущобы, немецкие курорты, русский провинциальный сад с гнилым забором обнаруживают перед ошеломленным человеком надисторическое и надбытовое «насекомым сладострастьем, ангел Богу предстоит», тогда как трясущаяся лямка Наполеона у Толстого ничего не обнаруживает, кроме разве наивной приверженности императора к «хвастливой вечности бронзовых памятников и мраморных колонн».

У Пастернака любовная трагедия Лары и Юрия — трагедия самой жизни, проваливающейся в пучину долговременного хаоса, взрывающегося театральщиной «шалых выкриков и требований, чем дальше, тем более нежизненных, неудобопонятных и неисполнимых».

Что Живаго представитель обреченного класса и что он сам «считал себя и свою орду обреченными» — совершенно второстепенно. «Это домашние ссоры имеют овой генезис». Социально-исторические условия и причины революции не интересуют ни Живаго, ни Пастернака. «Мелко копаться в причинах циклопических событий». Революция разворачивается как циклопическая стихия, как явление духа. Человек не властен над нею. О ее большевистских вождах в книге не упоминается совершенно так же, как о Милюкове и Керенском. Марксизм в ней совершенно не при чем.

«— Марксизм и наука? Спорить об этом с человеком мало знакомым по меньшей мере неосмотрительно. Но куда ни шло. Марксизм слишком плохо владеет собой, чтоб быть наукой. Науки бывают уравновешеннее. Марксизм и объективность? Я не знаю течения, более обособившегося в себе и далекого от фактов, чем марксизм. Каждый озабочен проверкою себя на опыте, а люди власти ради басни о собственной непогрешимости всеми силами отворачиваются от правды». (стр. 304).

Социально-историческое в русской революции — это поверхность, под которой Пастернак угадывает мзониическую природу властвующих в ней сил:

«Эти картины и зрелища производили впечатление чего-то нездешнего, трансцендентного. Они представлялись частями каких-то неведомых, инопланетных существований, по ошибке занесенных на землю. И только природа оставалась верна истории и рисовалась взору такую, какой изображали ее художники новейшего времени». (стр. 440).

В первых же шатах революции, нет, уже раньше, с началом мировой войны начинается «игра в людей», «инфантильная арлекинада незрелых фантазий».

«Помнишь ночь, когда ты принес листок с первыми декретами, зимой, в метель. Помнишь, как это было неслышанно безоговорочно. Эта прямолинейность покоряла. Но такие вещи живут в первоначальной чистоте только в головах создателей и то только в первый день провозглашения. Иезуитство политики на другой же день выворачивает их наизнанку». (стр. 281).

Революцию делают люди, разлюбившие живое в жизни, взбунтовавшиеся против исторических работ. Революция — их судьба, сама ошибаются имеющая судьбу. Эта судьба обрисована очень ярко.

Она начинается с 1905 года, когда

«Мальчишки стреляют», — думала Лара. Она думала так не о Нике и Патуле, но обо всем стрелявшем городе. «Хорошие, честные мальчишки» — думала она. — «Хорошие, оттого и стреляют». А «мальчишки играли в самую страшную и взрослую из игр, в войну, притом в такую, за участие в которой вешали и ссылали»... «Налет невинности лежал на их опасных забавах». (стр. 62).

В 1905 году стреляли хорошие глупые мальчишки. Разве могли они управлять революцией? Это она управляла ими, делала их своим орудием. Живаго называет

революцию «циклопическим событием». Революция представляется Пастернаку безличной и беспричинной. «Протест против несправедливости старого мира» — трескучая фраза, она не в счет, как и все остальные. Ее вожди остаются неразгаданными. Те же, кого мы видим действующими в революции, как у Толстого, только воображают, что что-то от них зависит.

«Тиверзин (впоследствии расстреливающий контрреволюционеров. — Р. Р.) много лет думал, что это он один остановил в ту ночь работы и движение на дороге. Только позднейшие процессы, на которых его судили по совокупности и не вставляли подстрекательства к забастовке в пункты обвинения, вывели его из этого заблуждения». (стр. 41).

Живаго, именно в силу своего творческого характера, в силу того, что «он был беспримерно впечатлителен, новизна его восприятий не поддавалась описанию», отнюдь не защитник старого мира. Вначале он всей душой со стреляющими хорошими мальчиками. Юность не знает пошлости, и первый порыв молодости и свежести это поверить тому, что потом оказывается «театральщиной» и «трескучей фразой». В Мелюзеев он говорит Ларисе:

«Вы подумайте, какое сейчас время! И мы с вами живем в эти дни! Ведь только раз в вечность случается такая небывальщина. Подумайте: со всей России сорвало крышу, и мы со всем народом очутились под открытым небом. И некому за нами подглядывать. Свобода! Настоящая, не на словах и в требованиях, а с неба свалившаяся, сверх ожидания. Свобода по нечаянности, по недоразумению.

И как все растерянно-отромны! Вы заметили? Как будто каждый подавлен самим собою, своим открывшимся богатством.

Да вы гадьте, говорю я. Молчите. Вам не скучно? Я вам утию смену.

Вчера я ночной митинг наблюдал. Поразительное зрелище. Сдвинулась Русь матушка, не стоит ей на месте, ходит, не находится, говорит, не наговорится. И не то, чтоб говорили одни только люди. Сошлись и беседуют звезды и деревья, философствуют ночные цветы и митингуют каменные здания. Что-то евангельское, не правда ли? Как во времена апостолов. Помните, у Павла? «Говорите языками и пророчествуйте. Молитесь о даре истолкования». (стр. 169).

Первые декреты большевиков для Живаго — «великолепная хирургия».

«— Главное, что гениально? Если бы кому-нибудь задали задачу создать новый мир, начать новое летоисчисление, он бы обязательно нуждался в том, чтобы ему сперва очистили соответствующее место. Он бы ждал, чтобы сначала кончились старые века, прежде чем он приступит к постройке новых, ему нужно было бы круглое число, красная строка, неисписанная страница.

А тут, нате пожалуйста. Это небывалое, это чудо истории, это откровение ахнуто в самую гущу продолжающейся обыденщины, без внимания к ее ходу. Оно начато не с начала, а с середины, без наперед подобранных сроков, в первые подернувшиеся будни, в самый разгар курсирующих по городу трамваев. Это всего гениальнее. Так неуместно и несвоевременно только самое великое». (стр. 226).

Великие циклопические события, но совсем в другом смысле, в смысле, который откроется Живаго только позже, действительно совершаются. Вместе с разгаром курсирующих трамваев нарушен разгар работ, посвященных преодолению смерти, отброшена «неотразимость безоружной истины, притягательность ее примера», «общение между смертными перестает быть бессмертным», и жизнь, переставая быть символичной, теряет свою значительность.

Революция не оказывается ни «временем апостолов», ни «чудом истории». Революция оборачивается «театральщиной» и «царством трескучей фразы». Только в момент рождения она может казаться преображением мира. В самом деле

она оказывается лишь лицедейством, когда «люди власти ради басни о собственной непогрешимости всеми силами отворачиваются от правды», а «честные хорошие мальчики» оказываются на стороне белых.

«Потом наступает второй период. Получают перевес темные силы примазавшихся, притворно сочувствующих. Растут подозрительность, доносы, интриги, ненавистничество. И ты прав, мы находимся в начале второй фазы» — говорит Лариса доктору Живаго в Юрятине (стр. 473).

Потом, в следующей фазе, неправда уходит вглубь и, питаясь несамостоятельностью и бездарностью мысли, отстраивает искусственный мир воинствующей несвободы.

Уже в годы зпга Дудоров (тот самый друг детства Живаго, *Подражательность* который, не имея собственных мыслей, не умеет думать ес- *прописных чувств* тественно и связно) «недавно отбыл срок первой своей ссылки и из нее вернулся. Его восстановили в правах, в которых он временно был поражен. Он получил разрешение возобновить свои чтения и занятия в университете.

Теперь он посвящал друзей в свои ощущения и состояния души в ссылке. Он говорил с ними искренне и неліцемерно. Замечания его не были вызваны трусостью или посторонними соображениями.

Он говорил, что доводы обвинения, обращение с ним в тюрьме и по выходе из нее, и в особенности собеседования с глазу на глаз со следователем проветрили ему мозги и политически его перевоспитали, что у него открылись на многое глаза, что как человек он вырос.

Рассуждения Дудорова были близки душе Гордона именно своей избитостью. Он сочувственно кивал головой Иннокентию и с ним соглашался. Как раз стереотипность того, что говорил и чувствовал Дудоров, особенно трогала Гордона. Подражательность прописных чувств он принимал за их общечеловечность.

Добродетельные речи Иннокентия были в духе времени. Но именно закономерность, прозрачность их ханжества взрывала Юрия Андреевича. Несвободный человек всегда идеализирует свою неволю». (стр. 558).

Замысел преображения мира, внезапного окончания евангельских работ, брошенный «прямо в разгар курсирующих трамваев» оказывается «инфантильной арлекинадой незрелых фантазий», выражающихся в «трескучих фразах» и «подражательности прописных чувств». Но почему? Какая «более глубокая нескладница» лежит в основе этого?

Сказать, что в революцию пошли неудачники и бездарности, было бы *Вопрос* пошло. Пастернак нигде не опускается до общих мест. За революцией *без ответа* готовы были идти и Николай Николаевич и сам Живаго, люди таланта, люди созидательной складки. Белые были не лучше красных, а красные не лучше белых. Среди тех и других были и мерзавцы и прекрасные люди. И те и другие молились той же молитвой. Вспомните девяностый псалом в ладонках на груди партизана и белого добровольца. Так откуда же взялось отворачивание от правды, ханжество, несвобода?

«Мелко копаться в причинах циклопических событий». На это «откуда?» у Пастернака нет ответа. Он знает, что большевистская революция имеет мзониическую природу. Вопрос о добре и зле в революции — это вопрос теодицеи, вопрос, на который человечество способно давать только ложные ответы. Метафизического ответа, соответствующего природе вопроса, у Пастернака нет. Но есть психологическая иллюстрация, повторяющая вопрос. Эта иллюстрация — Паша Ан-

типов, муж Лары, стрелявший в 1905 году вместе с Никой Дудоровым, хороший Патуля. Лара рассказывает о нем своему Юрочке.

«Говори, моя умница.

— Мы женились перед самой войной, за два года до ее начала. И только мы зажили своим умом, устроили дом, объявили войну. Я теперь уверена, что она была виною всего, всех последовавших, доньше постигающих наше поколение несчастий. Я хорошо помню детство. Я еще застала время, когда были в силе понятия мирного предшествующего века. Принято было доверяться голосу разума. То, что подсказывала совесть, считали естественным и нужным. Смерть человека от руки другого была редкостью, чрезвычайным, из ряда вон выходящим явлением. Убийства, как полагали, встречались только в трагедиях, романах из мира сыщиков и в газетных дневниках происшествий, но не в обыкновенной жизни.

И вдруг этот скачок из безмятежной, невинной размеренности в кровь и вопли, повальное безумие и одичание каждодневного и ежедневного, узаконенного и восхваляемого смертоубийства.

Наверное, никогда это не проходит даром. Ты лучше меня, наверное, помнишь, как сразу все стало приходить в разрушение. Движение поездов, снабжение городов продовольствием, основы домашнего уклада, нравственные устои сознания.

— Продолжай. Я знаю, что ты скажешь дальше. Как ты во всем разбираешься! Какая радость тебя слушать!

— Тогда пришла неправда на русскую землю. Главной бедой, корнем будущего зла была утрата веры в цену собственного мнения. Вообразили, что время, когда следовали внушениям нравственного чутья, миновало, что теперь надо петь с общего голоса и жить чужими, всем навязанными представлениями. Стало расти владычество фразы, сначала монархической, потом — революционной.

Это общественное заблуждение было всеохватывающим, прилипчивым. Всё подпадало под его влияние. Не устоял против пагубы и наш дом. Что-то пошатнулось в нем. Вместо безотчетной живости, всегда у нас царившей, доля дурацкой декламации проникла и в наши разговоры, какое-то показное, обязательное умничанье на обязательные мировые темы. Мог ли такой тонкий и требовательный к себе человек, как Паша, так безошибочно оплывавший суть от видимости, пройти мимо этой закравшейся фальши и ее не заметить?

И тут он совершил роковую, все наперед предрешившую, ошибку. Знамение времени, общественное зло он принял за явление домашнее. Неестественность тона, казенную натянутость наших рассуждений отнес к себе, приписал тому, что он — сухарь, посредственность, человек в футляре. Тебе, наверное, кажется невероятным, чтобы такие пустяки могли что-то значить в совместной жизни. Ты не можешь себе представить, как это было важно, сколько глупостей натворил Паша из-за этого ребячества.

Он пошел на войну, чего никто от него не требовал. Он это сделал, чтобы освободить нас от себя, от своего воображаемого гнета. С этого начались его безумства. С каким-то юношеским, ложно направленным самолюбием он разобиделся на что-то такое в жизни, на что не обижаются. Он стал дуться на ход событий, на историю. Пошли его размолвки с ней. Он ведь и по сей день сводит с ней счеты. Отсюда его вызывающие сумасбродства. Он идет к верной гибели из-за этой глупой амбиции. О если бы я могла спасти его!». (стр. 469).

Павел Антипов, превратившийся в комиссара-карателя Стрельникова, приговорен к расстрелу и кончает самоубийством. Это — волевой и самостоятельный характер, неспособный превратиться ни в Тиверзияна, ни в Дудорова и Гордона. Когда Лара видела его издали в Юрятине, она нашла

«что он почти не изменился. То же красивое, честное, решительное лицо, самое честное из всех лиц, виденных мною на свете. Ни тени рисовки, мужественный характер, полное отсутствие позы. Так всегда было и так осталось. И все же одну перемену я отметила, и она встревожила меня.

Точно что-то отвлеченное вошло в этот облик и обесцветило его. Живое человеческое лицо стало олицетворением, принципом, изображением идеи. У меня сердце сжалось при этом наблюдении. Я поняла, что это следствие тех сил, в руки которых он себя отдал, сил возвышенных, но мертвящих и безжалостных, которые и его когда-нибудь не пощадят. Мне показалось, что он отмеченный, и что это перст обречения». (стр. 466).

Судьбы Живаго и Стрельникова скрещиваются у Лары. Она любит обоих, правда, разной любовью. С Юрием они любят друг друга, потому что «их научили целоваться на небе», «потому что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья»; не люди, а земля и небо, облака и деревья. Паша был ее жизнеустроитель, муж, отец ее Катеньки, ее семья, обманувшая, разваливавшаяся.

«Я скажу тебе. Если бы Стрельников стал снова Пашенькой Антиповым. Если бы он перестал безумствовать и бунтовать. Если бы время повернуло вспять. Если бы где-то вдали, на краю света, чудом затеплилось окно нашего дома с лампою и книгами на Пашином письменном столе, я бы, кажется, на коленях ползком приползла туда. Всё бы вострепнулось во мне. Я бы не устояла против зова прошлого, зова верности. Я пожертвовала бы всем. Даже самым дорогим. Тобой. И моей близостью с тобой, такой легкой, невынужденной, саморазумеющей. О прости. Я не то говорю. Это неправда». (стр. 468).

О, Лара, твой образ будет потрудней анализировать, чем Наташу Ростову или пушкинскую Татьяну. Ну, как объяснишь будущей школьнице эту двойную любовь, это «если бы он перестал безумствовать», как объяснишь, что отсутствие внешней позы только подчеркивает позу внутреннюю. Увы, безумство комиссара Стрельникова доходит до того, что, находясь в Юрятине, зная, как ждет его Лара с дочерью, и всей душой стремясь к ним, он продолжает жить в своем поезде, как обиженный мальчишка, мечтая вернуться к ним лишь тогда, когда доведет до конца воображаемое дело своей жизни, когда будут уничтожены «Тверские-Ямские и мчащиеся с девочками на лихачах франты в заломленных фуражках и брюках со штрипками», точно уничтожение это может ответить на какие-нибудь вопросы.

Трагедия Живаго в том, что он спрашивает Лару «что прикажешь мне делать?» и отдает ее Комаровскому.

Трагедия Антипова в том, что он превращается в Стрельникова и разрушает собственный дом во имя устройства чужих.

Трагедия коммунистической идеи в измене подлинным требованиям жизни, в возвращении к бичу и к «толкучке заимствованных богов», в отказе от начатых Христом «вековых работ по последовательной разгадке смерти и будущему ее преодолению», в отречении от «чуда исчезновения богов и народов» (а, следовательно, и классов), когда в хищный дохристианский мир

«в завал этой мраморной и золотой безвкусицы пришел этот легкий и одетый в сияние, подчеркнуто человеческий, намеренно провинциальный, галилейский, и с этой минуты народы и боли прекратились и начался человек, человек-плотник, человек-пахарь, человек-пастух в стаде овец на заходе солнца, человек, ни

капельки не звучащий гордо, человек, благодарно разнесенный по всем колыбельным песням матерей и по всем картинным галереям мира». (стр. 54).

Обаяние простоты и творческой естественности властвует над Пастернаком. «Доктор Живаго» — отнюдь не простая книга, и Пастернак — отнюдь не простой писатель. Аристотель учил, что разобраться в сложности легче, нежели понять простоту. Спрямление овладеть простотой проходит красной нитью через всё творчество Пастернака, и в сложности «Доктора Живаго», в его художественной и философской многозначности он подходит к ее порогу. Толстой прост по природе. Достоевский сложен по замыслу. Юрий Живаго спрашивает:

«Что же мешает мне служить, лечить и писать? Я думаю, не лишения и скитания, не неустойчивость и частые перемены, а господствующий в наши дни дух трескучей фразы, получивший такое распространение, — вот это самое: заря грядущего, построение нового мира, светочи человечества. Послушать это, и по началу кажется, — какая широта фантазии, какое богатство! А на деле оно именно и высокопарно по недостатку дарования.

Сказочно только рядовое, когда его коснется рука гения. Лучший урок в этом отношении Пушкин. Какое славословие честному труду, долгу, обычаям повседневности! Теперь у нас стало звучать укорительно мещанин, обыватель. Этот упрек предупрежден строками из «Родословной»:

«Я мещанин, я мещанин».

И из «Путешествия» Онегина:

«Мой идеал теперь — хозяйка,
Мои желания — покой,
Да щей горшок, да сам большой».

Изо всего русского я теперь больше всего люблю русскую детскость Пушкина и Чехова, их застенчивую незабоченность насчет таких промких вещей как конечные цели человечества и их собственное спасение. Во всем этом хорошо разбирались и они, но куда им было до таких нескромностей, — не до того и не по чину! Гоголь, Толстой, Достоевский готовились к смерти, беспокоились, искали смысла, подводили итоги, а эти до конца были отвлечены текущими частностями артистического призвания, а за их чередованием незаметно прожили жизнь, как такую же личную, никого не касающуюся частность, и теперь эта частность оказывается общим делом и подобно снятым с дерева созревающим яблокам сама доходит в преемственности, наливаясь всё больше сладостью и смыслом». (стр. 334).

Юрию Андреевичу Живаго была предназначена именно такая жизнь. Он не только человек таланта, он человек труда. Он из тех русских, кто строил нашу страну и нашу культуру спокойно и неприметно, и кто так мало отмечен в нашей литературе. Живаго любит и умеет топить печи и устроиваться на житье.

«Как ни велика была его тяга к искусству и истории, Юра не затруднялся выбором поприща. Он считал, что искусство не годится в призвание в том же самом смысле, как не может быть профессией приращенная веселость или склонность к меланхолии. Он интересовался физикой, естествознанием и находил, что в практической жизни надо заниматься чем-нибудь общепольным. Вот он и пошел по медицине». (стр. 78). «Всю жизнь он что-нибудь да делал, вечно бывал занят, работал по дому, лечил, мыслил, изучал, производил». (стр. 459).

В эпоху трескучей фразы он не находит себе места. Комаровский говорит ему совершенно точно:

«Есть некоторый коммунистический стиль. Мало кто подходит под эту мерку.

Но никто так явно не нарушает этой манеры жить и думать, как вы, Юрий Андреевич. Не понимаю, зачем гусей дразнить. Вы — насмешка над этим миром, его оскорбление. Добро бы это было вашей тайной. Но тут есть влиятельные люди из Москвы. Нутро ваше им известно, досконально». (стр. 488).

Было бы ошибкой думать, что Живаго отвергает революцию. Совсем напротив, революцию, ломающую далеко несовершенный и вовсе не милый Юрию Андреевичу социальный строй старой России, он готов был принять и поддерживать. Собственно, не Живаго отвергает революцию, а революция, ломающая жизнь и подменяющая творчество стереотипной подражательностью прописных чувств, отвергает Живаго. Отвергает в конечном счете потому, что искусственность, театральщина, царство трескучей фразы есть пустая поверхность, где «под мыслями разумеется одна их видимость, словесный гарнир к возвеличению революции и властей предрежущих». За этой видимостью — пустота, небытие. Человеку-творцу нечего делать в небытии. Оно не может его принять, оно как бы выталкивает его из себя. Живаго и Лара «страшно не по вкусу здешним жрецам Фемиды». Жизнь и творчество укоренены в вечном бытии. Чтобы понять это, послушаем, что говорит Живаго смертельно больной Анне Ивановне Громеко, в семье которой он вырос.

«...смерть, сознание, вера в воскресение... Вы хотите знать мое мнение естествознателя? Может быть, как-нибудь в другой раз? Нет? Не медленно? Ну, как знаете. Только это ведь трудно так, сразу. — И он прочел ей экспромтом целую лекцию, сам удивляясь, как это у него вышло.

— Воскресение. В той грубейшей форме, как это утверждается для утешения слабейших, это мне чуждо. И слова Христа о живых и мертвых я понимал всегда по-другому. Где вы разместите эти полчища, набранные по всем тысячелетиям? Для них не хватит вселенной, и Богу, добру и смыслу придется убраться из мира. Их задавят в этой жадной животной толчее.

Но всё время одна и та же необъятно тождественная жизнь наполняет вселенную и ежечасно обновляется в неисчислимых сочетаниях и превращениях. Вот вы опасаетесь, воскреснете ли вы, а вы уже воскресли, когда родились, и этого не заметили.

Будет ли вам больно, ощущает ли ткань свой распад? То есть, другими словами, что будет с вашим сознанием? Но что такое сознание? Рассмотрим. Сознательно желать уснуть — верная бессонница, сознательная попытка вчувствоваться в работу собственного пищеварения — верное расстройство его иннервации. Сознание яд, средство самоотравления для субъекта, применяющего его на самом себе. Сознание — свет, бьющий наружу, сознание освещает перед нами дорогу, чтоб не споткнуться. Сознание это зажженные фары впереди идущего паровоза. Обратите их светом внутрь, и случится катастрофа.

— Итак, что будет с вашим сознанием? Вашим. Вашим. А что вы такое? В этом вся загвоздка. Разберемся. Чем вы себя помните, какую часть сознавали из своего состава? Свои почки, печень, сосуды? Нет, околько ни припомните, вы всегда заставляли себя в наружном, деятельном проявлении, в делах ваших рук, в семье, в других. А теперь повнимательнее. Человек в других людях и есть душа человека. Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание. Вашей душой, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же? В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью. Это будете вы, вошедшая в состав будущего.

Наконец, последнее. Не о чем беспокоиться. Смерти нет. Смерть не по нашей части. А вот вы сказали талант, это другое дело, это наше, это открыто нами. А талант — в высшем широчайшем понятии есть дар жизни.

Смерти не будет, поворот Иоанн Богослов, и вы послушайте простоту его аргументации. Смерти не будет потому, что прежнее прошло. Это почти как: смерти не будет, потому что это уже видали, это старо и надоело, а теперь требуется новое, а новое есть жизнь вечная». (стр. 81).

Думаю, что здесь мы подошли к центру жизнепонимания Пастернака: «человек в других людях и есть душа человека». Человек в других людях — вот смысл вековых работ, посвященных преодолению смерти! «Талант, это наше, это открыто нами. А талант — в высшем широчайшем понятии есть дар жизни». Талант выводит человека из самого себя, вселяет его душу в ближнего. Талант есть дар жизни, потому что подлинно живое это вечное. Вечность не «там», а «здесь»; она охватывает нас со всех сторон, как память охватывает вышедшее из времени былое. Вечность — душа жизни. Мы уже живем в ней. Подлинное общение есть творчество; творчество есть выход души в вечное. В творческом акте душа как бы плавает в вечно пребывающем царстве духа.

«Первенство получает не человек и состояние его души, которому он Дорога в ищет выражения, а язык, которым он хочет его выразить. Язык, родивечность на и вместил лице красоты и смысла, сам начинает думать и говорить за человека и весь становится музыкой, не в отношении внешне слухового звучания, но в отношении стремительности и могущества своего внутреннего течения. Тогда подобно катящейся промаде речного потока, самим движением своим обтачивающей камни дна и ворочающей колеса мельниц, льющаяся речь сама, силой своих законов создает по пути, мимоходом, размер и рифму, и тысячи других форм и образований еще более важных, но до сих пор неузнанных, неуученных, неназванных.

В такие минуты Юрий Андреевич чувствовал, что главную работу совершает не он сам, но то, что выше его, что находится над ним и управляет им, а именно: состояние мировой мысли и поэзии, и то, что ей предназначено в будущем, следующий по порядку шаг, который предстоит ей сделать в ее историческом развитии. И он чувствовал себя только поводом и опорной точкой, чтобы она пришла в это движение.

Он избавлялся от упреков самому себе, недовольство собою, чувство собственного ничтожества на время оставляло его». (стр. 507).

Описание вдохновения у Пастернака совпадает с многочисленными его описаниями в мировой литературе. Стихосложение Живаго всего лишь классический пример. Вдохновение знает всякий, кто хоть раз в жизни молился, кто хоть раз был поражен внезапно явившейся мыслью.

Замечательно не это классическое описание. Гениально у Пастернака описание вдохновенного общения. Влюбленные доктор и Лара выют гнездо на краю пропасти в Варькине.

«Снова в разгаре какой-нибудь работы их руки сближались и оставались одна в другой, поднятую для переноски тяжесть опускали на пол, не донеся до цели, и приступ туманящей нежности обезоруживал их. Снова всё валилось у них из рук и вылетало из головы. Опять шли минуты и слагались в часы и становилось поздно, и оба с ужасом опохватывались, вспомнив об оставленной без внимания Катеньке, или о некормленной и непоенной лошади, и сломя голову броса-

лись наворачивать и исправлять упущенное и мучились угрызениями совести». (стр. 510).

В сладкой отдаче себя вдохновению раскрывается, почему у Живаго «талант и ум как бы занимают место начисто отсутствующей воли». Вдохновение обезволивает, вдохновение передает творца из времени в вечность на волю обитающего в ней духа. В порыве вдохновения человек ничего не решает. Он только «повод и опорная точка». Он не властен ни над собой, ни над другими.

Пастернак много раз подчеркивает трудолюбие своего героя. Воля к труду у него есть. Начисто отсутствует воля к самоутверждению, воля к борьбе и решениям, воля к власти. Эта воля несовместима с Живаго, ибо она источник насильственной ломки, трескучей фразы, шальных окриков и подражательности прошлых чувств.

И Живаго и Лара любят и умеют работать. В последнюю встречу в Варыкине они, вырываясь у любовного вдохновения, спешат устроиться на житье, прибирают жилище своей любви. Хотя бы на несколько дней, хотя бы на краю гибели. Труд и ум необходимы творцу: они как бы прибирают дом души, готовят пищу для вдохновения.

Так раскрывается действие «работ, посвященных преодолению смерти». Эти работы направлены на расширение вечного в человеке, на культивирование таланта как дара жизни, того таланта, которым в Божьем замысле обладает каждый человек. Напомню уже цитированное:

«...человек живет не в природе, а в истории»... «А что такое история? Это установление вековых работ по последовательной разгадке смерти и ее будущему преодолению. Для этого открывают математическую бесконечность и электромагнитные волны, для этого пишут симфонии. Двигаться вперед в этом направлении нельзя без некоторого подъема. Для этих открытий требуется духовное оборудование. Данные для него содержатся в Евангелии. Вот они. Это, во-первых, любовь к ближнему, этот высший вид живой энергии, переполняющий сердце человека и требующий выхода и расточения, и затем это составные части современного человека, без которых он немислим, а именно идея свободной личности и идея жизни, как жертвы». (стр. 17).

Пастернак говорит очень ясно: история это путь человека в вечность; он лежит через труд и творчество, через строительство культуры, через расточительство переполняющего сердце человека высшего вида живой энергии, через жертвенную любовь, через отстройку изначальной связи с вечностью, в которой люди и их история лежат, как в сосуде.

В самом начале книги, в описании поезда, в который врывается самоубийство отца Живаго, есть место, как бы видение:

«Все движения на свете в отдельности были рассчитанно-трезвы, а в общей сложности безотчетно пьяны общим потоком жизни, который объединял их. Люди трудились и хлопотали, приводимые в движение механизмом собственных забот. Но механизмы не действовали бы, если бы главным их регулятором не было чувство высшей и краеугольной беззаботности. Эту беззаботность придавало ощущение связности человеческих существований, уверенность в их переходе одного в другое, чувство счастья по поводу того, что всё происходящее совершается не только на земле, в которую закапывают мертвых, а еще в чем-то другом, в том, что одни называют царством Божиим, а другие историей, а третьи еще как-нибудь». (стр. 20).

А в самом конце книги Лара думает над гробом Юрия.

Прощание как итог «Как жаль всё-таки, что его не отпевают по-церковному! Потребальный обряд так величав и торжественен! Большинство покойников недостойны его. А Юрочка такой благодарный повод! Он так всего этого стоит, так бы это «надпробное рыдание творяще песнь аллилуйя» оправдал и окупил!»

И она ощутила волну гордости и облегчения, как всегда с ней бывало при мысли о Юрии и в недолгие промежутки жизни вблизи его. Веяние свободы и беззаботности, всегда исходившее от него, и сейчас охватило ее». (стр. 578).

Веяние свободы и беззаботности... талант как дар жизни... ощущение связности человеческих существований... вдохновение, для которого сознание творца только повод и опорная точка... застенчивая неозабоченность насчет всяких промких вещей, которая впрочем, и есть плод отличного их понимания... Это наше, это открыто нами. В этом смысл вековых работ, преодолевающих смерть. Это, именно это, в последний прощальный раз переживает Лара над телом мертвого Живаго.

«Она ничего не говорила, не думала. Ряды мыслей, общности, знания, достоверности привольно неслись, гнали через нее, как облака по небу и как во время их прежних ночных разговоров. Вот это-то, бывало, и приносило счастье и освобождение. Неголовное, горячее, друг другу внушаемое знание. Инстинктивное, непосредственное.

Таким знанием была полна она и сейчас, темным, неотчетливым знанием о смерти, подготовленностью к ней, отсутствием растерянности перед ней. Точно она уже двадцать раз жила на свете, без счета теряла Юрия Живаго и накопила целый опыт сердца на этот счет, так что всё, что она чувствовала и делала у этого гроба, было впаад и кстати.

О какая это была любовь, вольная, небывалая, ни на что не похожая! Они думали, как другие напевают.

Они любили друг друга не из неизбежности, не «опаленные страстью», как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь правилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим. Незнакомым на улице, выстраивающимся на прогулке далям, комнатам, в которых они селились и встречались.

Ах вот это, это ведь и было главным, что их роднило и объединяло! Никогда, никогда, даже в минуты самого дарственного, беспамятного счастья не покидало их самое высокое и захватывающее... наслаждение общей лепкою мира, чувство отнесенности их самих ко всей картине, ощущение принадлежности к красоте всего зрелища, ко всей вселенной.

Они дышали только этой совместностью. И потому превознесение человека над остальной природой, модное нянчение с ним и человекопоклонство их не привлекали. Начала ложной общественности, превращенной в политику, казались им жалкой домодельщиной и оставались непонятны» (стр. 580).

«И вот она стала прощаться с ним простыми, обиходными словами бодрого бесцеремонного разговора, разламывающего рамки реальности и не имеющего смысла, как не имеют смысла хоры и монологи трагедий, и стихотворная речь, и музыка и прочие условности, оправдываемые одною только условностью волнения. Условностью данного случая, оправдывавшей натяжку ее легкой, непредвзятой беседы, были ее слезы, в которых тонули, купались и плавали ее житейские несправданные слова.

Казалось именно эти мокрые от слез слова сами слипались в ее ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер шелковистой и влажной листвой, спутанной теплым дождем.

— Вот и снова мы вместе, Юрочка. Как опять Бог привел свидеться. Какой ужас, подумай! О, я не могу! И Господи! Реву и реву! Подумай! Вот опять что-то в нашем роде, из нашего арсенала. Твой уход, мой конец. Опять что-то крупное, неотменимое. Загадка жизни, загадка смерти, прелесть гения, прелесть обнажения, это, пожалуйста, это мы понимали. А мелкие мировые дразги вроде перекройки земного шара, это извините, увольте, это не по нашей части». (стр. 581).

«Мировые дразги, вроде перекройки земного шара» противопоставлены здесь живой душе человеческой с силой, которой в русской литературе обладал только один писатель — Достоевский.

Роман кончается прощанием Лары с Живато. Для ее собственной гибели Пастернаку достаточно нескольких скупых слов о «безымянном номере из впоследствии запропавшихся списков». Роман кончается 1929 годом, последним годом нэпа, «самого двусмысленного и фальшивого из советских периодов». Начинается эпилог, из которого я не сделал до сих пор ни одной выписки.

Что хотел раскрыть Пастернак этим вероятно позже написанным эпилогом? Означает ли он неудовлетворенность книгой? Стремление смягчить ее трагическую развязку? Почему Гордон и Дудоров в эпилоге отлично умеют мыслить и в 1953 году так отчетливо чувствуют, что «будущее расположилось ощутимо внизу на улицах, что сами они вступили в это будущее и отныне в нем находятся»? Почему в приложение к книге напечатана и сама «тетрадь Юрьевых писаний», стихи доктора Живаго, путь человека в вечность?

Мне кажется, что в свою «книгу жизнеописаний» Пастернак не вложил всего, что передумал. Волевая стихия, чуждая Юрию Живаго, это не только «гении самоограничения». Загадочная фигура сводного брата Юрия, Евграфа Живаго и в эпилоге остается неразгаданной. И если Антипова-Стрельникова можно отнести к односторонним фанатикам, то к ним никак не отнесешь сдержанно, но вполне определенно обрисованного Галиульпина.

«Есть упоение в бою!» — с какой категоричной определенностью сказано это «есть!». Оно чуждо доктору Живаго, но Пушкин видит в нем «бессмертья, может быть, залог», а Пушкин ведь хорошо разбирался и в этих «прямых вещах».

Новое жизнеощущение родилось в боях новой Отечественной войны, как царство трескучих фраз и гениев самоограничения родилось из войны предыдущей. Ради этого жизнеощущения написан эпилог. Им, а не гибелью Лары, закрывается книга. И «хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но всё равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание». (стр. 599).

Это новое жизнеощущение, это предвестие вынесено из войны на плечах генерала Живаго. За ним мне видятся сотни тысяч солдат, боевое вдохновение капитана Тушина и жертвенный порыв князя Андрея, помните, на Аустерлицком поле «Войны и мира»?

Образ Евграфа мистичен и окружен символическими намеками. В его пользу, не зная его, Юрий отказывается от отцова наследства. Именно его, единственного во всей книге, он, опять по незнанию, «смерил взглядом и обдал холодом, отбивающим охоту к сближению».

Евграф обожает брата и зачитывается им. Он снабжает его продуктами во время тифа и советует его семье уехать из Москвы на роковой Урал, куда Юрий ехать не хочет. Он заботится о его семье во время его партизанского плена и, возможно, помогает ей вернуться в Москву, где доктор ее уже не застанет. Он составляет «практический план, как помочь брату и спасти его», и именно в результате этого плана Юрий получает службу и садится в тот самый трамвай, «на который все время сыпались несчастья» и в котором его ожидала смерть.

У мальчика Евграфа «было смуглое лицо с узкими киргизскими глазами. Было в этом лице что-то аристократическое, та беглая искорка, та прятущаяся тонкость, которая кажется занесенной издалека и бывает у людей со сложной, смешанной кровью». Он «сваливался как с неба и был недоступен расспросам, от которых отделялись молчаливыми улыбочками и шутками». У него был «какой-то флирт с властями». Он мог все достать, организовать и устроить. Он кончает в книге генералом Отечественной войны, сохранившим не только свое обожание покойного брата, но составившим тетрадь его писаний и разыскавшим его дочь от Ларисы — бельевщицу Таню.

Без него Юрий пропал бы также бесследно, как Лариса. Он — недоступная Юрию воля-жизнеустроительница, его сводный брат, его добрый гений и его смерть.

Евграф является в 1917 году сквозь тифозный бред гибнущему Юрию. Не скрыт ли в этом таинственном явлении некий пролог к эпилогу?

«У него был бред две недели с перерывами. Ему презиалось, что на его письменный стол Тоня поставила две Садовые, слева Садовую Каретную, а справа Садовую Триумфальную и придвинула близко к ним его настольную лампу, жаркую, вникающую, оранжевую. На улицах стало светло. Можно работать. И вот он пишет.

Он пишет с жаром и необыкновенной удачей то, что он всегда хотел и должен был давно написать, но никогда не мог, а вот теперь оно выходит. И только иногда мешает один мальчик с узкими киргизскими глазами в распахнутой оленьей дохе, какие носят в Сибири или на Урале.

Совершенно ясно, что мальчик этот — дух его смерти или, скажем просто, его смерть. Но как же может он быть его смертью, когда он помогает ему писать поэму, разве может быть польза от смерти, разве может быть в помощь смерть?

Он пишет поэму не о воскресенье и не о положении во гроб, а о днях, протекавших между тем и другим. Он пишет поэму «Смятение».

Он всегда хотел написать, как в течение трех дней буря черной червивой земли осаждают, штурмует бессмертное воплощение любви, бросаясь на него своими пльбами и комьями, точь в точь как налетают с разбега и хоронят под собою берег волны морского прибоя. Как три дня бушует, наступает и отступает черная земная буря.

И две рифмованные строчки преследовали его:

Рады коснуться

и

Надо проснуться.

Рады коснуться и ад, и распад и разложение, и смерть, и однако, вместе с ними рада коснуться и весна, и Магдалина, и жизнь. И — надо проснуться. Надо проснуться и встать. Надо воскреснуть».

Пастернак и в эпилоге не расшифровывает, какая может быть помощь от смерти. Но он очень хорошо знает, что ведь смерти в сущности нет, за смертью стоит воскресение.

Не берусь доказать, но не есть ли Евграф недописанный образ второго Живаго, не родного, но сводного брата Юрия, воплощение воли к борьбе, к решениям, к жизнеустройению; той самой воли к активному действию, которая начисто отсутствует у вдохновенного поэта и диагноста?

Судьба Юрия Живаго — это судьба врача и поэта. Но есть еще судьба воина, судьба правителя, судьба судьи. Эти судьбы тоже бессмертны. Они строят ту же историю.

Не на это ли указывает эпилог?

Примечание: Выписки сделаны автором из русского издания книги «Борис Леонидович Пастернак, Доктор Живаго, роман, Г. Фелтринелли — Милан, 1958».

СОН О ЖИЗНИ

«И — надо проснуться.

Надо проснуться и встать.

Надо воскреснуть».

Б. Пастернак, «Доктор Живаго».

На своей подмосковной даче Борис Пастернак совершенно одинок, но, в то же время, таинственно связан со многими, и теперь — не только в одной России. Для некоторых поэтов и писателей, из тех, кто не может быть услышан и принужден главное свое хранить до времени в надежных местах, нынешняя Россия — благоприятное место для серьезного творчества. Так, вероятно, было до появления книгопечатания и массового читателя. Тут, конечно, возможны самообольщения, но для избранных это, я думаю, верно. Легкая возможность сразу публиковать все, включая дневники, мешает писателям свободного мира вполне углубиться в то, что им открылось. Поэтому китайские классики VII—X вв. не искали скорого отклика. Некоторые из них при жизни не выпустили в свет свои произведения или старались делать это анонимно, дабы не замутить чистые родники вдохновения ни полемикой, ни хулой, ни хвалой. Затвор для таких — возможность высшей свободы, как для схимника. Не только сила и возможность затворника возрастают, но и влияние его на людей.

Нобелевская премия дается большею частью писателям религиозным, внеконфессионального типа. Толстой тоже не поехал в Стокгольм и не получил своей премии (которой наградили итальянскую второстепенную писательницу), хотя сделал это не потому, что вокруг его имени вдруг создалась реклама и не из опасения в чем-то повредить своей родине. Он уже был тогда прославлен, и к его голосу прислушивался весь мир. Общее между этими отказами в том, что оба писателя предпочли по возможности приглушить «шум восторженных похвал». Это не значит, чтобы они совсем «не дорожили любовью народной», скорее это значит: «Ты царь, живи один». Но еще преждевременно сравнивать эти два отказа и гадать, какое влияние отказ Пастернака окажет на пути истории. Постараюсь разобраться в том новом, что вносит в мир книга Пастернака.

«Доктор Живаго» не похож ни на произведения Толстого, ни Достоевского, — этих главных учителей последнего поколения. С него может начаться новая линия в русской литературе, когда психология героев лишь слегка намечена, а борьба между Светом и тьмой (между Богом и злом) не является основной проблемой. Книга Пастернака не столько изображение самой жизни, сколько сон о ней, что сближает эту книгу со сборником стихов. В России так пробовали писать первые символисты, но это были очерки, а не большие романы. Конечно, символизм можно найти и у Толстого, но там он не умышленный.

Герой Пастернака, интеллигент старой формации, который в нормальное время сделал бы карьеру чеховского доктора, оказался брошенным в самую гущу гражданской войны. Он пытался защититься от участия в событиях, для чего укрылся с семьей на Урале. Он попадает в плен к красным партизанам в то мгновение, когда отказывается (наедине с собой) сделать выбор между двумя женщинами, своей смиренномудрой женой, которая старается упрощать жизнь, и трагической Ларисой, которая жизнь усложняет. В это решающее мгновение отказа или, что равносильно отсрочке выбора, ведущая доктора сила отказывает ему в помощи и бросает его во «внешнюю тьму», к партизанам. От них он четыре раза пытается бежать, но это ему не удается — пока выбор им еще не сделан. И пленение, и освобождение передано в нескольких фразах, скорее рассказано, чем показано, и скорее как в Библии, чем как у Толстого. В момент перед освобождением не случайны ягоды рябины зимой, которые герой якобы хочет сорвать с дерева, что вызывает насмешку охраняющего лагерь часового на лыжах: сколько ни били барина, а все не отучили (от чудачества, в представлении часового, от библейских реминисценций — для доктора). И герой, как во сне, оказывается у Ларисы. Но и с ней он не долго остается, потому что не Ева является основой жизни нового Адама, не великая мать, не падшая природа. Война не кончается и никогда не кончится — не так, как в «Войне и мире», и началась она не в 1914 году, а много раньше: мир болен войной от первых дней преха. Пулеметы и крики гражданской войны не умолкают. Среди огней доктор остается внешне спокоен и без компромиссов с совестью. Зло не стало казаться ему нормальным, добро — легким. Чехов не раз показывал, как его доктора (например, Ионыч) постепенно отяжелевали в буднях житейских. Но даже и им порой слышался чей-то подсказ, с которым спорить нельзя и которому можно только ответить: да будет воля Твоя (хотя бы когда приходит смерть). Но у Пастернака та, не своя воля, ведет и лепит человека уже совсем осязательно.

Так формулируется освобождение душ от цепей жизни. За это надо все время платить. Голодом, холодом, одиночеством, всевозможными видами аскезы. Годами и десятилетиями — как в тексте ектеньи — «глады, губительства, землетрясения, потопа, огня, меча, нашествия иноплемennых и междоусобных брани». Таков путь России и взятая с нее плата за близость к Богу. Это означает, что у Пастернака не ветхозаветная система символов, а новозаветная. После ягод рябины, миновав охрану лагерных ворот, доктор не вышел из ада, но и не лишился поддержки. Древний Адам лишился только младенческого Эдема, созерцательного, потому что и дальнейшая его жизнь, с ее трудами и заботами, продолжает сохранять райские отблески, о чем говорит весь Ветхий Завет. Общее между обоими Заветами в том, что и падший и воскресающий человек (но второй в большей горести, чем первый) не перестает быть охраняем и направляем, куда предназначено, среди сна времени и мгновенных бурь пробуждения.

Сны человека — суть углубленные сны природы, в которых индивидуум распадается на множество персонажей, из коих каждый в отдельности есть порожденный им, подобно тому, как в романе каждый из группы героев есть экстерифицированная второстепенная часть души автора, а борьба их есть символическое изображение той борьбы, которая ведется внутри его моральной сферы. Рождение, ужас, любовь — суть темы сна, персонажи и обстановка — самый сон, а загробная жизнь в первоначальном понимании — первое пробуждение от сна и погружение каждой отдельной души в сферу собственного индивидуального воображения. Вторая смерть будет рождением в реальность, в которой каждая отдельная личность

осуществляет произвольный и доброжелательный к другим личностям акт морального субъекта мира.

Гностицизм предполагает, что некогда все души имели одно коллективное сознание, которое называлось Адамом. Ева была его внутренней вещью, прехопадение было впадением в сон, в котором Адам, став частью Евы, рождается внутри нее в расчлененном состоянии, как множество людей, а она, после падения, тоже изменяется, становится великой матерью, падшей природой. Лишь после общего пробуждения от сонливости, этой затуманенной тени мира, Ева вновь предстанет очам как вечная Непорочная Дева — небесная природа*). Грехопадение есть также прообраз смерти Христа и раздробления тела в другой системе символизма. После конечного религиозного обращения каждая отдельная душа восстанавливается как часть тела Христа — Адама.

Коллективная личность Адама, заснув, потеряла сознание вообще, и с субъективной стороны родилась как множество монад, в которых, с объективной стороны, раскрылась как Природа. Но коллективная личность начала уже пробуждаться, и в нее входят все те, кто, просыпаясь среди закодированной жизни, отвергают оковы сонливости, овладевают ею и восстанавливают жизнь в ее первоначальной форме, т. е. в форме Логоса — свободной инициативы воображения. Эта коллективная личность пробужденного Адама встречается с коллективной личностью пробужденной Евы — с ангельским царством. Но Адам, вся жизнь которого до падения была сосредоточена в его едином полюсе, а после в его котичах, в индивидуумах, должен теперь совместить и то и другое, единое и множественное, и это есть церковь, или собор, или народ, или человечество.

Материальность есть окончательная форма внешней вещи. Здесь тоже все живет, и зрелище мира есть зрелище и познание взаимоотношения вещей. Силы природы это объективные формы окаменения или окостенения, Ева, схваченная железной необходимостью сна, универсального оцепенения. Внутренняя же вещь воображения, это корень великой природы. Время есть окаменелое воображение, пространство — окаменелое время. Но следует заметить, что между субъектом воображения и объектом его, безостановочно циркулирует живая энтелехия внимания субъекта, и оно-то и оформляет объект. Если бы прекратилось воображение, вся внешняя вещь, начиная с времени, сразу свернулась бы и исчезла. Но воображение всматривается в это свое творчество, забывая о том, что оно его породило, и эта энтелехия, самая жизнь сознания, молния, вольтова дуга, постоянно пульсирующая между полюсами, превращает прехопадение в универсальную жизнь — дыхание природы. Если реальность освобождается силою воображения, полагается как объективный разум его, то она познается, дух возвращается на себя, «покинув свое не-я», сказал бы Фихте. Основные этапы этого возврата: ощущение, рассудок, разум, категории и т. д. суть этапы и силы, сквозь которые проходила, в обратном порядке, энтелехия, впадая в космический сон. Конечно, разум не есть настоящий возврат полагающего воображения на себя, ибо тогда он был бы самим пробуждением, которое не зрительно, а *практично* и лежит в морально-волевой плоскости. Разум есть лишь зрение засыпания и форм его, а также пробуждение и формы его, иначе говоря, зрение творения и восстановления мира, а не само творение. И это потому, что разум есть область свободы. Не самое действие, а выбор возможностей, а смешение разума с действи-

*) Такой иногда видится доктору его жена, Тоня. Об этом также есть в «Общем деле» Н. Ф. Федорова, когда он говорит, что рождение Христа было единственно нормальным.

тельностью создало несовершенство прошлого идеализма. Потому что не созерцать «вообще», а созерцать, что делать, как ему действовать, хочет дух. Мир есть волевой, вообще действенный, а не зрительный феномен, и полнота его в бытии — конкретности; в зрении; в действии — жизни. А не только в бытии (природа без жизни и зрения) или только в действии (жизнь без сознания) или только в зрении (интеллектуализм).

Книга Пастернака написана по такой схеме, но не думаю, чтобы он предварительно разработал свой план. Вернее всего он, как автор Евгения Онегина, этого первого у нас интеллектуала, еще младенчески-эгоистичного, прозревал его в тумане, «как сквозь магический кристалл» — как мы все видим свое будущее. Писатель должен довериться жизни, ее неожиданностям, ждать, что она будет последовательно давать ему необходимый опыт и выводить его из собственной его рассудочности. Будущие главы книги нельзя точно предвидеть. Так герой Пастернака за несколько мгновений перед тем не знает, что он возьмет пулемет, что будет стрелять в дерево, что случайно убьет или ранит колчаковского юношу, и так во всем. Правильный план дается в конце книги жизни, в придачу или в награду за труд. Главное, что само выльется в написанное, это та таинственная сущность автора, его душа, которая для него не меньше потемки, чем чужая. В конце жизни человек вдруг обнаруживает, что его жизнь была не хаотичной, а закономерно спланированной. Мы ничего не знаем об авторе Одиссеи, но в одном можем быть уверены, в его старости, и не потому только, что Одиссея глубока, это могло бы исходить и от молодого гения, но потому, что план ее столь совершенен, что мог быть начертан только Афиной, и притом *post factum*. А молодость не в состоянии уловить этого подсказа божества, и ее сфера — это лирика, а не эпос.

Но и помимо плана, автор не может, не должен знать, что он напишет. Так, Пушкин жаловался, что «дура Татьяна подвела в конце — не отдалась Онегину» (он сказал это менее цензурно). Или Толстой, который в период писанья «Войны и мира» говорил: «А что дальше будет — беда!» И на вопрос, что именно: — «А мне откуда знать?»

Книгу о докторе Живаго закрываешь с сознанием, что так оно и было, особенно последние 15 лет его жизни, от 1914 до 1929 года. Его конфликт с историей не мог разрешиться иначе, как смертью до сорока лет.

Если даже Пастернак больше ничего не напишет, его книга останется в самых первых рядах эпических произведений, как одно из наиболее религиозных произведений нашей эпохи.

О Пастернаке

МОСКОВСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

I

Брюсов и Пастернак

В те «медовые» годы пореволюционной засухи, когда обмелели все судоходные и сплавные реки не только для изящной, но даже и для заборной литературы (бумажный кризис), поэты дружной толпой вывалили на высокие берега всяческих эстрад и аудиторий для устного общения с читателем, превратившимся в слушателя. «Вечера поэзии», «Вечера футуристов», «Вечера имажинистов» («акмеистов», «крестьянских», «пролетарских поэтов», «конструктивистов», «ничего-ков»... и т. д.), «творческие вечера» отдельных поэтов, доклады и диспуты о современной поэзии и поэтах следовали чередой почти непрерывной.

Выработался устойчивый контингент завсегдатаев — учащаяся молодежь по преимуществу (студенты, рабфаковцы, пролеткультовцы), со значительной долей комсомольской прослойки.

Котел Большой аудитории Политехнического музея закипал особенно бурно на вечерах Маяковского, где подавляющая часть комсомольской «дивизии» была неизменно на его стороне.

У Пастернака, когда он выступал один, а это бывало чрезвычайно редко, да и не в таком коллизе, как Политехнический, а в обстановке достаточно камерной, слушатель был иной: в какой-то мере отборный, особый, ищущий в поэзии поэзию, а не лозунги агитпропа. Комсомолия сюда не валила. Но Пастернак иногда — и тоже не часто — в качестве сопринадлежника футуризма выступал и вместе со своими соседями по изму — за компанию. И тогда уж — в Политехническом, как и в случаях, объединявших на одном вечере выступления поэтических групп или отдельных поэтов всех школ и направлений. Такие вечера выглядели состязаниями, вечерами-смотрами.

Первый по праву (у него и тогда уже кое-кто из западноевропейских поэтов учился поэтической технике) Пастернак никогда никуда не лез, не выпирал, не пробивался (полный антипод Маяковскому); скромный, застенчивый, старающийся оставаться в тени, Пастернак не выносил никакой рекламы и шумихи вокруг себя и своего творчества.

Несколько угловатый, вовсе не «стройный» и без «молодчества», а скорее

как бы надломленный (или неуклюжеватый?); в неизменном и далеком от первой молодости черном костюме, пиджак которого и ломал фигуру, придумав талию где-то заметно ниже места, ей положенного; с живописными «вывихами» и «закрутами» в шевелюре, причесанной после пребенки... пятерней, Пастернак на трибуне появлялся как бы неохотно — за компанию! — словно выволакивая самого себя. Не преображало и само выступление, т. е. чтение стихов. Читал он вяло, тягуче, глухим, неярким голосом. Никакой декламационной игры, никакой модуляционной «архитектуры», никакого шарма обволакивающей «музыкальной» скандировки: бесстрастно, ровно, хотя и с положенной по штату того времени тягучей напевностью и с высоким — особым, пастернаковским — «завывом» в местах ударного, ритмического членения стиха. Проитрывали ли стихи при таком чтении автора? Нет, этого не скажешь: слишком уж они были спаяны в одно непрерывное стилистическое единство с самим автором, слишком много было во всем этом — по совокупности — пастернаковски своеобразного, неповторимого — безыскусственной простоты и «младенческой невинности» большого яркого поэта со всею его человеческой неприиспособленностью, не акклиматизированностью. Прометей, не знающий с какого конца поджечь сухую солому. Так казалось. Так могло казаться тогда; «Доктор Живаго» еще написан не был.

Опалил ли подобный огонь комсомольскую часть аудитории Политехнического?

— Бенгальский! — дружно выносила она свой приговор.



Вспоминается один, с особо настойчивой усидчивостью оставшийся в памяти вечер в Политехническом — диспут о современной поэзии. Вначале, как полагалось, было вступительное слово или доклад.

На председательском месте — на трибуне, рядом со стойкой кафедры, за нивелью откуды втесавшимся, чуждым аудитории, невзрачным столишкой-выдвиженцем — застывшая в чутко-настороженной полпруженности фигура Брюсова: мэтр, арбитр, тяжелая артиллерия авторитета на наиболее солидных — академических — вечерах.

У Врубеля есть портрет Валерия Брюсова. Пожалуй, даже и «незаконченный» — в карандаше остался (лучший портрет Брюсова!); со скрещенными на груди руками, стоит стройный, загадочный, пронзительно динамический: символист, устремленный в «миры трансцендентные» и стесняющийся себя (или колдующего над ним Врубеля)? Скорбящий оборотень? Сомневающийся в своих силах «сверхчеловек»? Исповедник в черном фраке с длинными фалдами? Кающийся? Лукавящий? Кто поймет... Крыльев нет, но так и кажется: вот-вот вззовется...

Теперь Брюсов не тот. В лице что-то страдальчески-горькое, смущенное, словно извиняющееся. Теперь уже видно яснее: кается в чем-то. А если и ухмылка — опять-таки польнная. И весь он какой-то колкий, жесткий, зазубренно-шершавый: железо, побывавшее в объятиях кислот. Официальный представитель «партии и правительства», — кандидат в члены РКП(б).



...Пока локусывали кого-нибудь и за что-нибудь, Брюсов углубленно думал о... «красе ногтей». Хватанули по Маяковскому? — следующий непременно вцепится «за». Бабахнули по Есенину? — и у него найдутся защитники: больше, чем нужно. Шерстят «ничевоков» — «Собачий ящик»? — так и надо. Брюсов предоставлял слово очередному оратору и тем ограничивался.

Но вот очередной прикоснулся к Пастернаку. Брюсов насторожился.

— Возьмем, к примеру, такой «шедевр» Пастернака:

«В трюмо испаряется чашка какао,
Качается тюль и прямой
Дорожкой в сад, в бурелом и в хаос
К качелям ведет трюмо»...

— Если это не абракадабра, не словесных дел трюкачество, то что это? Поэзия? — торжествующе встряхнул шевелюрой оратор и продолжал:

— Кое-кто, может, и знает эти стихи, но я все-таки приведу и следующую строфу:

Несметный мир семенит в месмеризме
В трюмо и не бьет стекла,
Что ломится в мир и ломается в призме
И радо играть в слезах...

— Вон куда дотянулся — «семенит в месмеризме в трюмо»! Может у «Брокхауза и Эфрона» особенно рьяные любители доковыряются в словарях и найдут объяснение, да только чего? Отдельных слов? А кто найдет разгадку всей этой галиматии в целом? Бессмыслица, непроходимая бессмыслица, чушь! Набор слов в пустыне мыслей! Пастернаку нечего сказать. Ни на душе, ни за душой — хоть шаром покати. Вот и катает, вот и валяет дурака, и читателя дурачит. Морока! Игра в бирюльки рифмованных слов. Тоже, с позволения сказать, «поэзия». Бумагу жалко — на нужное не хватает, на настоящее, а тут —

«Зеркальная б все, казалось, нахлынь
Непотным льдом облила...» —

да понимает ли сам Пастернак, что он пишет? Не издевательство ли это над здравым смыслом? Вот до чего господа футуристы доходят.

— Тупица! — прозвенел срывающийся, звонкий мальчишеский голос, — не про таких написано!

— То же и я говорю, — ухватился за вторую половину фразы оратор, — не для меня! И не для рабочего с крестьянином! Не принимаю такого «творчества»!

— Хватит! — Кончай! — Позор! — раздалось несколько протестующих голосов. Но их заглушили другие — голоса «сорганизованной массы» — голоса комсомольских скамей: — Правильно! — Продолжай! — Нашлись тоже защитники! — И — свист, топот, улюлюканье. — Продолжай! Крой!

— Я кончаю, товарищи, надо и другим оставить, что пощипать с этой дичи. Ну, а из любителей пастернаковщины, с ее косноязычной безграмотностью и пустопорожней какофонией, пусть какой-либо расхрабравшийся забияка попытается набраться смелости и объяснит собравшимся хотя бы приведенные мною примеры!

Гремят дружные аплодисменты комсомольских ортодоксов, крики «браво», «правильно»!

Свист, крики протеста и возмущения — «Позор!» «Безобразия!» — несется со скамей «просвещенного либерализма», со стороны поклонников, приверженцев, знатоков и ценителей «поэзии утонченной» (а с нею и Пастернака): — Базар! Халтура! Демагогия!

— Успокойтесь, товарищи, успокойтесь, — точно от удара освобожденной пружины взвился над своим столиком председатель и, повернувшись в сторону уходявшего оратора, «поднял перчатку».

— Позвольте мне быть тем расхрабвившимся забиякой, которому вы предложили набраться смелости!..

Аудитория замерла. Вздрагивали только концы усов Брюсова — желтые, прокуренные.

— Не нужно быть никаким забиякой, еще меньше требуется храбрости и смелости, чтобы раскрыть всю несостоятельность приведенных нападок на Бориса Пастернака. Читателю ленивому, читателю, не привыкшему вникать и думать, в поэзии Пастернака делать нечего. Она требует серьезного, внимательного чтения. Требует известного усилия. С налета Пастернака не прочтешь. Пастернак — не Апухтин, не Надсон. Стихи Пастернака нельзя только слушать. Без напряжения мысли останешься на звуковой поверхности. Глубина их содержания стоит усилий постижения. А она всюду в наличии. Пустот у Пастернака нет. О «бессмысленности» или безграмотности и говорить не приходится — для этого Пастернак слишком умен и образован. Для незнающих или забывчивых напомним: после юридического факультета в Москве Борис Леонидович получил и фило-софское образование — в Марбургском университете, у Когена. Пожалуй, достаточно для отвода обвинений в неразумной игре слов с неведомым поэту их содержанием? Набор слов? Какофония звуков? — с дрожью плохо скрытого возмущения, с чувством брезливой гадливости хрипло выкрикивал вышедший за пределы академической бесстрастности Брюсов: — Игра в бирюльки рифм? Дай Бог всякому уметь так играть!

И тут Брюсов подтвердил ходившие по Москве «поговаривания»:

— Да знаете ли вы, что некоторые поэты Западной Европы учатся у Пастернака его поэтической технике? А такая техника неужто замыкается в одном под-боре новых изысканных рифм? Неужто вся архитектура стиха, разумеется, не исключая семантики, не является поэтически нераздельным целым?.. Да что говорить? Я ведь тут не на семинаре по стиховедению... Ограничусь разбором так неудачно приведенных с этой трибуны «примеров».

И Брюсов полностью прочитал — со всеми цезурами, запятыми и точками! — то стихотворение Пастернака, из которого были выдернуты отдельные строфы. Читал он, правда, — в этом ему нельзя отказать — отвратительно: хриплое «вы-лаивание» вместо скандировки. Декламационных способностей — никаких. Но своего добился. Особенно же после комментирования «темных» мест и разъясне-ний точной смысловой нагрузки отдельных слов и оборотов, метафор и об-разов.

— Похоже ли все это на напромождение бессмыслицы безграмотным верси-фикатором? Есть ли хоть одно слово в контексте поэтической ткани, которое можно бы предложить заменить другим, более соответствующим? Укажите. На-зовите. Подскажите!.. Вот тут товарищ говорил о смелости. Беру ее на себя, у-верждаю: любое стихотворение Пастернака берусь объяснить, любую «бессмы-сленность» — осмыслить, любое слово оправдать...

Как свинцовую примочку при головной боли, прикладывает Брюсов носовой платок к одному виску, к другому, — не разворачивая.

— Кто просит слова..., товарищи?

В этом, после полупаузы добавленном «товарищи», словно спохватившись, прозвучала нотка как бы некоей «осознанной необходимости» примирения с ча-

стью аудитории, намеков на некое «извините, мол, со всяким бывает, несколько, пожалуй, и погорячился».

Брюсов сел... Гроном аплодисментов вздохнула аудитория. У воздержавшихся — наоборот — «в зобу дыхание сперло»: многозначительно переглядываются. В полном недоумении. К такому обороту дела лагерь «обструкции» явно не был подготовлен: поведение председателя смешало все ходы. Почти что член партии — против выполняющего волю партии комсомола? Есть от чего прийти в замешательство. В нормальных условиях нормальной страны чему бы и удивляться? — Простая порядочность и честность, объективность и личная этическая опрятность, — вещи все само собой разумеющиеся. Но в музее Лубянского проезда такая независимость «арбитра» с кандидатским билетом вырастала почти в гражданское мужество, в дерзость неповиновения, в бунт, несмотря на то, что гайки в лит-политике в те годы не были еще довинчены до отказа — до РАППовщины было еще далеко, до «ждановщины» — и того дальше.



— Что же, товарищи, нет желающих выступить?
 — После вас трудно, Валерий Яковлевич, — все точки над «i» поставили.
 — А еще больше — многоточий, — резонирует несогласный.
 — Вот и отлично, — уловив адрес, парирует Брюсов. — Заполните эти пустоты.

— Мне кажется, о Пастернаке сказано достаточно. Вопрос ясен. Непримиримых — не примирить. По-моему, Пастернака надо оставить в покое и... — раздается новый голос.

— Поговорить о Мариенгофе?

— Боится, для Алексея Крученых времени не останется!

— Я не могу исключать чье-либо имя из дискуссии, — отвечает Брюсов, — тем более, что о Пастернаке и говорил-то всего лишь один товарищ, которому я только ответил.

— Хватит, наслушались! — раздалось несколько голосов со скамей «нейтралистов».

— Хватит ли, товарищи? — обращается председатель к аудитории.

— Продолжите! Продолжите! — настаивает оппозиция, но выступить с развернутыми знаменами, даже оправившись и придя в себя, ей, обученной главным образом «хлопать и топать», не так-то легко: требуются знания, требуется знакомство с творчеством Пастернака не по наслышке, не «в оригинале с чужаго». А многие ли из оппозиции «сами читали»? Однако нельзя же «победу» оставлять в руках «формалистов». И — снова одиночные вылазки, «партизанщина»:

— Нам спешить некуда, по поговорке: «Не спеши в Лепеши, в Сандырях почувешь», — надо и к Пастернаку однажды подригнуться поближе. Пастернаковские штучки я, скажу прямо, читал не ахти как много, но...

— Прочти побольше, мы подождем! — утешает весельчак.

— Опасно! Не оторвется потом, на урок опоздает, из рабфака исключат.

— А что? За такое чтение по головке гладить? И исключат. Смеетесь? — возвратился голос прерванного на «но», — хорошо смеяться последним. Скажете, не мелкобуржуазная левизна выплывает из всех писаний Пастернака? Не мелкобуржуазные настроения?..

— Слышал звон!

— Не по адресу! С Маяковским спутал! Зарапортовался!

— Не мешайте товарищу, не прерывайте! — боится Брюсов. Но тот кончил.

— У меня вопрос, тов. Брюсов.

— Прошу вас.

— С каких, товарищ Брюсов, пор Пастернак приобрел у нас то значение, которое вы ему приписываете? И, второе, — разделяет ли с вами кто-нибудь — ну, единомышленники или сочувствующие — такую завышенную оценку и почтительность к косноязычию Пастернака?..

*

Интересно, в каком кармане лежал у Брюсова в этот вечер его кандидатский партбилет? Не об этом ли помыслил, строго призвав, наконец, «товарищей к порядку»?

Битва с мест становилась действительно уже развязной, разнобойной и «разбойной», а Брюсов начинал выпускать из рук бразды правления. Брюсову требовалась некая передышка; диспуту — берета и русло...

*

И. Лавут — немножко критик, «леф»'овец, правая рука Маяковского — администратор и организатор его турне и выступлений, человек спокойный, выдержанный, вмешался вовремя: упорядочил брюсовское хозяйство, вернул ему благопристойную чинность; неторопливостью «говорения» и «академичностью» формулровок успокоил страсти.

Брюсов передохнул, перезарядился. Снова в бойцовой форме. Изготовилась и оппозиция.

— Слово предоставляется т. Жарову!

Поднялся приземистый, с правильным пробором в волосах, умашенных деревянным маслом, с ухарски-ямщицким крутым завитком вразумительно ниспадавшего чуба — «молодец» из москательного с Дорогомиловского рынка? Или подающий надежды дьячок из Весёгоноса? — Жаров, Александр Жаров («Пожарский», — по Маяковскому): «лаковых дел мастер» и... тяжелая артиллерия, «Берта» комсомольская. Затягивает в бумажку (конспект?) — этот готовился издавека. Выбубнивает выписки, пространно комментирует. Скучно. Нудно. Вхолостую. Себе в убыток усердствует «Берта». Состарился Жаров, не успев побыть молодым. Зевает аудитория.

Пастернак плюс Брюсов — из жаровской ли «пвардейской» палить по этой «сумме»?

Брюсов даже не считал нужным отвечать: не на что. — Следующий!.. — На взмыленном иноходце спотыкающейся скороговорки — «конная Буденная!» — С «комсомольским приветом» вымахнул, взвился, вздыбился: А. Исаев. Отрапортовал. Погарцевал. Полягнулся... Новото — ничего, «вариации» все те же. Уселся: комсомольское задание выполнено.

— Следующий? Кто следующий? Вы? Пожалуйста.

Васком, топорщась и пузырясь, наигрывая «академическую маститость», не торопясь, «разворачивается» будущий редактор журнала «Смена» (орган ЦК ВЛКСМ) Марк Колосов: «мужичок с ноготок». Крохотный — недомерок! — но с претензиями и... волосами непомерными: не по росту. Однако аудитория только посвистывала, да посмеивалась: этому ли свалить Пастернака? Всерьез в защиту никто не выступал; повода не было, шла уже потеха. Не вмешивался и председатель: пусть оппозиция выговорится до конца, без помехи и перебоев.

За Колосовым томно промямлил что-то («в порядке дисциплины» или «партнапружки») сладковато-жеманный комсомольский Чайльд Гарольд: Иосиф Уткин. За ним арьергард: «кудреватые митрейки, мудроватые кудрейки».



Не запомнил ли кто себя самого? Все ли выступили? Все ли сказали? Заключительное слово председателя. Ох, как не хочется Брюсову вставать; как надоела ему эта непристойность! На лице чувство стыда и безразличия. Неужто разделять эти ублюдочные «убеждения»? Солидаризироваться? Нет, до такого уровня он не дошел; такому падению мешает и имя и прошлое. Под орех разделять, не считаясь с их комсомольской «именитостью»? И надо бы, да не слишком ли уж... того? Как бы чего не вышло... Рискованно. Промолчать? Отговориться ничем не значащими словами? — Для этого он, как ни крути, все-таки, Брюсов, — все еще Брюсов.

Начал почти омирненно: «дружески» исправил тенденциозные «неточности» Жарова. Укоризненно попенял Исаху. Присовестил «Иосифа» (Мин-Уткина, — «по кодексу» Маяковского) и... разошелся, и начал: передержки? — возвращает «изобретателям», перевранные цитаты? — ставит перед зеркалом подлинника, фантазмы «интерпретации»? — перемеривает аршином действительности. Казалось, легко делает, без затруднения, ипрям: прихлопывает, как комаров на лбу.

Однако и брюсовскому лбу не столь уж прохладно: время от времени хозяин этого лба (снова и снова) извлекает из кармана все еще аккуратно, по-прежнему, сложенный носовой платок и, не разворачивая его, страдальчески прикладывает ко лбу, к вискам, снова ко лбу. Но только прикладывает, нетирает. Тирать нечего — не пот, — трудового напряжения не было, — только испарину, холодную испарину невысказанной, но плохо скрытой безразличия, негодования, отворачивания: к манерам, приемам и духовному уровню «родственников».

Заключительное слово подходит к концу. Остались два «ореха» из тех, что покрепче. Брюсов откатывал их все время в сторону.

— Тут долго и настойчиво говорили об аполитичности Пастернака. Так ли это? Аполитично ли? — словно взвешивая на «Весах» нового «Скорпиона», риторически спрашивает «арбитр», и (тут Брюсов отчетливо вспомнил, в каком именно кармане лежит у него билет кандидата в члены РКП(б)) — отвечает:

— Это, к сожалению, верно. Пастернак политически нейтрален. Согласен, полностью согласен и с утверждением его полной самоустраенности и изолированности от социально-политических задач нашего времени, — жирно подчеркнул балансирующий «кандидат».

Опорожил ли «арбитр» этим приговором беспартийного Пастернака? А в остальном? — Надо отдать «мэтру» полную справедливость: защищал он Пастернака со всею страстностью, со всею озлобленностью — по-волчьи! — и с выдержкой, мужеством, мастерством, на какое только был способен. Жертвенно и без всякой «благовидности», — не лицемерно. А для этого надо было действительно и по-настоящему глубоко ценить и уважать Пастернака. Иначе так страстно и умело защищать и его и — что ни говори — тогдашнее «густо-формалистическое» его творчество было бы невозможно. Немыслим бы был и тот форменный разгром, который Брюсов учинил своим «новым родственникам».

Брюсов лучше других знал, за кого и за что сражается, отгоняя «племя оголтелое».

Предвидел ли он, предчувствовал ли в Пастернаке возможности будущего автора «Доктора Живаго»? И не это ли будущее отвоёвывал для него?



— Ну, а Пастернак? — спросит читатель. — Что делал в это время сам Пастернак? Неужели отмалчивался, свалив все на Брюсова? Так и не выступил?

Да, так и не выступил! Почему? По причине самой уважительной: его попросту на этом вечере не было. А если бы и был? Не выступил бы вероятно и присутствуя. Стыдить лживость — совестился бы. Обшутить дурака — считал бы неделикатным: оскорблять не умел, а оправдываться не считал нужным...

«Ты сам свой высший суд»...

II

Лицом к лицу

(Как я рисовал Бориса Пастернака)

Знакомство мое с Пастернаком, личное, состоялось где-то у рубежа двадцатых и тридцатых годов. И — совершенно точно — на пороге его квартиры.

В те годы я охотился на поэтов. Патронташ был набит разнокалиберными карандашами и палицей с акварелью. Кое-кого уже «упромышлял». В «трофейной» папке покоились: московская копия Ламанчского рыцаря (совершеннейший Дон-Кихот, но только внешне) — Рукавишников, Иван Сергеевич. С ним рядом — мохнатый, заросший приво-бородач (колдун? мельник?), поднятый охотником прямо... с постели, ремизовский Слон Слонович, поэт и литературовед (тогда работал над книжкой о Баратынском) — Верховский, Юрий Никандрович. Поэт, писатель (автор «Пушкин в изгнании») и переводчик бурятского эпоса — Новиков, Иван Алексеевич; Чулков, Георгий Иванович. Где-то среди них, поджав ножки, сидела Вера Инбер. Утомлять дальнейшим перечислением «упромышленного» не стану. Скажу только: руку набил, пристрелялся. Теперь можно поохотиться и за Пастернаком: и охотник в форме, и время подошло.

Адресами членов «Союза поэтов» снабдило меня надлежащее литературное начальство, с которым мы договорились о собрании портретной галереи графических (карандашных, акварельных) портретов наиболее значительных поэтов членов Союза. Снабдило меня начальство и соответствующим «Удостоверением» с припиской о «содействии при выполнении возложенных поручений». Словом: охотник на законном основании, с правами, выправленными по всем правилам канцелярской империи.

Пастернак жил тогда еще в Москве, на Волхонке, против Храма Христа Спасителя, этого, наряду с Кремлем, композиционного центра — купола, главного шлема Москвы. Фасад Пастернаковского дома смотрел на Храм. Дом был двухэтажный. В первом этаже помещался то ли ОХОБР, то ли наследовавший ему и скоротечно отсутствовавший («формалистический») «Музей Живописной культуры». На втором этаже — квартира Пастернака, с окнами боковыми, по переулку, в сторону музея изящных искусств, по фасаду — к храму Христа, по левую сторону которого розоватился кораблик Константино-Еленинской церковки (лилизут перед Гулливером), а справа — Малютинский теремок (дом Перцовой). Фоном храму служило Замоскворечье с его колоколенками и луковками куполов: смотреть Пастернаку было на что.



На звонок вышел сам Борис Леонидович. Я назвал себя. Обменялись рукопожатием.

— Пожалуйста, пожалуйста, входите.

Налево от входа, у самой двери, вешалка. Она на выступе внутрикомнатной

стены (перегородки?); комнату не членит, — только вклиняется в нее, метра на полтора в глубину: вот и вся тут пастернаковская прихожая. Незамысловатая, московская.

— Не хотите ли снять пальто? — предлагает хозяин. Помог снять, повесил. Ввел в самую комнату. Усадил и уселся сам...

Выслушав рапорт о цели моего визита, Борис Леонидович широким размахом «разверзшихся бездн» обрушился на меня: уставился.

— Вот это глаза, вот это диво! — шептал я в немом восхищении, смотря в эти «бездны» — Врубелевские? Или архистратига с византийской мозаики XII века?

— Меня? Рисовать? — переспрашивал изумленный хозяин, для усиления действия обоих вопросительных знаков, как бы отмахиваясь и защищаясь, взлетев еще и крыльями рук:

— Вы при-шли ме-ня ри-со-вать? Меня?

Изумление его — не деланное, не кокетство, Пастернак не из актеров — так изумило меня, что, растерявшись, я пробормотал совсем уж дикое и нескладное:

— Похоже на то, Борис Леонидович, что я пришел вас не рисовать, а... расстрелять...

— Удивили бы не больше! — выпалил он огорча и — тоже растерялся, смутился. Помолчал... — Но послушайте, голубчик, — совсем уже другим тоном, хотя и сопротивляющимся, но смягченным, урезонивающим, продолжал: — На что это похоже? С моею-то лошадиной физиономией? С этими вот скулами? — он провел руками по лицу. — С такою челюстью? — рука легла на подбородок. — И с лошадиными зубами? (и зубы показал!) — Вы действительно пришли меня рисовать?

Что сказали бы вы, читатель, на моем месте? Вот сидит перед вами, чуть не колено в колено, человек и плетет на себя этакое, словно вы его прежде не видели, теперь не видите, а читаете — где-то там вдалеке, — заочно, поневоле принужденный верить в подобный «авторитет» поэта. Опровергать? Поставить перед ним зеркало? Поможет ли? И разве он себя не видел, не знает? Просто, наивно, без рисовки, — а это самая непроницаемая броня, — убежден почему-то в своей некрасивости.

Заверяю его, что глаза у меня, слава Богу, нормальные, без отклонений, что... лошадей (и особенно их головы!) люблю очень и считаю их за самые совершенные и выразительные; что врагов лошадиных голов в своей жизни не встречал, а вот цыганов видел, и неоднократно, — на ярмарках; что присмотрев лошадку, знакомство с нею цыган начинает непременно с зубов; раздирает лошади рот и «смотрит в зубы» — «а ну-ка, милашка, а кой тебе годик»? Но делает это именно цыган, а не лошадь: не она себя покупает, не она ошибется «купив».

Борис Леонидович улыбается, но не прерывает. Ободренный благосклонностью, пускаюсь вскачь, задираю:

— А вы, Борис Леонидович, покупаете или продаете? Вам-то зачем смотреть в зубы?

— Предостерегаю опрометчивого цыгана, чтоб не пострадал в азарте.

Смеется. Лед сломан. Тон найден. Доказаться можно без оглядки. И я утешаю Бориса Леонидовича в том же ключе: поздно, далеко зашло, есть надежда на «сделку»; не напуган даже и зубами и непременно нарисую и их, если Борис Леонидович согласится сидеть с непрерывной — во весь сеанс! — улыбкой...

— Продолжайте, продолжайте, — подтрунивает Борис Леонидович.

— Сколько же у вас терпения и... снисходительности? Но я скоро кончу. Вам не нравятся лошадиные? Хотели бы иметь мышиные? Согласен и на это; из

каждого зуба сделаю два: раздроблю... на бумаге карандашом. Согласен и на этот труд! Если же очень рассвирепеете (во время сеанса) на мое мучительство и покажете тигринный оскал... Но до этого я и сам вас не доведу... из-за боязни.

И тут вдруг мне стало невыносимо стыдно за всю эту «прыть», «игривость». Глупо же. Да и с кем? С Пастернаком так говорить? И я снова стал маленьким. Очень маленьким.

Борис Леонидович это почувствовал: положил свою руку на мою. И, как бы вернувшись откуда-то, посмотрел на меня и хорошо-хорошо улыбнулся, а потом и рассмеялся:

— Правильно, правильно. Это вы верно о зубах. Зубы тут ни при чем.

— А весь ваш автопортрет, эта имажинистоякая автокарикатура, разве имеет хоть что-нибудь общее с вами, Борис Леонидович? — вырвалось у меня страстным протестом. — Карикатура хороша, когда в ней сходство есть. Без него — грош цена и самой ядовитой. У вашей именно этот недостаток. Что без сравнений нет и поэзии — знаю, но меня мучит другое: — Не для случая ли со мной все это «имаже» специально так преподнесено, чтоб... отговориться, чтоб не тратить время на сеанс, для которого, возможно, у вас нет ни времени, ни соответствующего настроения.

— Нет, нет, это не то, — совершенно изменив тон — замедленно, раздумчиво произнес Борис Леонидович (словно откуда-то извне, издалека рассматривая и взвешивая предмет нашего разговора) — настроение для сеанса — вещь условная, и мне не нужно, а время всегда найдется. Не в этом дело. Я думаю о другом: для чего и для кого мой портрет? Какой интерес и прок для вас лично? Зачем зря трудиться? Вот нарисовали бы вы... Маяковского; с ним — дело верное — успех: и напечатают охотно, и выставить сможете.

— Портрет с одного не мешает такому же с другого, — отвечаю, — а настоящим успехом сочту, если мне удастся сделать ваш портрет.

— Я не могу вам противиться. Сдаюсь, если хотите, — улыбнулся Пастернак: — настойчивость вашего желания дает вам право быть победителем; рисуйте, но повторяю: объект для портрета исключительно неблагодарный, во всех отношениях, после не пеняйте, предупреждаю.

— Борис Леонидович, милый (сорвалось горячее, чем можно было себе позволить для первой встречи), как я вам благодарен! Если б вы знали!..

— Ну-ну, что там?.. Когда сможете приступить к работе?

— В любое время, которое удобно для вас!

— Хотите... сейчас? Сможете? Есть необходимые материалы при себе? А то я могу вам дать и бумагу слоновую и карандаши отцовские, что осталось.

— Есть, все есть, спасибо, ничего не надо, все с собой.

Никого никогда так сложно и так долго уговаривать и упрямить посидеть для портрета не приходилось. Совестливые и скромные люди — самые трудные люди. С самовлюбленными куда проще, всегда готовы: даже если вместо носа целый хобот. (Был, был и такой случай!)

*

Борис Леонидович уселся. Непринужденно и уютно. Доброжелательный, приветливый.

— Ах, да, я и не спросил вас: как сидеть? Фронтально? В три четверти? В профиль? Как вам удобнее?

— Самое удобное... так, будто меня здесь нет, и вы один, без постороннего, продолжаете работать над тем, что моим приходом прервано, а поворот головы и ракурс — значения не имеют.

— Но помилуйте, как же это можно? Я и так посижу.

От этого «так посижу» я отказался категорически. Подобная жертва отнимала у него время, а у меня — право на... «безответственность» и свободу приглядки, проб, освоения «натуры». Позирование сразу же обязывало, сковывало руки, превращало сеанс в официальный, ответственный, что в мои расчеты никак не входило: «как-нибудь да срисовать, лишь бы срисовать» — не имело никакого смысла. Такое принадлежит губернии моментальной фотографии (или зарисовкам в вагоне поезда). Я же нацеливался на портрет синтетический — с раздумьями, наблюдениями, обобщениями, а в такую атаку с ходу не бросаются. Такой портретист как Серов многие из «обреченных крепостей» на недели «обкладывал» вниманием, держал в осаде собеседований, наблюдений, постижений — до неприужденного «за чашкой чая» включительно. И только после такой рекогносцировки, когда «крепость» того достойна была, начинал пробные демарши: многочисленные наброски. И только после того приступал — и все еще не к штурму! — к «дислокации» наиболее композиционно-убедительного варианта: наносил его на холст угольком, все время укомпановывая, «урабатывая в интересах мысли», как говорил его продолжатель Николай Павлович Ульянов. И только тогда следовал самый штурм — «буря и написк». Как же поступать не-Серову, а только выученику его ученика? А «крепость» достойная, осады требует вдумчивой (даже и для графического портрета).

На этот раз все сошло благополучно. Спора о методе работы не произошло: Борис Леонидович предоставил мне полную свободу на безответственность; сын художника знает, что такое предварительные наброски.

Так и начали, «без отрыва от производства»: поэт — за рукопись, по совместительству, а я — с чистой совестью: чужое время не ворую — за свое.

Удобная позиция у художника — законное право на бесцеремонность. Разглядываю, расцениваю, взвешиваю формы, черты лица, состояния сознания: хозяйствую.

Склонилась ли «натура» слишком низко, плубоко уйдя носом в рукопись, что-то исправляя, что-то перечеркивая или размашисто вписывая, вскинула ли голову в погоне за искомым, устремив взгляд в беспредельность — все для меня приемлемо, все благо: новая ли черточка «унаблюденного» или новый штрих (а в счастливую секунду и несколько!) на бумаге, — в хозяйстве художника все идет в дело, все пригодится. Жду, ловлю, фиксирую.

— Я не очень беспокоен? Можете что-нибудь делать? А то я сейчас же все брошу и буду сидеть как следует.

— Ради Бога не делайте этого! Все отлично. Лучшего и желать нельзя. Продолжайте работать, как работали.

Некая рассеянность за Пастернаком числилась. Поэтому я был неприятно изумлен, когда ему каким-то образом удалось заметить, что я не столько что-то фиксирую, сколько жду, ловлю момент для такой фиксации.

— Нет, это невозможно! — стремительно вкочил он с кресла. — Это неуважение к вашей работе! Это издевательство с моей стороны: я мечусь во все стороны, а вы должны терпеливо ждать, когда я снова случайно окажусь в нужном ракурсе.

Борис Леонидович был прав; в то время я еще не дошел до спасительного в подобных случаях открытия работать на «веере»: одновременно на нескольких листах бумаги, как шахматист, играющий на нескольких досках; в ответ на движение противника-модели — свое продвижение на соответствующей «доске»: ни пауз, ни холостого времени. Рисунок, мною начатый, не был ни кубистической

схемой (которой «не до ноздрей»), ни «бегущей» футуристической конягой на двадцати семи ногах (все «передвижения» в одном рисунке). Не был он и «бесподданным» — «кроком вообще»; в рисунке уже пролегла линия определенной нацеленности, — своя воля. Поэтому попросил Бориса Леонидовича еще минутку-две посидеть по-прежнему. Кончатся как следует в этой позе не стоило — была случайной, но добавить самое необходимое успел: «мемфисские» губы и подбородок получились вполне: рот и подбородок у Пастернака — главное в профиль. В остальном рисунок колебался на уровне «приблизительности» (и сходства, и качества): требовал работы и времени (не шестнадцати сеансов — как вольготничал иногда Серов, а хотя бы одной шестнадцатой этого времени). Двадцати пяти минут, вложенных в дело, было слишком уж мало.

Бранить себя? — пожалуй, и не за что, но хвастаться также нечем: спокойно укладываю рисунок в папку. Никакого «покажите же, что у вас получилось» не раздается; сын художника знает: если не показывают — нечего и просить; значит или рано или плохо. Зачем же еще и наказывать или вводить в краску «портретиста»?



Короткая пауза. Борис Леонидович рассказывает о том, насколько выгоднее было положение его отца, для которого сын служил в течение ряда лет объектом всяческих кроков и зарисовок в состояниях самой непринужденной естественности, вовсе и не подозревавшей, что «ее» рисуют: за выполнением урока, заданного на дом, за чтением и т. д. Все состояния проходили перед его глазами — выбирай наиболее занимательные. Приходилось неоднократно и специально позировать, и по несколько сеансов, для одного портрета, а выходило, получалось... не всегда.

— Говорю это к тому, что вы, кажется, не совсем удовлетворены началом. Что можно сделать при тех условиях, в которые вы сами себя поставили, приспособляясь к моей подвижности?.. Но я заговорился и отнимаю у вас время. Может начнем? Как усесться? Куда смотреть? Теперь уже прошу не церемониться, — приказывайте, я весь к вашим услугам.

— Садитесь как вам наиболее удобно и уютно.

— Вы опять? и все то же... тот же? Не обо мне, а об удобствах работы думайте. Что предпочитаете — анфас или труп кар? Куда смотреть?

Чтобы поглубже заглядывать в зеркало души, выбираю «ан фас» и «на меня».



Рисую. Но больше всматриваюсь, изучаю, вчитываюсь в книгу лица Пастернакова: сущий клад для художника и скульптора!

Лошадиного, разумеется, ничего, никакого сходства. Расшалившаяся фантазия, вздор.

Но и красавцем — в ходячем смысле — Пастернака не назовешь. Никак... «Сладкого» — ничего, ни в чем. Наоборот: с горчинкой.

Лицо мужественное, волевое, крепко выпрубленное. Из камня. Но не беломраморного, не из Каррары, скорее — гранит. А в целомудренной суровости гранита что от «сладкого»?

Цвет кожи — слегка южный. Форма лица — несколько удлиненная. Что-то египетское времен Тутанкхамоновых? Что-то мемфисское в этих нефритовых губах? Что-то этрусское в некоей терракотовой «недоговоренности»? Может быть... Во всяком случае до «полного реализма», до натуралистического «совершенства» лицо недомоделировано, недополировано, недолецировано. Может из-

за непослушных, не поддающихся должной обработке упрямых свойств стойкого материала? Как бы то ни было, ваятель-художник остановился на некоем — более близком к пониманию нашему — раннем... кубизме, на его сезанновской ипостаси. С угловатостями и условностями подчеркнутых граней: формы, формы, — никакой расплывчатости, никакого «импрессионизма», — скупые, строгие, суховатые. Но не стертые, не всеобщие: ни плагиата, ни ординарности, — свои, индивидуальные, характерные. И — одухотворенные, пронизанные и напоенные внутренним светом, внутренним излучением, — красотой духа: «Человек в себе»...

Тут уже напрашивается другая параллель: из книги лица вычитывается нечто древне-византийское, отдаленно напоминающее манеру иконописца. В скорбном, несколько мученически-печальном лице Пастернака действительно было нечто от аскета.

Несколько выпирающие, «монголоидные», скулы ни шарма, ни очарования не нарушают, как не нарушает его и нижняя челюсть с утяжеленным, перемонументальным, хотя и не в такой гипертрофии, как у Маяковского, подбородком, забирающим больше внимания, чем ему положено по праву, но зато очень акцентирующим волевитость, нестигаемость, упорство. Впрочем, тут намечается и переход в другое качество...

Чего не передумаешь, чего только не вычитаешь из книги лица портретируемого! Художники тоже не чужды поискам сравнений, аналогий, сближений. Так — опалило Врубелем, по мере вчитывания, углубления и обобщения наблюдений, — при переводе духовного в материальное: на бумагу, в рисунок.

«Да ведь это же совсем близко к манере, стилю и приемам Врубеля», — отмечает про себя, наткнувшись на мозаическую кристаллографичность намечающегося образа. И Пастернак вдруг переосмысливается, видоизменяется, преображается в моем восприятии. Необычность, своеединственность, оригинальность структуры лица — врубелевские, почти «аутентичные».



Но самое изумительное в лице Пастернака — это его глаза, эти два «сплоха возможностей» (два озера? два костра? два пожара?), умеющих заглухать до глубин дна океанского и брызгать, излучаться, искриться слепящим блеском высокогорного ледника, в который вдруг ударило выплывшее из-за туч солнце. Смена состояний, амплитуда настроений.

Черные? Ближневосточные? Нет, не настолько, не такие. Но огонек близков может порою пронзать равнодейственно тем, что на совсем черных (утли!) одного из автопортретов Веласкеза. Не без угольков, следовательно. Наличествует и коричневое золотце (в гаммах ореховых и рудных регистров). И опять же... Врубель. Без него «вокруг Пастернака» не обойдешься: у большинства его лиц («Демоны» — на первом плане, в том числе и сидящий, тоскующий, со сцепленными кистями рук, со сказочным миром неистовых цветов за спиной, справа, — первый вариант) — глаза (видели в Третьяковской галерее или на репродукциях? Помните их?), — это — глаза Пастернака.

Но обратимся и по другому адресу. Остров Торчелло лежит совсем недалеко от царицы Адрии — Венеции: — в той же Лагуне. Там в «Duomo» (Собор) всмотритесь особенно внимательно в глаза архистратигов и архангелов в пятиарусной мозаике «Страшного Суда», — византийская, XII века. Что поражает? Глаза, потрясающие глаза: распахнутые в мир, распятые ужасом, разверстые в безумность — гневные и скорбные, страждущие и взывающие. Драгоценнейшие сокровища, выложенные мастерами-кудесниками из скромных, мелкодробленых ка-

мушковых, несущих блеск волшебной «поливыв». Близкое к этому имеется и в Равенне, такие же у Чимабуэ (на фресках) в Ассизи. Близкие (но не то) у Св. Марка в Венеции (мозаика). Нечто подобное можно встретить и по всей Италии в той или иной Chiesa, Крипте, Соборе, Базилике, Баптистерии: полыхающие, «шарахающиеся», многогранные. Были такие и на Ильмень — озере — у Спаса на Нередице.

— И такие у... Пастернака? — спросит улыбающийся (если снисходительный) читатель.

— Да, такие... Приблизительно такие, поскольку глаза живого человека еще и... живые, и, следовательно, куда более сложные!

С точки зрения «нормальной», «средней» правды — я, может, сколько-то и преувеличил, но личное мое восприятие, собственное мое чувство и впечатление — именно таковы.

Восторженный и очарованный глазами Пастернака, скажу так: не мне бы трудиться над его портретом. Для творческой интерпретации и адекватного воплощения этих глаз Врубель должен бы сделать общий эскиз, мастера древней Византии — потрудиться над материализацией в волшебных камушках, а Бенвенуто Челлини — придать виртуозностью своей ювелирно-филигранной отделки окончательное совершенство коллективному творению. Артель потрудились бы не зря — глаза Пастернака этого стоят. Поистине дивные глаза.

Насмотрелся и запомнил — тогда; осмыслил и понял — только теперь. И это — самое главное: не рисунки, а постижения, на бумагу не улетевшие.



Не берусь сказать, как долго длился сеанс, — может час, а может и полтора. Начиная побаиваться законного «типринного оскала зубов»:

— Не кончить ли на сегодня, Борис Леонидович?

— Как хотите. Я не устал и могу сидеть и дальше. Может сами утомились? Сделаем перерыв.

— Усталости никакой, но надо же и совесть иметь, и честь знать. Хватит, Борис Леонидович. На сегодня довольно.

— Хорошо. Перенесем на следующий сеанс. Когда сможете прийти?

— Отдохните от первого. Утомлять вас не хочу. Как-нибудь зайду словоториться.

— В любое время! — широко распахивает Борис Леонидович двери в будущее.

Складываю вещи. Ну а портрет? Тоже: в папку. Так и не показав? Да, как и первый. Что же, снова неудача? Нет, не совсем так: второй куда удачнее. Но показывать и этот рисунок рано: очень еще далек от завершения.



Уже раскрыв дверь на лестничную площадку, услышал оклик метнувшегося в мою сторону хозяина: не могу ли подождать его минутку?

— Вышли бы вместе. Совсем забыл, что надо зайти в издательство. Обещал, ждут. Вот только рукопись возьму...

Пастернак и... портфель? Пастернак с портфелем? Что может быть более нелепого и менее мыслимого? Никогда не встречал его в таком обществе. Рукопись? А очень просто: завернул ее в газету и закинул в карман. Не думаю, чтобы из нежелания походить на «ответственного», а просто так, без рисовки: и удобно, и естественно. Впрочем сомневаюсь и в самом наличии «факта портфеля» в хозяйстве Пастернака.

— Борис Леонидович, на улице слякоть и грязь. Без калош выходить несколько рискованно.

— Калоши? Ах, да... это верно... Где-то они у меня, кажется, были... когда-то... Ну, да все равно — дырявые.

— И дождь идет, — продолжаю сближать поэта с прозой, — зонт не забудьте.

Но и зонт тоже не реальнее калош: какой-то, где-то (продранный? на чердаке?) ...был (кажется? когда-то?).

Вот так и вышел — как был. Кепку лишь — вместо зонта — накинул.

А ещё женатый! Больше того: был уже отцом семейства.



Обласканным, прирученным и очарованным пленником, искренно и навсегда влюбившимся в свою модель (и сильно, очень сильно поскромневшим и... поумневшим от молчания Бориса Леонидовича во время сеанса и от своих «успехов») покидал я этот, внешне ничем не приметный соседний с Музеем изящных искусств дом на Волхонке — ординарнейший московский дом...

Дождь, пристыженный полной безоружностью моего спутника, как-то вдруг смутился и — словно «почесав в затылке» — перестал.

Решили идти пешком.

Мимо Румянцевского музея и библиотеки, мимо манежа, нового и старого зданий Университета: по Моховой, к центру.

Нобелевские премии

... «С остальной частью моего состояния надлежит поступить следующим образом: весь капитал должен быть вложен моими душеприказчиками в надежные ценные бумаги и должен составить фонд, проценты с которого следует ежегодно распределять в форме премий среди тех лиц, кто в течение предыдущего года принес наибольшую пользу человечеству (курсив наш. — Л. Д.). Вышеуказанные проценты должны быть разделены на 5 частей, которые надлежит распределить следующим образом: одна часть — лицу, которое сделало наиболее важное открытие или изобретение в области *физики*; другая часть — лицу, которое сделало наиболее важное *химическое* открытие или усовершенствование; третья часть — лицу, которое сделало наиболее важное открытие в области *физиологии или медицины*; четвертая часть — лицу, которое создало в области *литературы* наиболее видное произведение с идеалистической тенденцией; и пятая часть — лицу, которое провело наилучшую работу для укрепления братства между народами, для ути-разждения или сохранения постоянных армий и по созову мировых конгрессов. Премии по физике и химии должны присуждаться шведской академией наук; премии по физиологии или медицине — Институту Каролины в Стокгольме; премии по литературе — стокгольмской Академией; и, наконец, премии сторонникам мира должны выдаваться комитетом из пяти человек, избранным норвежским парламентом. Мое категорическое желание, чтобы при определении премий национальность кандидата не оказывала бы никакого влияния; премии должны получать наиболее достойные, не взирая на то, скандинавы они или нет».

Таково было завещание Альфреда Нобеля, написанное им 27 ноября 1895 года, за год до его смерти. Согласно завещанию в премиальный фонд отошел огромный капитал в 9 миллионов 200 тысяч долларов. Этим было положено начало глубоко гуманной традиции ежегодного торжественного чествования и премирования людей, трудами своими послуживших пользе человечества.

Альфред Нобель родился в Стокгольме (21.10.1833), но значительную часть своей жизни провел в России, в Петербурге. В 1867 году Нобель взял патент на производство открытого им динамита, а затем основал в ряде стран фабрики по изготовлению нитроглицериновых веществ. Несмотря на свою профессию инженера-изобретателя в области взрывчатых веществ, Нобель был подлинно гуманным человеком. Об этом свидетельствует и благородный акт пожертвования своего состояния во всемирный премиальный фонд и самый образ его трудолюбивой,

творческой жизни. Нобель лелеял мечту — создать оружие такой мощности, чтобы война стала невозможной. По иронии судьбы такое оружие, через шестьдесят лет после смерти Нобеля, открыто — но гарантий, что войны прекратятся, по-прежнему нет.

Умер Нобель 10 декабря 1895 года в Сан-Ремо (Италия).

Среди лиц, удостоенных Нобелевской премии в разные времена, имеются и русские люди: в 1904 году по физиологии получил премию Иван Петрович Павлов; в 1908 году также по физиологии премию получил профессор Мечников Илья; в 1934 году Нобелевская премия досталась нашему писателю Бунину Ивану Алексеевичу; в 1956 году премия по химии была присуждена нашему ученому Семенову Николаю Николаевичу; и, наконец, в 1958 году Нобелевские премии были присуждены: по физике — трем советским профессорам — Павлу Алексеевичу Черенкову, Игорю Евгеньевичу Тамму и Илье Михайловичу Франку; по литературе — писателю Борису Леонидовичу Пастернаку.

Приводим таблицу лауреатов Нобелевской премии по литературе — с первого года присуждения (1901 г.) по 1957.

№№	Фамилия, имя	Националь- ность	Даты рож- дения и смерти	Год при- суждения премии	Примечания
1	Прюдом Сюлли	француз	1839—1907	1901	настоящее имя: Рене-Франсуа- Арман
2	Моммзен Христиан	немец	1817—1903	1902	
3	Бьернстjerne-Бьернсон Мартон	норвежец	1832—1910	1903	
4	Мистраль Фредери	француз	1830—1914	1904	поэт и филолог
5	Echegaray y Eizaguirre Yosè	испанец	1833—1914	1904	драматург
6	Сенкевич Генрих	поляк	1846—1916	1905	
7	Кардуччи Жозе	итальянец	1835—1907	1906	поэт и критик
8	Киплинг, Редьярд	англичанин	1865—1936	1907	
9	Ойкен Рудольф	немец	1846—1926	1908	философ
10	Лагерлёф Сельма	шведка	1858—1940	1909	
11	Гейзе Пауль	немец	1830—1914	1910	поэт, драматург, новелист, рома- нист
12	Метерлинка Морис	бельгиец	1862—1949	1911	
13	Гауптман Герхарт	немец	1862—1949	1912	
14	Тагор Рабиндранат	индус	1861—1941	1913	
15	Роллан Ромэн	француз	1866—1944	1916	
16	Фон Хейденштам Карл	швед	1859—1940	1916	писатель
17	Геллеруп Карл	датчанин	1857—1919	1917	поэт
18	Понтюпидан Генрих	датчанин	1857—1943	1917	писатель
19	Шпиттелер Карл	швейцарец	1845—1924	1920	
20	Гамсун Кнут	норвежец	1859—1952	1920	
21	Франс Анатолий	француз	1844—1924	1921	настоящая фа- милia Тибо, Жак-Анатолий

№№	Фамилия, имя	Националь- ность	Даты рож- дения и смерти	Год при- суждения премии	Примечания
22	Benavente Jacinto	испанец	1866—1954	1922	драматург
23	Ийтс Вильям	ирландец	1865—1939	1923	поэт
24	Реймонт Владислав-Стани- слав (псевдоним)	поляк	1868—1925	1924	За роман «Му- жики». Настоя- щая фамилия — Реймент
25	Шоу Бернард	англичанин	1856—1950	1926	
26	Деледда Грация	итальянка	1875—1936	1927	Писательница. Настоящая фа- милия Мадезани, Грация
27	Бергсон Анри	француз	1859—1941	1928	философ
28	Ундсет Зигрид	норвежка	1885—1951	1928	писательница
29	Манин Томас	немец	1875—1955	1929	
30	Люис Синклер	американец	1885—1951	1930	
31	Карлфельдт Эрик	швед	1864—1931	1931	поэт
32	Гелсуорси Джон	англичанин	1867—1933	1932	
33	Бунин Иван Алексеевич	русский	1870—1953	1933	определение: «За строгую художе- ственность, с ко- торой он продол- жал классичес- кую русскую тра- дицию художе- ственной прозы»
34	Пиранделло Луиджи	итальянец	1867—1936	1934	драматург
35	О'Нейл Евгений	американец	1888—1953	1936	драматург
36	Мартэн дю Гард Рожер	француз	1881—	1937	писатель
37	Бак Пёрл	англичанка	1892—	1938	писательница
38	Силлланпэ Франс	финн	1888—	1939	писатель
39	Иензен Иоганн	датчанин	1873—1950	1944	поэт
40	Мистраль Габриэла	чилийка	1889—1957	1945	поэтесса (настоя- щая фамилия Го- дой и Алькиада Люцилла
41	Хессе Герман	швейцарец	1877—	1946	писатель
42	Жид Андрэ	француз	1869—1951	1947	
43	Элиот Томас	англичанин	1888—	1948	поэт
44	Фолкнер Вильям	американец	1897—	1950	новеллист
45	Рассел, граф Бертран Артур, Вильям	англичанин	1872—	1950	философ
46	Лагерквист Фабиан	швед	1891—	1951	поэт
47	Мориак Франсуа	француз	1885—	1952	писатель

№№	Фамилия, имя	Националь- ность	Даты рож- дения и смерти	Год при- суждения премии	Примечания
48	Черчилль, сэр Уинстон	англичанин	1874—	1953	определение: «За мастерство исторического и биографического описания, а также за блестящее красноречие в защиту попранных человеческих ценностей»
49	Хемингвей Эрнест	американец	1898—	1954	
50	Лакснес Хальдор	ирландец	1902—	1955	писатель
51	Хименес Хуан	испанец	1881—	1956	поэт

Общее примечание: Пропущенные годы означают, что премия не выдавалась.

Премия 1958 года была присуждена Б. Л. Пастернаку за: «Значительный вклад как в современную лирику, так и в область великих традиций русских прозаиков».

На лестную оценку его творчества, Пастернак ответил человечно-взволнованной, радостной и полной скромности телеграммой:

«Бесконечно благодарен, тронут, горд, удивлен, смущен».

Записки сельского священника

(Окончание)

Под первым попавшимся предлогом — якобы рассчитаться за панихиды, которые графиня служит каждый семестр за умерших родных — я пошел сегодня в замок. Мое волнение было так велико, что при входе в парк я остановился и долго наблюдал за старым садовником Кловисом, который делал вязанки из сухого хвороста. Его спокойствие действовало на меня благотворно.

Слуга немного задержался, и я внезапно с ужасом вспомнил, что графиня заплатила по счету в прошлом месяце. Что сказать? Сквозь полупритворенную дверь я видел стол, накрытый к утреннему завтраку, из-за которого, вероятно, только что встали. Я хотел сосчитать чашки, цифры путались в моей голове. При входе в салон графиня пристально глядела на меня своими близорукими глазами. Мне показалось, что она пожала плечами, но без раздражения. Это могло значить: «Бедный мальчик! всё такой же, переменить его невозможно...» или что-нибудь в этом роде.

Мы вошли в маленькую комнату, находящуюся за залой, которая служит для приемов. Она мне указала на стул, я его не видел, ей пришлось его пододвинуть. Мне стало стыдно моей трусости.

— Я пришел говорить с вами о вашей дочери, — сказал я.

Наступила минута молчания. Поистине из всех созданий, над которыми день и ночь бдит Божье Провидение, я был самым покинутым, самым жалким. Но самолюбие как бы умерло во мне. Графиня перестала улыбаться.

— Я вас слушаю, — сказала она, — говорите без страха, я думаю, что знаю гораздо больше, чем вы, об этом несчастном ребенке.

— Графиня, — продолжал я, — только один Господь знает тайну каждой души. И даже самые проникательные ошибаются.

— А вы (она делала вид, что перемешивает угли со страстным вниманием)? Вы себя считаете проникательным?

Быть может, она хотела меня оскорбить. Но в эту минуту я был совершенно неспособен почувствовать обиду. Обычно во мне всегда побеждает ощущение общей немогущности нас, бедных созданий, нашей

непреодолимой слепоты, и это ощущение было тогда сильнее, чем когда-либо, это были словно тиски, сжимающие сердце.

— Графиня, — сказал я, — как бы высоко нас не поставило богатство или знатность, мы всегда чьи-нибудь слуги. А я — слуга всех. И слово «слуга» еще слишком возвышенно для бедного маленького священника, как я. Я должен был бы сказать, что я — вещь для всех или еще меньше, если это угодно Богу.

— Можно ли быть меньше вещи?

— Есть негодные вещи, вещи, которые люди выбрасывают за невозможностью ими воспользоваться. И, если бы, например, мое начальство решило, что я не способен исполнять скромную должность, которую оно мне доверило, я стал бы негодной вещью.

— Имея такое мнение о самом себе, я нахожу, вы слишком неосторожны, притязая...

— Я ни на что не притязую, — сказал я. — Эта кочерга — лишь орудие в ваших руках. Если бы Господь ей дал ровно столько сознания, чтобы самой лечь в ваши руки, когда она вам нужна, это было бы приблизительно то, чем я являюсь для вас всех, чем бы я хотел быть.

Она улыбнулась, хотя лицо ее, конечно, выражало иные чувства, чем веселость или иронию. Кроме того, я был поражен своим спокойствием. Быть может, оно в соединении со смирением моих слов являлось контрастом, который ее интриговал, смущал?.. Она посмотрела на меня несколько раз украдкой, вздыхая.

— Что вы хотите сказать о моей дочери?

— Я видел ее вчера в церкви.

— В церкви? Вы меня удивляете. Дочерям, взбунтовавшимся против своих родителей, нечего делать в церкви.

— Церковь для всех, графиня.

Она снова посмотрела мне прямо в лицо. Глаза, казалось, еще улыбались, тогда как нижняя часть лица выражала удивление, недоверие, невыразимое упорство.

— Вас обманула маленькая интриганка.

— Не вводите ее в отчаянье, — сказал я, — Бог это запрещает.

Я собрался с мыслями. Поленья трещали в печке. Сквозь батистовые занавески открытого окна, под угрюмым небом, виднелась громадная лужайка, кончающаяся черной стеною сосен. Она напоминала пруд с гниющей водою. Произнесенные мною слова заставили меня окаменеть. Еще четверть часа тому назад они не пришли бы мне в голову! А я чувствовал, что они непоправимы, что мне придется идти до конца. Да и тот человек, который был передо мною, никак не походил на того, каким я его воображал:

— Я никак не сомневаюсь, — продолжала она, — что вы пришли с самыми лучшими намерениями. Поскольку вы сами признаете свою неопытность, я не стану на ней останавливаться. Кроме того, бывают известные обстоятельства, в которых — будь он опытен или нет — мужчина никогда ничего не поймет. Только женщины умеют им посмотреть в лицо. Вы всё судите только по внешнему. А существуют такие неурядицы...

— Все неурядицы происходят от одного и того же отца, отца лжи.

— Есть разные неурядицы.

— Без сомнения, — сказал я, — но мы также знаем, что существует одно повеление: быть милосердными.

Она захохотала жестоким, полным ненависти смехом.

— Я никак не ожидала . . . — начала она. Но прочтя, как мне кажется, в моем взгляде удивление, жалость, она сразу же взяла себя в руки.

— Что знаете вы? Что она вам рассказала? Молодые девушки всегда несчастны, непоняты. И всегда находятся наивные люди, которые им верят . . .

Я посмотрел ей прямо в лицо. Откуда взялась у меня смелость сказать ей:

— Вы не любите вашей дочери.

— И вы осмеливаетесь! . .

— Графиня, Бог свидетель, что я пришел сюда сегодня утром с твердым намерением послужить вам всем. Но я слишком глуп, чтобы что-либо приготовить заранее. Вы сами продиктовали мне эти слова, и мне очень жаль, что они вас оскорбили.

— У вас, может быть, есть власть читать в моем сердце?

— Мне кажется, что да, — ответил я. Я боялся, что она потеряет терпение, оскорбит меня. Ее серые, обычно такие кроткие глаза, потемнели. Но она опустила голову, вороша пепел концом кочерги.

— Знаете ли вы, — сказала она кротко, — что ваше начальство строго бы осудило ваше поведение?

— Мое начальство может меня осуждать, если хочет, это его право.

— Я вас хорошо знаю, вы честный молодой священник, без тщеславия, без честолюбия, вы, без сомнения, не любите интриг, вас, вероятно, подучили. Эта манера говорить . . . эта уверенность . . . честное слово, мне кажется, что я брежу! Будьте же откровенны. Вы считаете меня за плохую мать, за мачеху?

— Я не могу себе позволить осудить вас.

— Но тогда? . .

— Я не могу себе также позволить осудить мадемуазель Шанталь. Но у меня есть опыт страдания, я знаю, что это такое . . .

— В ваши годы?

— Годы тут ни при чем. Я знаю также, что у страдания есть свой язык, что нельзя ему ставить каждое лыко в строку, осуждать за его слова, что страдающий хулит всё: общество, семью, родину, даже Бога.

— Может быть, вы это одобряете?

— Я не одобряю, я стараюсь понять. Священник, как врач, он не должен бояться ран, гноя, сукровицы. Все душевные раны гноятся.

Она внезапно побледнела и хотела подняться.

— Вот почему я не стал запоминать слова мадемуазель Шанталь, кроме того, я и не имел на это права. Священник внимателен только к страданию, если оно истинно. Слова же, его выражающие, не имеют значения. И даже если они ложны . . .

— Ложь и правда в одной категории. Хороша мораль!

— Я не преподаватель морали, — сказал я.

Она определенно теряла терпение, я всё ждал, что она попросит меня уйти. Она бы и хотела меня выгнать, но каждый раз, когда она

бросала взгляд на мое печальное лицо (я его видел в зеркале; зеленый отсвет лужайки делал его еще более жалким, более бледным), у нее дрожал подбородок и, казалось, она снова обретала силу и желание переубедить меня, оставить за собой последнее слово.

— Моя дочь просто ревнует к гувернантке, должно быть, она вам наговорила ужасов?

— Я думаю, она скорее ревнует своего отца.

— Ревнует своего отца? А что же я тогда?

— Надо было бы ее ободрить, успокоить.

— Значит, я должна была бы броситься к ее ногам, просить прощения?

— По крайней мере, не дать ей покинуть вас, родной дом, с отчаяньем в сердце.

— И всё же она уедет.

— Вы можете ее принудить. Бог будет Судья.

Я поднялся. Она встала одновременно со мною, и я прочитал в ее взгляде что-то похожее на ужас. Казалось, она боялась, что я ее покину и одновременно боролась с желанием всё сказать, открыть свою жалкую тайну. Она не могла ее больше удержать. Тайна выскользнула, как выскользнула и из рук другой, ее дочери.

— Вы не знаете, что я выстрадала. Вы ничего не знаете о жизни. Уже в пять лет моя дочь была такой же, как сегодня. «Всё и немедленно!» — вот ее девиз. Вы, священники, представляете себе семейную жизнь наивно и нелепо. Довольно вас послушать (она засмеялась) на похоронах: «Дружная семья, уважаемый отец, несравненная мать, утешительное зрелище, социальная единица, наша дорогая Франция и т. д. и т. д. . . .» Странно не то, что вы говорите эти слова, но то, что вы воображаете, что они могут тронуть и что вы их говорите с удовольствием. Семья, господин кюре . . . — Она остановилась внезапно, так внезапно, что, казалось, она подавилась — в прямом смысле — своими собственными словами. Боже! Была ли это та светская женщина, столь сдержанная, столь кроткая, которая, во время моего первого визита в замок, сидела, прикурнув в большом кресле, с лицом задумчивым под черными кружевами? . . . Даже ее голос так изменился, что я его едва узнавал: он стал крикливым, подчеркивающим окончания слов. Мне кажется, она отдавала себе в этом отчет и жестоко страдала от невозможности сдержаться. Я не знал, что думать о подобной слабости у женщины, обычно столь хорошо владеющей собою. Мою дерзость можно было бы еще объяснить: вероятно, я просто потерял голову и бросился вперед, как может сделать робкий человек, который, чтобы быть уверенным, что выполнит свой долг до конца, закрывает себе всякое отступление, отдает всё, без остатка. Но она? Ей было бы так легко меня смутить! Одной улыбки бы хватило.

Господи, неужели это из-за беспорядка в моих мыслях и сердце? Неужели томление, от которого я страдаю, заразительно? У меня определенно впечатление, что с некоторых пор лишь одно мое присутствие заставляет грех покидать свою берлогу, выходить на поверхность: в глаза, в уста, в голос . . . Можно сказать, что враг человеческий не находит даже нужным скрываться перед таким слабым противником, вызывает меня лицом к лицу, смеется надо мною.

Мы стояли друг против друга. Помню, что дождь хлестал по окнам. Помню также, что старый Кловис, окончив работу, вытирал руки о синий передник. По другую сторону передней слышался звон стаканов, передвигаемой посуды. Всё было мирно, легко, привычно.

— Странная жертва! — продолжала она. — Скорее хищный зверек. Вот что она такое.

Ее взгляд наблюдал за мною исподтишка. Мне нечего было ответить, я молчал. Казалось, это молчание раздражило ее до крайности.

— Не понимаю, почему я поверяю вам эти тайны? Неважно! Всё-таки я не стану вам лгать. Это правда, что я страстно желала сына. И он родился. Но прожил только полтора года. Сестра его уже ненавидела... Да, еще будучи ребенком, она его ненавидела. Что же касается отца...

Ей пришлось передохнуть, прежде чем она смогла продолжать. Глаза ее были неподвижны, ее упавшие руки старались зацепиться, опереться на что-то невидимое. Казалось, она скользила по скату.

— В последний день они ушли гулять вдвоем. Когда они вернулись, младенец умер. Больше они не расставались. И как она была ловка! Это слово вам, конечно, кажется странным? Вы воображаете, что девочка ждет совершеннолетия, чтобы стать женщиной, не так ли? Священники часто наивны. Когда котенок играет с клубком, я не знаю, думает ли он о мышке, но он делает именно то, что надо. Говорят, что мужчине нужна ласка. Согласна. Но особый род ласки, единственный — тот, который отвечает его природе, тот, ради которого он родился. К чему искренность? Разве мы, матери, не прививаем мальчикам с колыбели привычку ко лжи, ко лжи, которая успокаивает, ободряет, усыпляет, ко лжи нежной и теплой, как грудь? Словом, я скоро поняла, что эта девочка — хозяйка в моем доме, что я должна удовольствоваться вторыми ролями, быть зрительницей или прислугой. Я, которая жила воспоминанием о сыне, видела его повсюду — его стульчик, его одежда, сломанная игрушка, о горе! Да что говорить! Женщина моего рода не унижается до позорного соперничества. Кроме того, горю моему нельзя было помочь. Самые ужасные семейные обиды всегда смехотворны. Словом, я жила, жила между этих двух существ, будто созданных друг для друга, несмотря на их полную противоположность, и их общиническая забота обо мне раздражала меня до крайности. Да, осуждайте меня, если хотите, эта забота раздирала мне сердце, проливали в него яд, я бы предпочла их ненависть. Но я всё же выдержала, терпела свою муку в молчании. Я была молода тогда, я нравилась. Когда вы уверены, что нравитесь, что только от вас зависит полюбить и быть любимой, добродетель легка, по крайней мере, для таких женщин, как я. Одной гордости достаточно, чтобы нас удержать. Я не пренебрегла своими обязанностями. Порою я чувствовала себя даже счастливой. Мой муж не из больших людей, далеко до этого. Каким образом Шанталь, верно и даже жестоко судящая о людях, не поняла, что... Она ничего не понимала. До того дня... Заметьте, что я всю мою жизнь терпела бесконечные измены, такие грубые, такие пустые, что они мне не делали больно. Впрочем, из нас двух, не я, а она, без сомнения, была более обманутой!..

Она снова замолчала. Мне кажется, что я машинально положил на ее руку свою. Я дошел до крайней степени удивления, жалости.

— Я понял, графиня, — сказал я ей. — Мне бы не хотелось, чтобы когда-нибудь вы пожалели о том, что сказали такому ничтожному человеку, как я, вещи, которые должен был бы услышать только священник.

Она посмотрела на меня потерянным взглядом.

— Я пойду до конца, — сказала она свистящим голосом. — Вы этого хотели.

— Я этого не хотел!

— Не надо было приходить. Кроме того, вы умеете вызывать на откровенность, вы — хитрый маленький священник. Ну, что же! Кончим! Что вам сказала Шанталь? Постарайтесь ответить прямо.

Она топнула ногой, как ее дочь. Она стояла, опираясь рукой о камин, сжимая старый веер, лежащий там с другими безделушками; я видел, как его черепаховая ручка сломалась под ее пальцами.

— Она не выносит гувернантки, она никогда не выносила в этом доме кого бы то ни было!

Я молчал.

— Отвечайте же! Она вам сказала, что ее отец . . . О, не отрицайте. Я читаю в ваших глазах. И вы этому поверили? Жалкая девчонка, которая осмелилась . . .

Она не смогла окончить . . . Я думаю, что мое молчание или взгляд или нечто из меня исходящее — некая грусть — останавливали ее прежде, чем она успевала повысить голос, и каждый раз ей, дрожащей от вызова, приходилось продолжать своим обычным голосом, может быть, немного более хриплым. Я думаю, что это бессилие, раздражавшее ее вначале, стало ее беспокоить. Когда она разжала пальцы, сломанный веер выскользнул из ее руки, и она, покраснев, быстро засунула его осколки под стенные часы.

— Я погорячилась, — начала она, но притворная мягкость ее голоса звучала слишком фальшиво. Она была похожа на неловкого рабочего, который, перепробовав один за другим свои инструменты и не найдя того, что искал, бросает их с бешенством назад.

— Словом, это вы должны говорить. Зачем вы пришли, чего вы хотите?

— Мадемуазель Шанталь говорила мне о своем близком отъезде.

— Да, очень близком, в самом деле. Это было уже давно решено. Она вам солгала. По какому праву могли бы вы препятствовать . . . — продолжала она, стараясь засмеяться.

— У меня нет никакого права, я хотел только узнать ваши намерения и, если решение окончательно принято . . .

— Оно принято. Я не думаю, чтобы молодая девушка могла считать пребывание в близкой семье, в Англии, в течение нескольких месяцев, испытанием выше своих сил?

— Вот почему я желал договориться с вами, как принудить вашу дочь к покорности и послушанию.

— Послушанию? Вы ее скорее можете убить!

— Я в самом деле боюсь, что она дойдет до крайности.

— До крайности . . . Как вы это говорите! Вы хотите, вероятно, на-

мекнуть, что она себя убьет? Но это — последняя вещь, на которую она способна! Она теряет голову из-за ангины, она дико боится смерти. Только в этом она похожа на своего отца.

— Графиня, — сказал я, — именно такие люди и убивают себя.

— Полноте!

— Пустота притягивает тех, кто не смеет ей взглянуть в глаза, они бросаются туда из страха упасть.

— Этому вас могли только научить, вы это прочитали. Это превосходит ваш опыт. Вы боитесь смерти, вы?

— Да, графиня. Но позвольте мне говорить откровенно. Смерть — трудная перемена, она не для гордецов.

Терпение мое лопнуло.

— Я гораздо меньше боюсь своей смерти, чем вашей, — сказал я ей. Правда, в эту минуту я увидел ее мертвой, а, может быть, мне это показалось. Но, без сомнения, картина, которая представилась моему взгляду, должна была явиться и ей, так как я услышал притлушенный крик, как дикий стон. Она подошла к окну.

— Мой муж волен держать здесь того, кто ему нравится. Кроме того, гувернантка — без всяких средств, мы не можем ее выбросить на улицу, чтобы удовлетворить наглую девочку.

И снова она не смогла продолжать в этом тоне, голос ей изменил.

— Вполне возможно, что мой муж был слишком внимателен, слишком фамильярен с нею. Люди в его возрасте бывают часто сентиментальны... или думают ими быть.

Она снова остановилась.

— А если мне это безразлично? Я столько лет терпела глупейшие унижения — он обманывал меня со всеми горничными, низкопробными девками, настоящими замарашками — и я должна сейчас (когда я уже старая женщина и примирилась с мыслью его быть) открыть глаза, бороться, пойти на риск, и к чему? Нужно ли больше считаться с гордостью моей дочери, чем с моей? То, что я вытерпела, почему бы не вытерпеть и ей?

Она произнесла эту страшную фразу, не повышая голоса. Стоя в амбразуре огромного окна, с рукою, упавшей вниз, подняв другую над головой и теребя ею тюлевую занавеску, она бросала мне эти слова так, как выплевывают сжигающий яд. Сквозь залитые дождем стекла я видел парк, благородно-спокойный, величественные линии лужаек, торжественные старые деревья... Поистине, эта женщина должна была бы мне внушать только жалость. Но если обычно мне так легко принять на себя чужую вину, разделить ее стыд, — контраст этого мирного дома с ее ужасной тайной возмущал меня. Да, человеческое безумие казалось мне меньшим злом, чем их уторство, лукавство, скрытая поддержка, которую они даруют силам смущения и смерти на глазах Бога. Как! Невежество, болезни, нищета пытаются тысячи невинных, а когда Провидение чудом щадит приют, где бы мог воцариться мир, — страсти прокрадываются туда ползком и, угнездившись, воют день и ночь, как звери...

— Графиня, берегитесь! — сказал я ей.

— Беречься кого, чего? Вас, что ли? Не будем разыгрывать трагедии. То, что вы сейчас услышали, я еще никому не говорила.

— Даже вашему духовнику?

— Это моего духовника не касается. Это чувства, над которыми я не вольна. Впрочем, они никогда не влияли на мое поведение. Этот дом, господин аббат, христианский дом.

— Христианский! — вскричал я. Слово это ранило меня в грудь, оно жгло меня. — Конечно, вы принимаете здесь Христа, но что вы делаете с Ним? Он был и у Каиафы.

— Каиафы? Вы с ума сошли? Я не упрекаю ни мужа, ни дочь, что они меня не понимают. Известные недоразумения непоправимы. С ними приходится смиряться.

— Да, люди смиряются с отсутствием любви. Демон всё осквернил, даже смирение Святых.

— Вы рассуждаете, как простолюдин. В каждой семье есть свои тайны. Если бы мы выставили свои за окно, что бы изменилось? Столь часто обманутая, я могла бы быть неверной женой. В моем прошлом нет ничего такого, что заставило бы меня покраснеть.

— Да будут благословенны ошибки, возбуждающие наш стыд! Если бы только Господь захотел, чтобы вы презирали себя!

— Странная мораль.

— Да, это не мирская мораль. Что стоит в глазах Бога престиж, достоинство, знание, если всё это только шелковый саван на гнилом трупе?

— Может быть, вы предпочли бы скандал?

— Думаете ли вы, что бедные слепы и глухи? Увы! Нищета даже слишком пронизательна! Нет худшего легковерия, чем легковерие сытых желудков. О, вы легко можете скрыть от бедняков пороки ваших домов, они их узнают издали, по запаху. Нам прожужжали уши мерзостями язычников, но, по крайней мере, они не требовали от своих рабов иного подчинения, чем подчинения домашних животных и раз в год встречали с улыбкой отщепенца Сатурналий. Тогда как вы, злоупотребляя божественным Словом, поучающим бедных послушанию сердца, хотите похитить хитростью то, что вы должны были бы принять на коленях, как небесный дар. Нет худшего распутства в мире, чем лицемерие могущественных.

— Могущественных! Я могу вам назвать десяток фермеров, которые богаче нас. Мой бедный аббат, мы совсем маленькие люди.

— Вас считают господами, сеньерами. У могущества нет иного основания, чем иллюзия бедняков.

— Это фразы. Бедняков наши семейные истории не интересуют.

— О, графиня, — сказал я, — на свете есть только одна семья, великая семья людей, и ее глава — Христос. И вы, богатые, могли бы быть ее привилегированными сынами. Вспомните Ветхий Завет: там сокровища земли являются часто залогом небесного благоволения. И что же! Не было ли это большой милостью родиться свободными от всех тягот, которые превращают жизнь неимущих в однообразные поиски необходимого, в утомительную борьбу с голодом, жаждой — с этим ненасытным желудком, который ежедневно требует должного. Ваши дома должны были бы быть домами мира, молитвы. Неужели вас никогда не трогала верность бедных их наивному представлению о вас? Увы, вы говорите всегда об их зависти, не понимая, что они желают в

гораздо меньшей мере вашего богатства, чем чего-то иного, что они не умеют назвать, что восхищает порою их одиночество; этот сон о пышности, о величии, бедная мечта бедняка, благословенная Богом.

Она подошла ко мне, будто желая попросить уйти. Я чувствовал, что мои последние слова дали ей время оправиться, и я жалел, что их сказал. Перечитывая их, я чувствую беспокойство. О, я от них не отрекаюсь! Но они — только человеческое. Они выражают жестокое и глубокое разочарование моего детства. Конечно, другим, миллионам людей моего класса, моего рода, оно будет знакомо тоже. Оно — наследство нищего, оно — сама бедность. Бог хочет, чтобы нищий просил о величии, как и о прочем, тогда как оно исходит от него, без его ведома.

Я взял свою шляпу, которую положил на стул. Когда она увидела меня на пороге, взявшегося за ручку двери, всё ее существо пришло в движение; этот трепет взволновал меня. Я читал в ее глазах непонятное беспокойство.

— Вы странный священник, — сказала она голосом, дрожащим от нетерпения, нервности, — такого священника я еще не видела. Расстаемся же, по крайней мере, добрыми друзьями.

— Как мне не быть вашим другом, ведь я ваш священник, ваш пастырь!

— Фразы! Что знаете вы обо мне?

— То, что вы мне сами сказали.

— Вы хотите меня смутить, вам это не удастся. Во мне слишком много здравого смысла.

Я молчал.

— В конце концов, — сказала она, топнув ногою, — нас будут судить по нашим делам, как я предполагаю. В чем я согрешила? Правда, что мы с дочерью, как чужие. Но до сих пор мы этого не показывали. Наступила роковая минута. Я исполняю желание моего мужа. Если он ошибается . . . О, он думает, что дочь к нему вернется.

Что-то прошло по ее лицу, она закусила губу, но было поздно.

— А вы, думаете ли вы это, графиня? — сказал я.

Боже! Она отбросила голову назад, и я видел, да, я видел, как из глубины ее души, не знающей прощения, на одно мгновение поднялось, помимо ее воли, признание. Взгляд, застигнутый на лжи, говорил «да!», тогда как неизъяснимое движение внутреннего существа выбрасывало сквозь полуоткрытый рот — «нет!».

Мне кажется, что это «нет!» удивило ее самое, но она и не пыталась от него отречься. Ненависть между близкими опаснее всякой другой, потому что она удовлетворяется постепенно, постоянным контактом; она похожа на открытый нарыг, отравляющий медленно, без лихорадки.

— Графиня, — сказал я, — вы выбрасываете из дому ребенка и знаете, что это навеки.

— Это зависит от нее.

— Я не могу с этим согласиться.

— Вы ее совсем не знаете. У нее слишком много гордости, чтобы быть только терпимой здесь, она этого не вынесет.

Я потерял терпение.

— Бог вас накажет! — воскликнул я.

Она застонала, но не стоном побежденного, просящего пощады; это был скорее глубокий вздох существа, собирающего все свои силы для вызова.

— Наказать меня? Он уже наказал меня. Что может Он мне еще сделать? Он взял моего сына. Я больше Его не боюсь.

— Бог удалил его только на время, а ваша жестокость...

— Замолчите!

— Жестокость вашего сердца может разлучить вас навеки.

— Вы богохульствуете, Бог не знает мести.

— Бог не знает мести — это человеческие слова, они полны значения лишь для вас.

— Что же, мой сын меня возненавидит? Сын, которого я носила, кормила!

— Нет, вы не будете друг друга ненавидеть, вы просто друг друга не узнаете.

— Замолчите!

— Нет, я не замолчу! Священники молчали слишком часто; и хотелось бы, чтобы они молчали лишь из жалости. Но мы трусливы! Установив принцип, мы на этом успокаиваемся. И что же вы сделали из ада? Некий род вечной тюрьмы, похожей на ваши; вы запираете туда тайком, заблаговременно, человеческую дичь, людей, опасных для общества, за которыми ваша полиция охотится с начала мира. Вы готовы туда присоединить богохульников и святотатцев. Чья рассудительная душа, чье сильное сердце может примириться без отвращения с такой картиной Божьего Суда? Если же эта картина вам мешает, ее так легко отстранить. Люди судят об аде согласно представлениям этого мира, но ад не от мира сего. Он не нашего мира и еще менее — христианского мира. Вечное наказание, вечное искупление — чудо уже то, что мы вообще можем здесь иметь представление о нем, тогда как, не успев согрешить, довольно взгляда, знака, молчаливого зова, чтобы прощение низринулось на нас с вершины неба, как орел. Ведь самый жалкий из живых, если он даже думает, что утерял способность любить, обладает еще возможностью любить. Даже наша ненависть сияет так, что наименее терзаемый из демонов распустился бы пышным цветом на той почве, которую мы называем отчаянием, как в светоносном, торжествующем утре. Ад — это когда больше нельзя любить. Не любить — это звучит, как нечто знакомое. Не любить — для живого значит: меньше любить или любить что-либо иное. А если эта способность, которая нам кажется неразлучной с нашим существом, с самой сердцевинной сущности (ведь понимание — это тоже одна из возможностей любви) может всё же исчезнуть? Не любить, не понимать, и всё же жить, о диво! Общая ошибка, свойственная нам всем, состоит в том, что мы приписываем этим покинутым созданием что-то свое: наше вечное движение, тогда как они вне времени, вне движения, застывшие навеки. Горе нам! Если бы Бог и привел нас к одному из этих скорбных предметов, даже если бы он был когда-то нашим самым дорогим другом, на каком языке к нему обратиться? Поистине, если бы живой человек, подобный нам, хотя бы и последний из последних, подлейший из подлейших, был бы брошен таким, как он есть, в это огнен-

ное преддверие, я хотел бы разделить его участь, померяться силами с его палачом. Разделить его участь! Невообразимое несчастье этих горящих камней, которые были людьми, состоит в том, что с ними больше нечего разделить.

Мне кажется, что я привожу довольно точно мои слова; возможно также, что при чтении они производят некоторое впечатление. Но я совершенно уверен, что произнес их так неловко и так нескладно, что они должны были показаться смешными. Я едва мог произнести последние слова. Я был измучен. Если бы кто-нибудь мог меня видеть, как я, опираясь о стенку, мял пальцами свою шляпу рядом с этой — надменной женщиной, он принял бы меня за виноватого, напрасно старающегося оправдаться. (Без сомнения, я и был таким.) Она наблюдала за мною с чрезвычайным вниманием.

— Ведь нет греха, который бы мог оправдать... — сказала она хрипло. Мне казалось, что я ее слышу сквозь густой туман, заглушающий все звуки. И одновременно мною овладевала неизъяснимая грусть, против которой я был бессилен. Быть может, это было величайшим искушением моей жизни. Бог мне помог в эту минуту: я вдруг почувствовал на своей щеке слезу. Единственную слезу, какую можно увидеть на лицах умирающих в самое мучительное для них мгновение. Она увидела эту слезу.

— Слышали ли вы меня? — сказала она. — Поняли ли вы меня? Я говорила вам, что нет греха, который...

Я признался, что я ее не слышал. Она не спускала с меня глаз.

— Отдохните минутку, вы не в состоянии сделать десяти шагов, я сильнее вас. Полноте! Всё это не похоже на то, чему нас учили. Это мечты, поэмы. Я не считаю вас злым человеком. Я уверена, что, поразмыслив, вам будет стыдно этого гнусного шантажа. Ничто нас не может разлучить ни в этом, ни в ином мире с тем, кого мы любили больше себя, больше жизни, больше спасения души.

— Графиня, — ответил я, — даже в этом мире довольно бездельицы, маленького мозгового кровоизлияния или еще меньше, и мы больше не узнаем людей, которые нам были раньше дороги.

— Смерть — не безумие.

— Она нам еще более неизвестна.

— Любовь сильнее смерти, это написано в ваших книгах.

— Любовь не нами выдуманна. У нее свой строй, свои законы.

— Бог ею повелевает.

— Не Он повелевает любовью, Он Сам — Любовь: если вы хотите любить, не выходите из строя любви.

Она положила свои руки на мои, ее лицо почти касалось моего.

— Это дико, вы говорите со мной, как с преступницей. Измены моего мужа, равнодушие моей дочери, ее бунт, всё это, значит, ничто, ничто!

— Графиня, — сказал я, — я говорю с вами как священник, согласно тем откровениям, которые мне были даны. Вы ошибаетесь, принимая меня за иступленного. Как бы я ни был молод, я отлично знаю, что есть много семейств, как ваше или еще более несчастных. Но одно и то же зло, щадя одного, убивает другого, и мне кажется, что Бог мне дозволил увидеть опасность, которая угрожает вам и только вам.

— Это равносильно тому, чтобы сказать, что я причина всего.

— О, графиня, никто не знает наперед, что может выйти из дурного желания. Это относится одинаково и к дурным и к хорошим мыслям: из тысячи унесенных ветром, заглушенных тернием, высушенных солнцем, одна дает корни. Семена добра и зла летают повсюду. Несчастье в том, что человеческое правосудие приходит слишком поздно: оно осуждает или клеймит деяния, не умея подняться ни выше, ни дальше того, кто их совершил. Но наши тайные грехи отравляют воздух, которым дышат другие, и преступление, зародыш которого таился в душе несчастного человека против его воли, никогда бы не принесло плода, без этой основы тления.

— Это безумие, чистое безумие, нездоровые сны. (Она была смертельно бледна.) Если так думать, невозможно жить.

— Я тоже так думаю. Я думаю, что если бы Бог нам дал ясное представление о взаимной ответственности, связующей нас друг с другом в добре и зле, мы в самом деле не могли бы жить.

Читая эти строки, можно подумать, что я не говорил наугад, а следовал какому-то плану. Но было не так, клянусь. Я защищался, вот и всё.

— Можете ли вы мне сказать, в чем состоит этот тайный грех, — сказала она после долгого молчания, — червяк в плоде? . .

— Надо примириться с Волей Божией, открыть ваше сердце.

Я не смел говорить яснее об умершем младенце, слово же «примириться» удивило ее.

— Примириться? С чем? . .

Потом она внезапно поняла.

Мне случалось встречать закоренелых грешников. Большинство из них борется с Богом вслепую, и больно узнавать на лице старца, защищающего свой порок, глупое и одновременно упрямое выражение дующегося ребенка. Но на этот раз я видел бунт, настоящий бунт, разгоравшийся на человеческом лице. Он не проявлялся ни в неподвижном и как бы затуманенном взгляде, ни в линии рта, и голова, вместо того чтобы подняться горделиво, склонялась к плечу, сгибаясь под невидимой тяжестью. Самохвальство богохульников — ничто перед этой трагической простотою. Можно было сказать, что внезапная горячность воли, ее возмущение оставляли тело инертным, бесчувственным, истощенным слишком большим напряжением всего существа.

— Смириться? — сказала она тихим голосом, заолодившим сердце, — что вы подразумеваете под этим? Не смирилась ли я? Если бы я не смирилась, я бы умерла. Смириться! Я и так слишком смирилась! Мне даже стыдно (она не повышала голоса, но звук его был странен, в нем было что-то металлическое). О, я не раз завидовала тем слабым женщинам, которые больше не в состоянии подняться по такому склону. Но мы сделаны из песка и извести. Чтобы помешать этому жалкому телу забыть, надо было убить его. Но не всякий способен убить себя.

— Я не говорю о такой безропотности, вы это хорошо знаете, — сказал я.

— Чего же больше? Я хожу к обедне, я говею, я могла бы совсем

отойти от церкви, я даже об этом думала. Но мне это кажется ниже моего достоинства.

— Графиня, любое богохульство лучше подобных речей. В ваших устах жестокосердие ада.

Она замолчала, вглядываясь в стену.

— Как смеете вы так обходиться с Богом? Вы закрываете ему ваше сердце и вы...

— Я жила в мире с собой. Я бы и умерла так.

— Это больше невозможно.

Она выпрямилась, как гадюка.

— Бог мне стал безразличен. Если вы меня заставите признаться, что я Его ненавижу, будет ли это для вас шагом вперед, глупец?

— Вы Его больше не ненавидите, — сказал я. — Ненависть — это равнодушие и презрение. А вы теперь, наконец, лицом к лицу с Ним, Он и вы.

Она, не отвечая, смотрела в ту же точку в пространстве.

В эту минуту мною овладел непонятный ужас. Всё то, что я ей сказал, всё то, что она мне сказала, этот бесконечный диалог показались мне совершенно бессмысленным. Кто из благоразумных людей судил бы иначе? Без всякого сомнения я дал себя провести девушке, взбесившейся от ревности и гордости, мне показалось, что я читаю мысль о самоубийстве в ее глазах, желание самоубийства так же ясно, так же явственно, как слово, написанное на стене. Всё это было необдуманым побуждением, и страстность его подозрительна. Нет также никакого сомнения в том, что женщина, которая стояла передо мною, действительно прожила много лет в том ужасном спокойствии отверженных душ, которое является самым ужасным, самым неизлечимым, наименее человеческим видом отчаянья. Но подобное несчастье является именно тем, к которому священнику должно приближаться с трепетом. Мне хотелось сразу же согреть это ледяное сердце, принести свет в самый темный закоулок совести, которую Божье милосердие хотело, быть может, из жалости еще оставить во мраке. Что сказать? Что сделать? Я был похож на человека, который одним духом поднялся по головокружительному скату и теперь, открыв глаза, остановился ослепленный, не будучи в состоянии ни подняться, ни спуститься. И вот именно тогда, — нет, выразить это невозможно! — когда я боролся изо всех сил против сомнения и страха, вернулась ко мне способность молиться. Нужно, чтобы меня хорошо поняли: с самого начала этого необыкновенного разговора я не переставал молиться в том смысле, как это понимают суетные христиане. Несчастное животное под воздушным колоколом может делать все движения, сопровождающие дыхание, что толку! И вот внезапно воздух снова свистит в его бронхах, разглаживает одну за другой нежную легочную, уже увядшую ткань, артерии дрожат под напором крови, и всё существо подобно кораблю, сотрясающемуся от надувающихся парусов.

Она упала в кресло, закрыв лицо руками. Ее разорванная мантилья свисала с плеча; она ее медленно сорвала и бросила под ноги. Я не пропустил ни одного ее движения, и всё же у меня было впечатление, что нас больше не было в этой печальной маленькой гостиной, что комната была пуста.

Я видел, как она вытащила из своего корсажа медальон на простой серебряной цепочке. И всё с той же медлительностью, более ужасной, чем любая ярость, она открыла крышку; стекло покатилося на ковер, но она не обратила на это никакого внимания. В ее пальцах осталась золотистая прядь волос, похожая на золотую стружку.

— Поклянитесь мне . . . — начала она. Но тотчас же прочла в моем взгляде, что я понял и что я не стану клясться.

— Дочь моя, — сказал я ей (это слово пришло мне на уста совсем произвольно) — нельзя торговаться с Богом, надо предаться Ему без всяких условий. Отдайте Ему всё, Он вернет вам сторицей. Я не пророк и не вещун, а оттуда, куда мы все идем, вернулся только Он один.

Она не протестовала, только еще больше склонилась долу, и плечи ее дрожали при каждом слове.

— Я вам могу подтвердить лишь одно: царства живых и царства мертвых нет — есть только Царство Небесное, Царство живых и мертвых, и все мы в нем.

Я сказал эти слова; я мог бы сказать и другие, в те минуты это не имело значения! Мне казалось, что невидимая рука пробила брешь в невидимой стене, и мир сходил со всех сторон, величественно заполняя всё, мир, знакомый на земле, сладостный мир мертвых, словно глубокие воды.

— Мне это ясно, — сказала она чудесно измененным, но спокойным голосом. — Знаете ли вы, что я только что, минуту тому назад, думала? Может быть, не надо вам в этом признаваться? Так вот, я думала: если бы существовало где-нибудь, в этом или ином мире, место, где бы не было Бога — даже если бы я вынуждена была терпеть там тысячи мук, каждую секунду, вечно — я бы унесла туда моего! . . . (она не посмела назвать имени умершего младенца). И я бы сказала Богу: — Насытьтесь! Раздави нас! . . . Вам это кажется, конечно, ужасным?

— Нет, графиня.

— То есть как «нет»?

— Потому что и я . . . и со мною случается . . .

Я не мог кончить. Образ доктора Дельбанда стоял предо мною — на меня смотрели его старые усталые непреклонные глаза, взгляд, который мне было страшно понять. И мне слышался также (казалось, что слышу именно в эту минуту) стон, вырывающийся из груди стольких людей, вздохи, рыдания, хрип — всё наше жалкое человечество в то чилие, этот ужасный шопот.

— Полноте! — сказала она мне медленно. — Разве возможно? . . . Даже детей, даже маленьких детей с верным сердцем . . . Видели вы, как они умирают?

— Нет, графиня.

— Он послушно сложил свои ручки, лицо его стало важным, и . . . а я пыталась за минуту перед этим напоить его, и на его потрескавшихся губках оставалась еще капля молока . . .

Она задрожала, как лист. Мне казалось, что я стою один между Богом и этим измученным созданием. Будто кто-то громко стучал в мою грудь. Но Господь мне помог справиться.

— Графиня, — сказал я ей, — если бы наш Бог был богом язычников и философов (для меня это равносильно), Он мог бы уединить-

ся подальше, но наша скорбь низвергла бы Его оттуда. Но вы знаете, что наш Господь пришел нам навстречу. Вы можете Ему показывать кулаки, плевать в Лицо, хлестать бичами и, наконец, пригвоздить ко Кресту, что нужды? *Это уже всё сделано, дочь моя...*

Она не смела взглянуть на медальон, который всё держала в руке. Я был очень далек от того, что она собиралась сделать. Она мне сказала:

— Повторите эти слова... эти слова об... ад — это когда больше нельзя любить.

— Да, графиня.

— Повторите!

— Ад — это когда больше нельзя любить. Пока мы живы, мы можем воображать и верить, что мы любим сами, что любим мы вне Бога. Но мы похожи на безумных, которые протягивают руки к лунному отражению в воде. Простите меня, я выражаю очень плохо то, что думаю.

На губах ее появилась странная мертвая улыбка, которая не озарила застывшего лица. Она сжала медальон в кулаке, прижимая его другой рукою к груди.

— Что мне говорить?

— Говорите: «да придет Царствие Твое».

— «Да придет Царствие Твое».

— «Да будет Воля Твоя».

Она резко встала, прижимая руку к груди.

— Ведь это слова, которые вы повторяли бесчисленное число раз, — вскричал я, — теперь же их надо произнести от всего сердца!

— Я не читала «Отче наш» с тех пор... Но ведь вы это знаете, вы знаете всё, прежде чем вам скажешь, — продолжала она, на этот раз гневно пожимая плечами. Потом она сделала движение, смысл которого я понял лишь позднее. Весь лоб ее покрылся потом.

— Я не могу, — застонала она, — мне кажется, что я его снова теряю.

— То Царствие, которое вы только что призывали, принадлежит и вам и ему.

— Тогда да придет оно!

Взгляд ее встретился с моим, и мы стояли так несколько секунд, потом она сказала:

— Я предаю себя вам.

— Мне!

— Да, вам. Я согрешила перед Богом, должно быть я Его ненавижу. Да, теперь я думаю, что я умерла бы с этой ненавистью в сердце. Но я предаю себя только вам.

— Я только ничтожный человек. Это словно вы кладете золотой в дырявую руку.

— Еще час тому назад моя жизнь мне казалась такой, как надо, все вещи на своих местах, а вы в ней всё перевернули, всё.

— Отдайте ее таковой, как она есть, Богу.

— Я дам всё или ничего, я такая.

— Отдайте всё.

— О, вы не можете понять, вы думаете, что я стала послушной. Оставшейся во мне гордости хватило бы, чтобы вас проклясть!

— Отдайте вашу гордость со всем остальным, отдайте всё.

Едва я произнес эти слова, как в ее взгляде зажегся какой-то свет, но было слишком поздно, чтобы я мог помешать тому, что случилось. Она бросила медальон в огонь. Я стал на колени, я сунул руку в пламя, я не чувствовал ожога. На одно мгновение мне показалось, что я схватил прядь белокурых волос, но она выскользнула и упала на красные угли. За мною было такое ужасное молчание, что я не посмел отлянуться. Сукно моего рукава сторело до локтя.

— Как вы посмели! — пролепетал я. — Какое безумие!

Она отступила к стене, она прижималась к ней спиной, руками.

— Простите меня, — сказала она смиренно.

— Вы считаете Бога палачом? Он хочет, чтобы мы имели жалость к самим себе. Кроме того, наши страдания нам не принадлежат, Он их берет на себя, они в Его сердце. Мы не имеем права отбирать их, чтобы презреть и осквернить. Понимаете ли вы?

— Что сделано — сделано. Я больше не могу ничего изменить.

— Тогда да будет мир с вами, моя дочь, — сказал я. И я ее благословил.

Пальцы мои были в крови, кожа отставала кусками. Она разорвала платок и перевязала мою руку. Мы молчали. Мир, который я призывал на нее, сошел на меня, такой простой и обычный, что ничье присутствие не могло бы поколебать его. Мы так незаметно вернулись в каждодневную жизнь, что даже самый внимательный свидетель не уловил бы ничего из той тайны, которая нам уже не принадлежала.

Она просила меня, чтобы я исповедовал ее завтра. Я просил ее дать слово не рассказывать никому то, что случилось между нами, обещая в свою очередь сохранить тайну.

— Что бы ни случилось, — сказал я. Произнося эти слова, я почувствовал, что сердце мое сжалось; грусть снова овладела мною. Да будет воля Господня!

*

Я покинул замок в одиннадцать часов, и мне надо было немедленно же идти в Домбасль. На обратном пути я остановился там, где лес образует угол, и откуда открывается вся равнина, ее покатые, еле видимые склоны, которые медленно спускаются к морю. Я купил в деревне немного хлеба и масла, которые съел с аппетитом. Как и всегда, после решительного испытания в моей жизни, я чувствую некое оцепенение, притупление мысли, которое скорее приятно и дает мне странную иллюзию легкости, счастья. Какого счастья? Я не знаю. Это радость, не имеющая лица. То, что должно было случиться, случилось, его уже больше нет, вот и всё. Я вернулся домой очень поздно и встретил на дороге старого Кловиса, который мне передал маленький пакетик от графини. Я всё не решался его раскрыть, а между тем я знал, что в нем было. Это был маленький, теперь уже пустой, медальон с разорванной цепочкой.

Было и письмо. Очень странное:

«Господин кюре, я не думаю, что вы можете себе даже представить то состояние, в котором вы меня покинули — ведь эти психологические тонкости должны вам быть совершенно безразличны. Что вам сказать?

Воспоминание, близкое к отчаянию, о маленьком ребенке, держало меня в отдалении от всего, в ужасающем одиночестве, но мне кажется, что другой ребенок вывел меня из этого одиночества. Я надеюсь, вы не обидетесь, что я называю вас ребенком? Вы именно ребенок. Да сохранит вас Бог таким навеки!

Я стараюсь понять то, что вы сделали, и как вы это сделали. Или, вернее, я этого больше не стараюсь понять. Всё хорошо. Я не представляла себе, что безропотность возможна. И не безропотность пришла ко мне. Она не в моей природе, мое предчувствие меня не обманывало. Я не смирилась, я счастлива. Я больше ничего не желаю.

Не ждите меня завтра. Я пойду исповедоваться к аббату Х., как обычно. Я постараюсь открыть свою душу с предельной искренностью, но и с предельной сдержанностью, не так ли? Все это так просто! Когда я скажу: «Я добровольно прешла против надежды каждую минуту, в продолжении одиннадцати лет» — всё будет сказано. Надежда! Она была мертва в моих руках ужасным мартовским вечером, ветренным и опустошенным... Я чувствовала ее последнее дыхание на своей щеке, на месте, которое знаю. И вот мне ее снова вернули. Не дали взаимы — подарили! Моя надежда, только моя, совсем непохожая на то, что философы называют этим именем, подобно тому, как слово «любовь» не похоже на любимое существо. Эта надежда, словно плоть от моей плоти. Это несказанно. Нужны были бы слова ребенка.

Мне хотелось сказать вам всё это еще сегодня вечером. Это было необходимо. А потом, потом мы больше не будем говорить об этом, не так ли? Никогда не будем. Слово это сладостно. Никогда! Пока я его пишу, я произношу его шопотом, и мне кажется, оно изумительно, неизреченно выражает тот мир, который я получила от вас».

Я сунул это письмо в мои «Подражания», старую книгу, принадлежавшую маме, она еще пахнет лавандой, лавандой в мешочках, которую мама клала в свое белье, по старой привычке. Она читала ее не часто, так как шрифт очень мелкий и страницы так тонки, что ее бедные пальцы, потрескавшиеся от стирки, не могли их переворачивать.

Никогда... навеки... Почему? Правда, это слово сладостно.

Мне хочется спать. Чтобы закончить мой требник, мне пришлось ходить взад и вперед, глаза закрывались против моей воли. Счастливы ли я или нет, не знаю.

Половина седьмого.

Графиня умерла этой ночью.

Я провел первые часы этого ужасного дня в душевном состоянии, близком к возмущению. Возмущение — это непонимание, а я не понимаю. Можно переносить испытания, которые, на первый взгляд, кажутся выше наших сил — кто из нас знает свои силы? Но я себя чувствовал смешным в несчастье, неспособным сделать ничего полезного, помехой для всех. Эта постыдная скорбь была так велика, что я не мог удержаться от гримас. Я видел в зеркалах и в стеклах лицо, искаженное не столько горем, как страхом, с душераздирающим нервным подергиваньем рта, выражавшим одновременно и мольбу о пощаде и гнусную улыбку.

Пока я бесплодно волновался, каждый делал что мог, и люди кон-

чили тем, что оставили меня одного. Граф мною вовсе не занимался, а мадемуазель Шанталь делала вид, что меня не замечает. Событие случилось около двух часов ночи. Графиня упала с кровати и, падая, разбила будильник, стоящий на столе. Но труп обнаружили, конечно, гораздо позже. Ее левая, уже застывшая рука, осталась чуть согнутой. Она страдала в продолжение нескольких месяцев недомоганиями, которым доктор не придал значения. Вероятно, это была грудная жаба.

Я примчался в замок бегом, обливаясь потом. Не знаю, на что я надеялся. На пороге комнаты, чтобы войти, мне пришлось сделать большое усилие, нелепое усилие, мои зубы стучали. Неужели же я такой трус? Ее лицо было прикрыто кисеей, и я едва распознавал ее черты, но я видел очень ясно ее губы, касавшиеся ткани. Мне бы так хотелось, чтобы она улыбалась той непостижимой улыбкой мертвых, которая так подходит к их удивительному молчанию!.. Она не улыбалась. Искривленные губы выражали равнодушие, пренебрежение, почти презрение. Когда я поднял руку, чтобы ее благословить, рука была тяжела, как свинец.

По странному совпадению, две монахини, собирающие подаяния, пришли накануне в замок, и граф им предложил, по окончании обхода, отвезти их сегодня в автомобиле на вокзал. Они ночевали здесь. Я их нашел в комнате: тоненькие в своих слишком широких платьях, с грубыми маленькими загрязненными башмаками. Боюсь, что их удивило мое поведение. Они наблюдали за мною исподтишка, а я не мог сосредоточиться. Я весь оледенел, и только внутри, в груди была жаркая пустота. Мне казалось, что я упаду.

Наконец, с Божьей помощью, я смог помолиться. Сколько я себя сейчас ни вопрошаю, я не жалею ни о чем. Что мне жалеть? Впрочем, да! Мне думается, что я мог бы пободрствовать этой ночью, сохранить неприкосновенной еще несколько часов память об этом разговоре, которому было суждено быть последним. И первым тоже. Первым и последним. Счастлив ли я или нет? написал я... Глупец! Я только теперь знаю, что я никогда не испытывал, никогда не обрету больше такую полноту жизни, столь сладостные часы, наполненные присутствием, взглядом, жизнью человеческой, пока, прислонясь к столу вчера вечером, я держал в руках старую книгу, которой я доверил мое письмо, как верному, молчаливому другу. И то, что я должен был потерять так скоро, я добровольно похоронил во сне, в черном сне, без сновидений.

Теперь это кончено. Уже стирается воспоминание о живой, и память сохранит, я знаю, только образ мертвой, на которую легла рука Господня. Что может у меня остаться в памяти о столь нечаянных событиях, сквозь которые я шел ошупью, как слепой? Спасителю был нужен свидетель, и я был, вероятно, избран, за неимением лучшего, так, как зовут прохожего. Надо было бы быть безумным, чтобы вообразить, что мне дана была роль, настоящая роль. И так слишком велика милость, что Бог мне дозволил присутствовать при примирении души с надеждою, при этом торжественном браке.

Я должен был покинуть замок около двух часов, и занятия катехизисом продолжались гораздо дольше, чем я предполагал, так как мы в разгаре экзаменов за триместр. Я бы очень хотел провести ночь около

графини, но монахини всё еще там, а каноник де ла Мотт-Бэврон, дядя графа, решил бодрствовать с ними. Я не посмел настаивать. Кроме того, я не понимаю, почему граф чрезвычайно холоден со мною, это почти враждебность. Что думать?

Каноник де ла Мотт-Бэврон, которого я, очевидно, раздражаю, отвел меня на минуту в сторону, чтобы спросить, не упоминала ли графиня во время нашего вчерашнего разговора о своем здоровье. Я очень хорошо понял, что он молчаливо приглашает меня высказаться. Должен ли я был это сделать? Я этого не думаю. Надо было бы всё сказать. А тайна графини, которая мне никогда не принадлежала, принадлежит теперь меньше, чем когда-либо, или точнее: похищена у меня навеки. Могу ли я предвидеть, как ею воспользуются невежество, ревность, быть может, ненависть? Теперь, когда всё это ужасное соперничество не имеет больше смысла, могу ли я рискнуть разбудить его воспоминание? Ведь дело не только в воспоминании, я боюсь, что соперничество останется еще долго живым, оно из тех, которых смерть не всегда обезоруживает. И потом, если я повторю услышанное признание, не оправдает ли оно старую неприязнь? Мадемуазель Шанталь молода, а я знаю по опыту, как упорны, быть может, неизгладимы впечатления юности!.. Словом, я ответил господину канонику, что графиня выражала желание о восстановлении согласия между членами ее семьи.

— В самом деле? — сказал он сухо.

— Вы ее духовный отец, господин кюре?

— Нет.

Должен признаться, что его тон раздражал меня немного.

— Я думаю, что она была подготовлена предстать перед Богом, — прибавил я. Он посмотрел на меня немного удивленно.

Я вернулся в последний раз в комнату. Монахини кончали свои молитвы. Вдоль стен поставили цветы, принесенные друзьями, родными, которые не переставали приходить весь день и чей, почти радостный, шум наполнял дом. Каждую минуту окна озарялись фонарями автомобилей, я слышал скрип песка на аллеях, зовы шоферов, звук сирен. Всё это не прерывало монотонного мурлыканья добрых монахинь, их можно было бы сравнить с двумя пряжами.

Свет свечей сквозь кисею озарял лицо гораздо лучше, чем солнечный. Достаточно было нескольких часов, чтобы его умирить, смягчить; увеличившиеся круги под закрытыми веками говорили о задумчивом взгляде. Конечно, это было еще гордое лицо и даже повелительное. Но оно, казалось, отворачивалось от противника, которому раньше бросало вызов, чтобы медленно погрузиться в бесконечное, непостижимое раздумье. Как уже далеко было оно от нас, вне нашей власти. И внезапно я увидел ее бедные скрещенные руки, ее тонкие руки с длинными пальцами, более мертвые, чем лицо, и я узнал маленькую царапинку, которую заметил накануне, когда она прижимала медальон к своей груди. Коллодиум был еще замечен на царапинке. Не знаю почему, но именно тогда дрогнуло мое сердце. Память о борьбе, которую она выдержала предо мной, перед моими глазами, эта великая битва за вечную жизнь, из которой она вышла истощенной, непобежденной, пришла мне так живо на память, что я испугался, что упаду в обморок. Как мог я не угадать, что после такого дня не будет завтра, что мы бо-

ролись оба на крайней границе видимого мира, на краю светозарной пучины. Почему не упали мы в эту пучину оба! «Мир с вами», сказал я ей. И она приняла этот мир на коленях. Да пребудет он вечно с нею! Это я дал ей его. О, чудо, что можно подарить нечто, чего сам не имеешь, о сладостное чудо наших пустых рук! Надежда, умиравшая в моем сердце, расцвела в ее; дар молитвы, который я считал потерянным навеки, Бог вернул ей и, кто знает? — быть может, во имя мое... Да сохранит она его тоже, да сохранит она всё! Вот я ограблен, Господь, так, как только Ты умеешь это сделать, ведь ничто не ускользает от Твоего страшного попечения, от Твоей устрашающей Любви.

Я отодвинул кисею и коснулся пальцами высокого, чистого лба, полного молчания. И я, маленький бедный священник, я понял, стоя перед этой женщиной, столь превосходившей меня еще вчера своим возрастом, происхождением, богатством, умом — да, я понял, что такое отцовство!

Выходя из замка, я должен был пересечь галерею. Двери салона, а также двери столовой, были широко открыты; около стола теснились люди и грызли второпях сэндвичи, прежде чем вернуться домой. Таков обычай этой страны. Были среди них такие, которые, будучи застигнуты с полным ртом и надутыми щеками, при виде какого-либо члена семьи, старались изо всех сил принять печальный вид, полный сочувствия. Особенно старые дамы показались мне — я едва смею написать это слово — голодными, гнусными. Мадемуазель Шанталь повернулась ко мне спиной, и я услышал вслед себе как бы шопот. Кажется, говорили обо мне.

Я сел у окна. Там продолжается движение автомобилей, этот глухой шум праздника... Ее хоронят в субботу.



Я пошел сегодня рано утром в замок. Граф велел мне сказать, что он весь поглощен своим горем и не может меня принять, что каноник де ла Мотт-Бэврон будет в церковном доме сегодня после обеда, около двух часов, чтобы сговориться со мною относительно похорон. Что же случилось?

Добрые монахини нашли, что я так плохо выгляжу, что потребовали от лакея, без моего ведома, стакан портвейна, который я выпил с удовольствием. Этот парень, внук старого Кловиса, обычно вежливый и даже услужливый, ответил очень холодно на мою любезность. Правда, слуги богатых домов не любят фамильярности (вероятно, неловкой) таких людей, как я. Но он прислуживал за столом вчера вечером и, как я думаю, мог услышать некоторые разговоры. Какие?

У меня есть только полчаса, чтобы позавтракать, сменить теплую сутану (снова начинается дождь) и прибрать немного дом, который вот уже несколько дней в ужасающем беспорядке. Я не хотел бы шокировать каноника де ла Мотт-Бэврон, уже и так плохо настроенного по отношению ко мне. Следовательно, есть более важное дело, чем писать эти строки. А, между тем, этот дневник мне сейчас нужнее, чем когда-либо. То малое время, которое я ему посвящаю, является единственным, когда у меня есть желание разобраться в самом себе. Размышление стало для меня тягостным, память моя так плоха, — я го-

ворю о памяти на недавние события, так как иная память!.. — мое воображение так медлительно, что я должен заморить себя работой, чтобы оторваться от неопределенной бесформенной мечтательности, от которой, увы, даже молитва не всегда меня освобождает. Как только я останавливаюсь, я чувствую, что проваливаюсь в полусон, который замутняет все перспективы воспоминания, делает из каждого прошедшего дня туманный пейзаж, без меток, без дорог. При условии, что я добросовестно веду его утром и вечером, мой дневник ставит вехи в этом одиночестве; случается, что я сую последние листки в карман, чтобы перечитать их во время моих монотонных, столь утомительных прогулок из прихода в приход, когда я боюсь отдалиться этого рода головокругождению.

Не занимает ли этот дневник слишком большое место в моей жизни... Я этого не знаю. Бог один знает.

*

Каноник де ла Мотт-Бэврон только что вышел отсюда. Этот священник сильно отличается от того, каким я его себе представлял. Почему не говорил он со мною более ясно, более прямо? Он, вероятно, желал этого, но эти светские, столь корректные люди, по-видимому, боятся смягчиться.

Сначала мы обсудили все подробности похорон, которые, по желанию графа, должны быть приличными, не больше, согласно, как он утверждает, многократно высказанному желанию его супруги. Кончив это, мы долго молчали, я был очень смущен. Каноник, глядя в потолок, машинально открывал и закрывал крышку своих больших золотых часов.

— Я должен вас предупредить, — сказал он мне наконец, — что мой племянник Омэр (я не знал, что графа зовут Омэром) хочет вас видеть сегодня вечером наедине.

Я ответил, что назначил в четыре часа свидание пономарю, чтобы развернуть занавески, и что тотчас же после этого пойду в замок.

— Полноте, дитя мое, примите его в церковном доме. Вы ведь не капеллан замка, чорт возьми. И я бы вам даже посоветовал держаться весьма сдержанно и не позволяйте втянуть себя в обсуждение своих поступков, поступков священника.

— Каких поступков?

Он подумал, прежде чем ответить.

— Вы принимали мою внучатую племянницу здесь...

— Мадемуазель Шанталь пришла сюда, господин каноник.

— Это опасное, неукротимое существо. Она сумела вас тронуть, конечно.

— Я обошелся с нею жестоко. Мне кажется, что я ее унизил.

— Она вас ненавидит.

— Я не думаю этого, может быть она и воображает, что ненавидит меня, но ведь это не одно и то же.

— Вы думаете, что имеете на нее некоторое влияние?

— Не в данную минуту, во всяком случае. Но, может быть, она не забудет, что такой маленький человек, как я, сумел противостоять ей однажды, и что нельзя обманывать Бога.

— Она рассказывает совершенно иное о вашем свидании.

— На здоровье. Мадемуазель Шанталь слишком горда, чтобы не устыдиться рано или поздно своей лжи, ей будет стыдно от этого. Ей было бы полезно устыдиться.

— А вам?

— Мне! — сказал я ему, — посмотрите на мое лицо. Если Господь Бог его создал для чего-либо, так это только для пощечин, а я их еще никогда не получал.

В эту минуту взгляд его упал на кухонную приоткрытую дверь, и он увидел стол, еще накрытый клеенкой, с остатками моего обеда: хлеб, яблоки (мне принесли вчера корзинку) и бутылка вина, пустая на три четверти:

— Вы не слишком заботитесь о своем здоровье.

— У меня очень прихотливый желудок, — ответил я ему, — он переваривает очень немного: хлеб, фрукты, вино.

— В том состоянии, в котором я вас вижу, мне кажется, вино вам скорее вредно, чем полезно. Иллюзия здоровья не есть здоровье.

Я пытался ему объяснить, что это вино — старое бордо, привезенное смотрителем за охотой. Он улыбнулся.

— Господин кюре, — продолжал он тоном равного с равным, почти с оттенком уступчивости, — вполне возможно, что у нас нет ни одного общего мнения относительно управления приходом, но вы — здесь хозяин, вы имеете на это право, достаточно вас только послушать. Я слишком часто подчинялся в жизни, чтобы не иметь точного представления о настоящей власти, безразлично где бы мне она ни встретилась. Используйте же вашу власть осторожно. Она должна быть велика над некоторыми душами. Я — старый священник, я отлично знаю, как семинарское воспитание нивелирует характеры, часто даже до того, чтобы смешать их с общей посредственностью. Но с вами оно ничего не могло поделать. И причина вашей силы в том, что вы не знаете или не смеете себе отдать отчет, до какой степени вы не похожи на других.

— Вы смеетесь надо мною, — сказал я ему. Мной овладело странное беспокойство, я чувствовал, что дрожу от страха под этим непонятным взглядом, хладнокровие которого меня леденило.

— Дело не в сознании своей власти, а в способе ею пользоваться, так как именно это делает человека. Что стоит власть, которой никогда не пользуются или которой пользуются наполовину? Как в больших, так и малых делах вы пользуетесь вашей властью до конца и, вероятно, без вашего ведома. Это многое объясняет.

Он взял с моего письменного стола лист бумаги, пододвинул к себе ручку, чернильницу. Затем передвинул всё это ко мне.

— Мне совершенно незначет знать, что случилось между вами и . . . и покойницей — сказал он. — Но я хотел бы оборвать глупые и, без сомнения, вредные разговоры. Племянник мой переворачивает всё вверх дном, Его Преосвященство так прост, что он принимает его за персону. Резюмируйте в нескольких строках ваш позавчерашний разговор. Нет речи о том, чтобы быть неточным, еще менее (он подчеркнул эти слова) открыть то, что было доверено не только вашей чести священника, это и так ясно, но даже просто вашей скромности. Кроме то-

го, этот лист покинет мой карман только для того, чтобы быть переданным Его Преосвященству. Но я побаиваюсь сплетен.

Так как я не отвечал, он еще раз пристально поглядел на меня своими намеренно потухшими, своими мертвыми глазами. Ни один мускул его лица не дрогнул.

— Вы мне бросаете вызов, — продолжал он спокойным, уверенным, не переносящим возражения голосом.

Я ответил, что не понимаю, каким образом подобный разговор может быть предметом рапорта, что он не имел свидетелей и что, следовательно, только одна графиня могла бы разрешить его разглашение. Он пожал плечами.

— Вы не знаете канцелярских нравов. Ваше свидетельство, подавленное мною, будет принято с благодарностью, его зарегистрируют, и о нем забудут. Иначе вы запутаетесь в устных, совершенно бесполезных объяснениях, так как вы никогда не сумеете говорить их языком. Даже если вы будете утверждать, что дважды два — четыре, они всё же примут вас за иступленного, за сумасшедшего.

Я молчал. Он положил мне руку на плечо.

— Ну, что же, бросим это. Я вас увижу завтра, если позволите. Я не скрою от вас, что пришел, чтобы вас приготовить к визиту моего племянника, но это ни к чему. Вы не из тех людей, которые, начав говорить, ничего не скажут, — а, к сожалению, это именно то, что нужно.

— В конце концов, — вскричал я, — что я сделал плохого, в чем они меня упрекают?

— В том, что вы такой, как вы есть, а этого нельзя изменить. Что же вы хотите, мое дитя, эти люди не то что ненавидят вашу простоту, но от нее обороняются, она, как огонь, который их жжет. Вы гуляете по белу свету со своей жалкой смиренной улыбкой, просящей прощения, и с факелом в руке, который вы принимаете за посох. Девять раз из десяти они его вырвут у вас из рук и затопчут ногами. Но достаточно минуты рассеянности, вы понимаете? . . Впрочем, если говорить откровенно, я не был слишком высокого мнения о моей покойной племяннице; дочери Трэвиль-Соммеранжа были всегда странными, и я думаю, что даже чорту не удалось бы вырвать вздох из их уст и слезу из глаз. Попробуйте встретиться с моим племянником, говорите с ним, как вы найдете нужным. Помните только, что он дурак. И не считайтесь ни с именем, ни с титулом, ни с другим вздором, с которым, как я боюсь, вы, по великодушию, слишком считаетесь. Нет больше аристократии, дорогой друг, зарубите это себе на носу. Я знал двух или трех аристократов во дни моей юности. Это были странные, но чрезвычайно своеобразные люди. Они мне напоминали те двадцатисантиметровые дубы, которые японцы разводят в маленьких горшках. Маленькие горшки — это наши обычаи, нравы. Нет семьи, которая могла бы устоять против медленного истощения скупостью, когда закон одинаков для всех, а общественное мнение — судья и повелитель. Сегодняшняя аристократия — это бесчестные буржуа.

Я проводил его до двери и даже прошелся с ним немного по дороге. Я думаю, что он ждал от меня откровенности, доверия, но я предпочел молчать. В эту минуту мне было трудно перебороть тягостное впечатление, которого я, впрочем, и не сумел скрыть от его странного взгляда.

да, останавливавшегося на мне порою с холодным любопытством. Как сказать ему, что я совершенно не думаю об обидах графа и что мы с ним говорили о разных вещах?

Сейчас так поздно, что бесполезно идти в церковь, пономарь, верно, уже сделал всё, что нужно.

Визит графа не разъяснил ничего. Я убрал со стола, привел всё в порядок, но, конечно, забыл закрыть дверь шкапа в стене. Как и каноник, первое, на что он обратил внимание, была бутылка вина. Можно было бы биться об заклад, что это будет так. Когда я думаю о моем каждодневном меню, которым бы даже многие бедные не удвоились-вались, меня немного раздражает это удивление, когда люди констатируют, что я пью не только воду. Я поднялся медленно навстречу и запер дверь.

*

Граф был очень холоден, но вежлив. Я думаю, что он не знал о посещении своего дяди, и мне пришлось снова обсуждать детали похорон. Он знает тарифы лучше меня, торговался о цене восковых свечей и указал сам, одним росчерком пера, на плане церкви точное место, где бы он хотел, чтобы стоял катафалк. Но на лице его всё же заметна печаль, усталость, даже голос его изменился, стал менее неприятно гундосым, чем всегда, и в своем черном, очень скромном костюме, в грубых ботинках, он похож на какого-то богатого мужика. Этот старый принаряженный человек, думал я, неужто это спутник одной, отец другой!.. Увы, мы говорим: семья, семьи, как говорим: родина. Надо бы много молиться о благополучии семейств. Я боюсь за них. Господи, помилуй их!

И всё же я уверен, что каноник де ла Мотт-Бэврон меня не обманул. Несмотря на все свои усилия, граф делался все более нервным. К концу мне даже показалось, что он заговорит, но в эту минуту произошла ужасная вещь. Роясь в моем письменном столе, чтобы найти один печатный формуляр, который нам был нужен, я разбросал повсюду бумаги. Пока я их торопливо клал на место, мне показалось, что я слышу за своей спиной его ускоренное короткое дыхание; я ждал с минуты на минуту, что он прервет молчание, я нарочно затягивал свою работу, но охватившее меня чувство было настолько сильным, что я внезапно обернулся и чуть его не толкнул. Он стоял рядом, очень красный, и протягивал мне вчетверо сложенную бумагу, которая упала под стол. Это было письмо графини, я чуть не вскрикнул, и пока я его брал из рук графа, он должен был заметить, что я весь дрожу, так как наши пальцы скрестились. Мне даже кажется, что он испугался. После нескольких незначительных фраз мы церемонно простились. Я пойду в замок завтра утром.

Я не спал всю ночь, занимается день. Окно мое осталось открытым, и я весь дрожу. Я едва могу держать перо в руке, но, кажется, мне легче дышать, я стал спокойнее. Конечно, я не мог бы спать, но этот пронизывающий меня холод заменяет мне сон. Час или два тому назад, пока я молился, сидя на корточках, прижавшись щекой к столу, я почувствовал себя вдруг таким опустошенным, что мне показалось, будто я умираю. Это было сладостное ощущение.

На мое счастье в бутылке осталось еще немного вина. Я его выпил горячим и положил в него много сахара. Надо признаться, что в моем возрасте нельзя поддерживать свои силы несколькими стаканами вина, овощами и редким куском сала. Я определенно делаю большую ошибку, откладывая со дня на день посещение лильского доктора.

Но я всё-таки не думаю, что я трус. Мне, конечно, очень трудно бороться против того оцепенения, которое не является ни равнодушием, ни покорностью, и в котором я ищу, почти против воли, средство от своей болезни. Отдаться на волю Божию так легко, когда ежедневный опыт вам показывает, что вы сами ничего доброго сделать не можете! Но ведь можно кончить тем, что любовно принять, как милость, унижения и несчастья, которые просто являются фатальным последствием нашей глупости. Огромная услуга, которую оказывает мне этот дневник, состоит в том, что он меня заставляет выделить ту долю огорчений, в которой я сам повинен. И в этот раз тоже стоило мне лишь положить перо, чтобы пробудилось во мне чувство моей глубокой необъяснимой беспомощности, моей сверхъестественной неловкости делать добро.

(Еще четверть часа тому назад, кто мог бы поверить, что я могу написать эти мудрые строки? А я их, однако, написал.)

*

Я пошел вчера утром в замок, как обещал. Мне открыла мадемуазель Шанталь. Это было для меня предостережением. Я надеялся, что она меня примет в зале, но она меня почти втолкнула в маленький салон, ставни которого были закрыты. Сломанный веер лежал еще на камине, за часами. Мне кажется, что мадемуазель Шанталь перехватила мой взгляд. Лицо ее было еще жестче, чем всегда. Она хотела было сесть в кресло, где два дня тому назад... В эту минуту я поймал в ее взгляде как бы молнию, и я ей сказал:

— У меня очень мало времени, я буду говорить стоя.

Она покраснела, рот задрожал от пневы.

— Почему?

— Потому что мне здесь не место, и вам тоже.

Она сказала ужасную вещь, столь чуждую ее возрасту, что я вынужден думать: она ей была внушена демоном. Она мне сказала: «я не боюсь мертвых». Я повернул ей спину. Она бросилась между мной и дверью, преградила порог протянутыми руками.

— Разве лучше играть комедию? Если бы я могла молиться, я бы молилась. Но нельзя молиться с этим... — Она показала на грудь.

— С чем?

— Называйте это как хотите, я думаю, что это радость. Я угадываю: вы считаете меня чудовищем?

— Чудовище не существует.

— Если «тот свет» похож на то, что рассказывают, моя мать должна понять. Она меня никогда не любила. После смерти моего брата она меня ненавидела. Разве я не права, будучи откровенной?

— Мое мнение не имеет для вас значения...

— Вы знаете, что имеет, но вы не удостоиваете признаться в этом. В сущности, ваша гордость стоит моей.

— Вы говорите, как ребенок, — сказал я. — Вы и богохульствуете, как ребенок. — И я сделал шаг к двери, но она держала двери руками.

— Учительница укладывается. Она уезжает в четверг. Вы видите, я умею добиваться того, чего хочу.

— Не все ли равно, — сказал я ей, — это вас не подвинет вперед. Если вы останетесь такой, как сейчас, вы всегда найдете кого ненавидеть. И если бы вы были способны меня выслушать, я бы даже добавил...

— Что?

— Что вы ненавидите себя, и только себя!

Она задумалась на минуту.

— Ба, — сказала она, — я возненавижу себя, если не получу того, что хочу. Надо, чтобы я была счастлива, или... Кроме того, это их вина. Зачем они меня заперли в грязном домишке? Я думаю, есть девочки, которые даже здесь нашли бы способ быть несносными. Это утешает. Но я ненавижу сцены, они унижают, я способна терпеть что угодно, не подавая вида. Когда вся ваша кровь кипит в жилах, какое наслаждение не поднимать голоса, сидеть с полужакрытыми глазами, спокойно склонившись над своей работой и покусывать свой язык! Моя мать была такой же, вы это знаете. Мы могли сидеть часами, работая рядом, погруженные каждая в свои мечты, в свою злобу, а папа, конечно, не замечал ничего. В эти минуты чувствуешь не знаю что, какую-то сверхъестественную силу, которая собирается в глубине, и целой жизни не хватит, чтобы ее растратить... Конечно, вы меня считаете лгуньей, притворщицей?

— Имя, которое я вам даю, знает Бог, — сказал я ей.

— Это и приводит меня в бешенство. Никто не знает, что вы думаете. Но вы меня узнаете такой, как я есть, я этого хочу! Правда ли, что люди умеют читать в душах, верите ли вы в это? Как это может быть?

— Вам не стыдно этой болтовни? Неужели вы думаете, что я уже давно не угадал, что вы мне сделали зло, не знаю какое, и горите желанием мне в этом признаться?

— Да, понимаю. Вы будете мне говорить о прощении, играть роль мученика?

— Не заблуждайтесь, — сказал я, — я — слуга могущественного Властелина и как священник я могу отпускать грехи только от Его имени. Милосердие совсем не то, что люди думают и, если вы хотите хорошенько поразмыслить о том, что вы раньше учили, вы согласитесь со мною, что есть время милосердия и время суда и что единственное непоправимое несчастье состоит в том, чтобы предстать однажды без раскаянья перед Лицом Того, Кто прощает.

— Ну, тогда вы ничего не узнаете, — сказала она. И отошла от двери, оставив свободный проход. В ту минуту, когда я хотел перешагнуть порог, я увидел ее в последний раз; она стояла у стены, опустив руки, склонив голову на грудь.

Граф вернулся только через четверть часа. Он возвратился с поля, весь в грязи, с трубкой в зубах, счастливый. Мне показалось, что от него пахло алкоголем. Он удивился, найдя меня тут.

— Моя дочь вам дала бумаги, это подробности похорон моей тещи, которую хоронил ваш предшественник. Я желаю, чтобы всё было так же, кроме незначительных деталей.

— К сожалению, тарифы с тех пор изменились.

— Повидайтесь с моей дочерью.

— Но мадемуазель мне ничего не передала.

— Как! Вы ее не видели?

— Я только что ее видел.

— Не может быть! Позовите мадемуазель, — сказал он горничной.

Мадемуазель оставалась в маленьком салоне, я даже думаю, что она стояла за дверью, так как появилась немедленно. Лицо графа изменилось так быстро, что я не поверил своим глазам. Он казался страшно смущенным. Она посмотрела на него печально, с улыбкой, как смотрят на безответственного ребенка. Она даже сделала мне знак головой. Как поверить в подобное хладнокровие такого молодого существа!

— Мы говорили о другом, господин кюре и я, — сказала она тихим голосом. — Я нахожу, что вы должны ему предоставить полную свободу, эти китайские церемонии абсурдны. Надо также, чтобы вы подписали чек для мадемуазель Феран. Не забудьте, что она уезжает сегодня вечером.

— Как сегодня вечером! Она не будет на похоронах? Это всем покажется странным.

— Всем! Я скорее бы спросила, кто заметит ее отсутствие? А кроме того, что вы хотите? — она предпочитает уехать.

Мое присутствие явно стесняло графа, он покраснел до ушей, но голос мадемуазель Шанталь был всё так же ровен и спокоен, что невозможно было не отвечать ей в том же тоне.

— Шесть месяцев жалованья, — продолжал он, — я нахожу это преувеличенным, смешным...

— А, между тем, именно эту сумму вы назначили с мамой, когда говорили о том, чтобы ее отпустить. Кроме того, этих трех тысяч франков еле хватит, — бедная мадемуазель! — для путешествия; путешествие морем стоит две тысячи пятьсот.

— Как морское путешествие! Я думал, что она отдохнет в Лилле у своей тетки Премогис?

— Вовсе нет. Вот уже десять лет, как она мечтает о путешествии по Средиземному морю. Я думаю, что она имеет полное основание развлекаться путешествием. Жизнь здесь была не слишком веселой.

— Отлично, храните для себя самой эти мысли. И чего вы еще дожидаетесь?

— Чека. Ваша чековая книжка в письменном столе в салоне.

— Оставьте меня в покое!

— Как вам угодно, папа. Я только хотела вас освободить от обсуждения этих вопросов с мадемуазель, которая очень расстроена.

Впервые он взглянул в лицо своей дочери, но она выдержала этот взгляд с невинным и удивленным видом. И хотя я не мог сомневаться в том, что в эту минуту она играла ужасную комедию, в ее манере держаться было благородство, достоинство, еще детское, ранняя горечь, которая заставляла сжиматься сердце. Конечно, она осуждала своего

отца, этот суд был окончателен и, вероятно, беспощаден, но не лишен грусти. И не презрение, а именно эта грусть предавала в ее власть старого человека, так как в нем, увы, не было ничего, что могло бы быть согласовано с этой грустью, он даже не понимал ее.

— Я подпишу твой чек, — сказал он ей. — Приходи через десять минут. — Она поблагодарила его улыбкой.

— Это очень деликатный, очень чувствительный ребенок, ее надо очень щадить, — сказал он мне высокомерным тоном. — Учительница ее не слишком щадила. Пока была жива мать, бедная женщина могла предупредить стычки, а теперь...

Он пошел впереди меня в столовую и не предложил мне стула.

— Господин кюре, — продолжал он, — лучше всего говорить с вами откровенно. Я уважаю духовенство, вся моя семья была всегда в прекрасных отношениях с вашими предшественниками, но это были отношения, основанные на уступчивости, на уважении или, в исключительных случаях, на дружбе. Я не хочу, чтобы священник вмешивался в мои семейные дела.

— Случается, что нас вмешивают против нашей воли, — сказал я ему.

— Вы — невольная причина... по крайней мере, бессознательно... очень большого несчастья. Я желаю, чтобы разговор, который у вас был с моей дочерью, был бы последним. Все, и даже ваше начальство, согласится, что такой молодой священник, как вы, не может претендовать на руководство совестью молоденькой девушки. Шанталь и так слишком впечатлительна. В религии, конечно, много хорошего. Но главная задача церкви — это охранять семью, общество; она осуждает все излишества, она сила порядка, меры!

— Каким образом, — сказал я ему, — я мог быть причиной несчастья?

— Мой дядя, ла Мотт-Бэврон, объяснит вам это. С вас достаточно знать, что я не одобряю ваше безрассудство и что ваш характер, так же как и ваши привычки, мне представляются опасными для прихода. Имею честь кланяться.

Он повернул мне спину. Я не решился подняться наверх, в комнату. Мне кажется, что приближаться к мертвым можно лишь с ясной душою. Я был слишком взволнован услышанными словами, в которых не находил никакого смысла. Мой характер! Да будет так! Но привычки? Какие привычки? *

Я вернулся в церковный дом дорогой, называемой, не знаю почему, дорогой Рая — грязной тропинкой между двумя изгородями. Мне пришлось сразу же бежать в церковь, где меня давно ждал пономарь. Моя материальная часть в весьма печальном виде, и я должен признаться, что основательный инвентарь, сделанный вовремя, избавил бы меня от многих забот.

Мой пономарь — старый и довольно брюзгливый человек, который под утрюмыми и даже грубыми манерами скрывает капризную причудливую чувствительность. В среде крестьян можно встретить гораздо чаще, чем люди думают, эти почти женственные нравы, которые кажутся привилегией богатых и праздных людей. Бог только знает, как хрупки, сами того не зная, люди, замыкающиеся поколениями, по-

рою в продолжение веков, в молчании, глубину которого они не в состоянии измерить, так как у них нет никакой возможности его прервать, да они об этом и не думают, наивно соединяя в одно монотонный каждодневный труд с медленным движением своих грез... до того дня, когда иногда... О, одиночество бедных!

Выколотив драпировки, мы присели на минутку отдохнуть на каменной скамье ризницы. Я видел его в сумраке, его громадные руки скрестились на худых коленях, корпус был наклонен вперед, короткая прядь седых волос прилипла к вспотевшему лбу.

— Что думают обо мне в приходе? — спросил я внезапно.

Так как я всегда разговаривал с ним только о незначительных вещах, то мой вопрос мог показаться нелепым, и я совершенно не ожидал его ответа. По правде говоря, он заставил меня долго ждать.

— Они рассказывают, что вы почти ничего не едите, — сказал он, наконец, замогильным голосом, — и что во время уроков катехизиса вы морочите голову девочкам историями о «том свете».

— А вы? Что вы думаете обо мне, Арсен?

Он размышлял еще дольше, чем в первый раз, так что я уже занялся своей работой и повернулся к нему спиной.

— Как мне кажется, вы еще не созрели.

Я засмеялся через силу, смеяться мне совсем не хотелось.

— Что делать, Арсен, это придет!

Но он продолжал, не слушая меня, размышлять медленно и упорно.

— Священник вроде нотариуса. Он появляется, когда в нем нужда. Не надо никому надоедать.

— Однако, Арсен, нотариус работает для себя, я же работаю для Бога. Люди редко обращаются сами к Богу.

Он поднял свою палку и прижал подбородок к рукоятке. Можно было подумать, что он спит.

— Обратить... — продолжал он, наконец, — обратить... Мне семьдесят три года, я никогда этого не видел. Каждый рождается таким или другим и так же умирает. Вся наша семья церковники. Мой дед был звонарем в Лионе, моя покойная мать прислугой у Вилманского священника, и не было случая, чтобы один из нас умер без причастия. Этого требует кровь, ничего не поделаешь.

— Вы их всех встретите «там», — сказал я ему.

На этот раз он размышлял очень долго. Я наблюдал за ним искаса, занимаясь своей работой, и уже потерял всякую надежду его утешать, когда он произнес свое последнее изречение расслабленным, забываемым голосом, который, казалось, доходил из глубины веков.

— Когда человек умер, все умерло с ним, — сказал он.

Я притворился, что не понимаю. Я не чувствовал себя способным ответить, да и к чему? Он, конечно, не думал оскорбить Бога этим богохульством, которое было только признанием своего бессилия представить себе вечную жизнь, о которой его жизненный опыт не давал ему никакого твердого свидетельства, но которую смиренная мудрость его расы показывала ему непреложной и в которую он верил, ничем не умея выразить этой веры, как законный, хотя и роппущий наследник несметного количества крещеных предков... Всё же мне стало

холодно на душе, сердце во мне внезапно упало, я отговорился мигренью и ушел один в ветер, в дождь.

Теперь, когда эти строки уже написаны, я гляжу с изумлением в окно, раскрытое в ночь, на беспорядок на моем столе, на тысячи знаков, видимых лишь моим глазам, где как бы мистическим языком вписано великое томление последних часов. Вижу ли я теперь яснее? Или сила предчувствия, давшая мне возможность соединить в один узел события, незначительные сами по себе, притупилась от усталости, бессонницы, отвращения? Я не знаю. Всё это мне кажется нелепым. Почему не потребовал я объяснения от графа, которое даже каноник ла Мотт-Бэврон считал необходимым? Прежде всего потому, что я подозреваю какое-то ужасное коварство со стороны мадемуазель Шанталь и боюсь о нем узнать. И потом, пока усопшая будет находиться под своей крышей, то есть до завтрашнего дня, пусть все молчат. Может быть, позже... Но «позже» никогда не наступит. Мое положение в приходе стало настолько тяжелым, что ходатайство графа перед Его Преосвященством будет иметь полный успех.

Неважно! Я могу сколько угодно перечитывать эти страницы, на которые мой рассудок не находит нужным ничего возразить, — они мне кажутся тщетными. Это оттого, что никакое рассуждение не может вызвать настоящей грусти — грусти в душе — или ее победить, когда она проникла в нас через Бог знает какую брешь... Что сказать? Она не проникла, она уже была в нас. Я всё больше и больше верю, что то, что мы называем грустью, томлением, отчаянием, как бы стараясь самих себя убедить, что всё дело в известных порывах души, есть на самом деле сама душа, что после грехопадения положение человека таково, что он уже больше ничего не может ощутить ни в самом себе, ни вовне, иначе как лишь в образе томления. Даже самый безразличный человек в отношении нездешнего хранит даже в наслаждении смутное сознание ужасного чуда, которым является расцвет единственной радости у создания, могущего постигнуть свое собственное уничтожение и принужденного с трудом оправдывать своими всегда шаткими рассуждениями гневный бунт плоти против этой нелепой мерзкой гипотезы. Мне кажется, что не будь неусыпной жалости Божией, человек бы рассыпался в пыль при первом же сознании того, что он из себя представляет.

Я закрыл окно, разжег огонь. Из-за большой отдаленности одного из моих приходов, я освобожден от поста в тот день, когда я там должен служить Литургию. До сих пор я не пользовался этой поблажкой. Сейчас я согрею себе чашку вина с сахаром.

Перечитывая письмо графини, мне казалось, что я ее вижу, слышу... «Я больше ничего не хочу...» Ее долгое испытание закончено, исполнено. Мое только начинается. Быть может, они — одно? Быть может, Господь захотел возложить на мои плечи груз, от которого Он освободил свое измученное создание? В ту минуту, когда я ее благословил, откуда пришла ко мне радость, смешанная с боязнью, эта угрожающая тишина? Женщина, которой я отпустил грехи и которую смерть должна была принять через несколько часов, на пороге знакомой комнаты, созданной для беспечности, для покоя (я помню, что на

Следующий день ее часы еще висели на стене, на том самом месте, куда она их повесила, ложась спать), принадлежала уже невидимому миру, и я созерцал на ее челе, сам того еще не ведая, отблеск мира Усопших.

За всё это надо платить.

Н.В. — Здесь было спешно вырвано несколько страниц. То, что уцелело на полях, прочитать невозможно, каждое слово перечеркнуто так свирепо, что перо продырявило бумагу в нескольких местах.

Одна белая страница осталась нетронутой. На ней только эти строки:

«Решившись не уничтожить этого дневника, но считая своим долгом предать исчезновению страницы, написанные в настоящем бреду, я всё же хочу засвидетельствовать против самого себя, что мое жестокое испытание — самое большое разочарование моей жалкой жизни, так как ничего худшего я вообразить не могу, — застигло меня в то время, когда мне не хватило безропотности и мужества и что испытание пришло ко мне от...»

Фраза осталась незаконченной. Не хватает и нескольких строк в начале следующей страницы.

... что надо уметь разорвать во что бы то ни стало.

— Как во что бы то ни стало? — сказал я. — Я вас не понимаю. Я ничего не понимаю в этих хитростях. Я несчастный маленький священник, который хочет одного: пройти незамеченным. Если я делаю глупости, они сделаны по моей мерке, они меня делают смешным, они должны были бы возбуждать смех. И разве нельзя мне дать время понять? Но что же делать, когда не хватает священников? Кто виноват? Лучшие силы, как они говорят, идут в монахи, а на таких, как я, бедных крестьян, падает бремя трех приходов! Впрочем, я даже не крестьянин, вы это хорошо знаете. Настоящие крестьяне презирают людей, как мы, холопов, служанок, меняющих свое местожительство вместе со случайными господами, если только они не контрабандисты, браконьеры, ничего не стоящие парни, люди вне закона. О, я не считаю себя глупцом. Лучше бы было, если бы я был дураком. Ни герой, ни святой и даже...

— Замолчи, — сказал мне Торсийский священник, — перестань ребячиться.

Ветер дул очень сильно, и я вдруг увидел, что его старое милое лицо посинело от холода.

— Войди сюда, я замерз.

Это была маленькая избушка, где Кловис складывает свои вязанки дров.

— Я не могу проводить тебя до дому теперь, на кого бы мы были похожи? И потом гаражист Бигр должен отвезти меня автомобилем до Торси. Видишь ли, по-настоящему, мне бы следовало остаться еще несколько лишних дней в Лилле, эта погода мне совсем не полезна.

— Вы приехали ради меня! — сказал я ему.

Сначала он сердито пожал плечами.

— А похороны? Впрочем, тебя это, мой мальчик, не касается; я делаю что хочу, приходи завтра ко мне.

— Ни завтра, ни послезавтра, ни на этой неделе, по всей вероятности, если только . . .

— Довольно твоих «если только». Приходи или не приходи. Ты слишком много вычисляешь. Ты запутываешься в наречиях. Жизнь свою надо строить ясно, как французскую фразу. Каждый служит Богу по-своему, на своем языке. И даже твоя осанка, твой вид, эта пелерина, например . . .

— Пелерина? Но ведь это подарок тети.

— Ты похож на немецкого романтика. И потом этот вид!

У него было выражение лица, которого я еще никогда не видел, в нем почти сквозила ненависть. Вначале, я думаю, он заставлял себя говорить со мною строго, но теперь только самые жестокие слова срывались с его губ и, может быть, его раздражало, что он не мог их удерживать.

— Мой вид от меня не зависит, — сказал я ему.

— Зависит. Во-первых, ты питаешься по-идиотски. Надо поговорить с тобой серьезно на эту тему. Я не знаю, отдаешь ли ты себе отчет, что . . . — Он замолчал. — Нет, позже, — продолжал он смягчившимся голосом, — мы не будем говорить об этом здесь, в шалаше. Словом, ты питаешься наперекор здравому смыслу и удивляешься, что страдаешь . . . На твоём месте у меня бы тоже были спазмы в желудке! А что касается твоей внутренней жизни, то я тоже боюсь, что это нечто в том же роде. Ты недостаточно молишься. Ты больше страдаешь, чем молишься, вот что мне кажется. Надо питаться согласно своей работе, молитва же должна быть в меру наших печалей.

— Дело в том . . . я не . . . я не могу! — вскричал я. И я тотчас же пожалел о признании, так как взгляд его сделался жесток.

— Если не можешь молиться, пережевывай одно и то же! Послушай, у меня тоже были свои препятствия. Дьявол внушал мне такое отвращение к молитве, что пот катился крупными каплями, пока я перебирал свои четки. Что? Постарайся понять!

— О, я понимаю! — ответил я с таким порывом, что он оглядел меня с головы до ног, но без недоброжелательства, напротив . . .

— Послушай, — сказал он, — мне кажется, что я не ошибся на твой счет. Постарайся ответить на вопрос, который я задам. Я делюсь с тобой моим малым опытом, не преувеличивая его значения; это моя собственная идея, мой способ самопознания, который, разумеется, меня неоднократно подводил. Словом, я долго размышлял о призвании. Все мы призваны, это так, но по-разному. И чтобы упростить, я начинаю с того, что стараюсь поставить каждого из нас на его настоящее место в Евангелии. О, конечно, это нас делает моложе на две тысячи лет, но что ж из этого! Время не имеет значения для Бога, взгляд Его пронизывает время. Я представляю себе, что задолго до нашего рождения, — если говорить повседневным языком, — Господь встретил нас где-нибудь в Вифлееме, в Назарете, на дорогах Галилеи, что я знаю? В один совершенно исключительный день глаза Его остановились на нас, и согласно месту, часу, обстоятельствам, наше призвание получило свое особенное свойство. О, я не выдаю это за теологию! Словом, я думаю, представляю себе, грежу, что если бы наша душа, которая не была, которая помнит вечно, могла бы тащить наше жалкое тело че-

рез столетия, заставить его восходить по этому огромному скату двух тысячелетий, она бы привела его прямо к тому самому месту, где... Что? Что с тобою? Что случилось?

Я не заметил, что плачу, я не думал об этом.

— Почему ты плачешь?

По правде говоря, я всегда вижу себя именно в Гефсиманском Саду и именно в тот момент, — да, это очень странно, именно в тот момент, когда, положив руку на плечо Петра, Он просит — и просит напрасно, почти наивно, но так учтиво и нежно: «Вы спите?» Это было привычное естественное движение души, я только не отдавал себе в этом отчета до сих пор и вот, вдруг...

— Что с тобой? — повторял Торсийский священник нетерпеливо. — Да ведь ты меня даже не слушаешь, ты гредишь. Друг мой, тот, кто хочет молиться, не должен грезить. Твоя молитва исходит грезами. Нет ничего более опасного для души, чем это кровотечение.

Я открыл рот, хотел ответить и не мог. Тем хуже! Разве уже не довольно того, что Господь сделал мне сегодня милость, открыв устами моего старого учителя, что ничто не сдвинет меня с места, назначенного мне искони, что я — пленник Голгофы. Кто посмеет гордиться такой милостью? Я вытер глаза и высморкался так нескладно, что Торсийский священник улыбнулся.

— Я не думал, что ты такой ребенок, твои нервы очень расстроены. — Но в то же время он наблюдал за мною снова и с такой живостью, что мне было чрезвычайно трудно молчать; я видел, как менялся его взгляд, он как бы касался моей тайны. О, это настоящий властитель душ, хозяин! Наконец он пожал плечами с видом человека, решившего отступить.

— Довольно на сегодня, мы не можем оставаться до вечера в этом шалаше. Возможно, что Господь тебя держит в печали. Но я всегда замечал, что подобные испытания, как бы ни была велика грусть, в которую они нас погружают, никогда не затемняют нашего суждения, как только оно необходимо для спасения чьей-либо души. Мне уже рассказывали относительно тебя нудные неприятные вещи, неважно! Я знаю злобность людей. Но ведь правда, что ты наделал глупостей с бедной графиней, это просто представление!

— Я не понимаю!

— Читал ли ты «Заложницу» Поля Клоделя?

Я ответил, что совершенно не знаю ни о ком, ни о чем он говорит.

— Ну, что ж, тем лучше. Дело идет об одной святой девице, которая, по совету священника в твоём роде, отказывается от данного слова, выходит замуж за старого вероотступника, впадает в отчаяние, и всё это для того, чтобы помешать Папе попасть в темницу, хотя, со времен Апостола Петра, место Папы скорее в Мамертинской темнице, чем во дворце, разукрашенном сверху донизу этими мошенниками эпохи Ренессанса, которые, для изображения Святой Богородицы, заставляли позировать своих любовниц. Заметь, что Клодель — гений, я этого не отрицаю, но все эти писатели одинаковы: желая коснуться святости, они впадают в выспренность, они ее суют повсюду. Святость не есть выспренность, и если бы я исповедовал героиню, я бы прежде всего потребовал, чтобы она сменила на настоящее христианское свое птичье

имя — ее зовут Лебедь — потом, чтобы она сдержала свое слово, ведь, в конце концов, оно у нас только одно, и даже наш Святой Отец Папа не может тут ничего изменить.

— Но в чем же я... — сказал я.

— Эта история с медальоном...

— С медальоном? — Я ничего не понимал.

— Полно, дурачок, ведь вас слышали и видели, в этом нет никакого чуда, успокойся.

— Кто нас видел?

— Ее дочь. Но ведь ла Мотт-Бэврон тебя осведомил обо всем, не представляйся.

— Нет.

— Как «нет»? Вот тебе и на! Ну что ж, я попался и думаю, что нужно теперь идти до конца.

Я не шевельнулся, у меня было время взять себя в руки. В случае, если мадемуазель Шанталь солгала, она это сделала с большой ловкостью, и мне придется биться в сети полулжи, из которой мне не вырваться без риска предать в свою очередь усопшую. Торсийский священник был удивлен и смущен моим молчанием.

— Я хотел бы знать, что ты понимаешь под словом «безропотность»... Заставить мать бросить в огонь единственный сувенир, оставшийся от умершего ребенка — это похоже на историю еврейского народа, это Ветхий Завет. И по какому праву говорил ты о вечной разлуке? Нельзя насиловать души, мой милый.

— Вы рисуете события так, — сказал я, — а я бы их мог нарисовать иначе. Но к чему? Главное верно.

— И это всё, что ты находишь нужным ответить?

— Да. — Я думал, что он осыпет меня упреками. Но он только очень побледнел, почти посерел, и я тогда ясно понял, как он меня любит.

— Не будем здесь больше задерживаться, — пролепетал он, — а, главное, не принимай больше дочери, это настоящая дьяволица.

— Я не закрою ей дверей, я не закрою дверей никому, пока я буду священником этого прихода.

— Она уверяет, что ее мать противостояла тебе до конца, что ты оставил ее в смятении, в неописуемом душевном беспокойстве. Правда ли это?

— Нет!

— Ты ее оставил...?

— Я ее оставил с Богом, в мире.

— А! (он глубоко вздохнул). Подумай о том, что, умирая, она могла сохранить воспоминание о твоих требованиях, о твоей жестокости.

— Она умерла в мире.

— Что ты об этом знаешь?

У меня даже не было искушения говорить о письме. Если бы это выражение не было смешным, я бы сказал, что с головы до ног я был молчанием. Молчанием и мраком.

— Словом, она умерла. Что же ты хочешь, чтоб люди думали? Подобные сцены очень вредны для сердечных больных.

Я молчал. Мы расстались на этой фразе.

Я вернулся, не торопясь, в церковный дом. Я больше не мучился. Я даже чувствовал себя освобожденным от тяжелого бремени. Эта встреча с Торсийским священником была как бы генеральной репетицией разговора, который у меня непременно будет с моим начальством; почти с радостью я убедился, что мне ничего не надо говорить. Вот уже два дня, как я инстинктивно боялся, что меня будут обвинять в проступке, которого я не совершал. Порядочность бы требовала в этом случае прервать молчание. А теперь я мог предоставить каждому судить, как ему угодно, мои поступки священника, которые можно было бы, впрочем, толковать по-разному. Большим облегчением была также возможность думать, что мадемуазель Шанталь могла чистосердечно ошибаться относительно истинного характера разговора, который она, вероятно, очень плохо расслышала. Я предполагаю, что она была в саду, под окном, карниз которого высоко приподнят над землею.

Вернувшись в церковный дом, я с удивлением убедился, что я голоден. У меня еще остался запас яблок, я их довольно часто пеку и поливаю свежим маслом. Есть у меня также яйца. Вино, действительно, никуда не годится, но горячее, с сахаром, оно вполне сносно. Мне было так холодно, что я налил вина в маленькую кастрюлечку. Не больше стакана, клянусь. Когда я кончил обед, вошел Торсийский священник. Удивление — и не только удивление — притворило меня на месте. Я встал, шатаюсь. Вероятно, вид у меня был потерянный. Вставая, я опрокинул левой рукою бутылку, она разбилась с ужасным грохотом. Струя черного мутного вина потекла по полу.

— Мой бедный мальчик! — сказал он. И повторял ласково: — Это так... значит, это так...

Я еще не понимал, я ничего не понимал, кроме того, что тот странный мир, которому я только что радовался, не был, как и всегда, ничем иным, как предвестником нового несчастья.

— Это не вино, это кошмарное пойло. Ты отравляешься им, дурачок!

— У меня нет другого.

— Надо было попросить у меня.

— Клянусь вам, что...

— Замолчи! — Он оттолкнул ногою осколки бутылки, можно было бы сказать, что он раздавил какое-то нечистое животное. Я ждал, чтобы он кончил, не будучи способен произнести ни одного слова.

— Какой же вид ты можешь иметь, мой бедный мальчик, с таким напитком в желудке, ты мог бы и умереть. — Он встал передо мною, засунув руки в карманы сутаны, и когда я увидел, как задвигались его плечи, я почувствовал, что он все скажет, что он не пропустит ни одного слова.

— Я прозевал автомобиль Бигра, но я рад, что пришел. Прежде всего, сядь!

— Нет! — сказал я. Мой голос дрожал, как это случается всегда, когда некое движение души (или не знаю что) предупреждает меня, что пришел момент выполнять обязательства. «Выполнять обязательства» не значит всегда: противоборствовать. Я даже думаю, что в эту минуту я бы признался в чем угодно, чтобы меня только оставили в покое, с Богом. Но никакая сила в мире не помешала бы мне стоять.

— Послушай, — сказал Торсийский священник, — я на тебя не сержусь. И не думай, что считаю тебя пьяницей. Наш друг Дельбанд сразу нащупал болезненное место. Все мы, жители деревень, являемся, более или менее, детьми алкоголиков. Твои родители не пили больше других, может быть, даже меньше, но они плохо питались или совсем не питались. К этому можно еще добавить, что, за неимением лучшего, они пили микстуру вроде твоей, могущую убить даже лошадь. Что же ты хочешь? Рано или поздно, ты бы почувствовал эту жажду, не твою жажду; и это длится, это может длиться столетия, жажда бедных людей — прочное наследство! Даже пять поколений миллионеров не всегда могут ее пресечь, она в кости, в мозгу. Бессмысленно мне отвечать, что ты не отдавал себе отчета, я в этом уверен. Даже если бы ты пил в день только порцию девицы, ты уже родился пресыщенным, бедняга. Ты искал в вине — и в каком вине! — сил и бодрости, которые бы нашел в жарком. Говоря житейски, самое ужасное, что с нами может случиться — это смерть, а ты постепенно умерщвлял себя. Ведь это никак не будет утешением сказать, что ты лег во гроб с такой дозой вина в желудке, которой бы даже не хватило сохранить в бодрости и добром здравии винодела из Анжу. И, заметь, ты не гневил Господа. Но сейчас ты предупрежден. Теперь ты Его разгневаешь.

Он замолчал. Я посмотрел на него, не отдавая себе в этом отчета, как смотрел на Митонэ, на мадемуазель или . . . Мною овладела печаль. Но он — сильный и спокойный человек, настоящий служитель Бога, мужчина. Он также выполнял обязательства. Казалось, что мы прощаемся издали, с разных концов невидимой дороги.

— А теперь, — заключил он немного более хриплым голосом, чем обычно, — не будоражь своего воображения. У меня есть только одно слово, и я даю его тебе. Ты всё же отличный маленький священник. Не желая осуждать усопшую, надо все-таки признаться, что . . .

— Оставим это! — сказал я.

— Как тебе угодно.

Мне очень хотелось уйти, как я сделал час назад в избушке садовника. Но он был у меня, надо было ждать, когда он сам захочет уйти. Да будет благословен Господь! Он дозволил, чтобы мой старый наставник был со мною и еще раз выполнил свою задачу. Его взволнованный взгляд стал внезапно твердым, и я снова услышал голос, который хорошо знаю, сильный, смелый, полный таинственной радости.

— Работай, — сказал он, — делай пока малые дела, день за днем. Старайся изо всех сил. Вспомни школьника, склоненного над тетрадкой и высовывающего язык. Вот какими нас хочет Господь, когда Он предоставляет нам бороться собственными силами. Малые дела кажутся чем-то незначительным, но они дают мир. Они, как полевые цветы. Люди их считают безуханными, но, собранные вместе, они благоухают. Молитва малых дел невинна. Над каждым малым делом склоняется ангел. Молишься ли ты ангелам?

— Боже мой, конечно . . .

— Мы недостаточно молимся ангелам. Они немного путают богословов в виду прежних ересей восточных церквей — это чисто нервный страх. Мир полон ангелов. А Богородица? Молишься ли ты Богородице?

— Что за вопрос!

— Так говорят... Только молишься ли ты Ей, как надо? Молишься ли от всего сердца? Она — наша Мать, в этом нет сомнения. Она — Мать рода человеческого, новая Ева. Но Она и его Дочь. Старый скорбный безблагодатный мир баюкал Ее на своем безутешном сердце — века и века — в смутном неясном ожидании *Virgo G  n  trix*. Века и века защищал он своими старыми, отягощенными преступлением грубыми руками маленькую чудесную девочку, не зная даже ее имени. Маленькая девочка — Царица ангелов! И Она ею осталась, этого не надо забывать. Средние Века хорошо поняли это, Средние Века понимали всё. Но погробуй помешать глупцам переделывать по-своему «трагедию воплощения», как они говорят! Им, считающим для престижа необходимым одевать, как петрушек, скромных мировых судий или нашивать галуны на рукава железнодорожных контролеров, было бы очень стыдно признаться неверующим, что единственная трагедия трагедий — ведь другой не существует — произошла без декораций и позументов. Подумать только: Слово стало Плотию, а журналисты тех времен не имели об этом понятия! Пусть опыт каждого дня им и показывает, что настоящее величие, даже человеческое: гений, героизм, любовь — их жалкая любовь — требуют для узнавания чертовских усилий. Таких, что девяносто девять раз из ста они вынуждены нести свои цветы красноречия на кладбище, сдаваться только мертвым. Божия святость! Простота Божия, ужасающая простота Божия, осудившая гордость ангелов! Да, демон, вероятно, попытался было посмотреть ей в лицо, и громадный горящий факел на заре творенья сразу же погрузился в ночь. У еврейского народа была тупая голова, иначе бы он понял, что Бог, ставший Человеком, осуществивший идеал совершенного человека, рисковал пройти незамеченным, — что надо было открыть глаза. Торжественный Вход Господень в Иерусалим я считаю таким прекрасным. Наш Спаситель захотел пережить торжество, как и всё остальное, как смерть, Он не отверг ни одной из наших радостей, Он отверг только грех. Но Свою смерть Он готовил тщательно, в этой Смерти есть всё. Тогда как Его торжество — это торжество для детей, не думаешь ли ты этого? Картинка из городка Эпиналя, с ослиатей, вербочками и рукоплещущими сельскими жителями. Милая ироническая пародия на императорские великолепия. Спаситель наш улыбается. Спаситель улыбается часто, как будто говорит: «Не принимайте эти вещи всерьез; конечно, законное торжество существует, торжествовать не запрещено; когда Жанна д'Арк вернется в Орлеан с цветами и хоругвями, в красивой одежде из золотого сукна, Я не хочу, чтобы она думала, что поступает плохо. Раз это так важно для вас, мои бедные дети, Я благословил ваши торжества, Я благословил их, как благословил вино ваших виноградников». И, заметь, относительно чудес ведь то же самое. Он не творит их больше, чем надо. Чудеса — это картинки из книжки, красивые картинки! Но запомни хорошенько: Богородица не знала ни торжества, ни чудес. Ее Сын не позволил, чтобы мирская слава коснулась Ее даже кончиком своего большого дикого крыла. Никто не жил, не страдал и не умер так просто и в таком глубоком неведении своего собственного величия, величия, которое Ее ставит выше ангелов. Ведь Она родилась безгрешной, какое удивительное одиноче-

ство! Такой чистый и прозрачный источник, что она даже не могла в нем увидеть отображения своего собственного образа, созданного на радость Отцу, — о, святое одиночество! Древние демоны, гении-хранители человека, господа и рабы одновременно, ужасные патриархи, руководившие первыми шагами Адама на пороге окаянного мира, Хитрость и Гордость, видишь ли ты, как они наблюдают издали за этим чудесным, им недоступным созданием, неуязвимым и безоружным. Поистине, за наш бедный род много не дашь, но детство волнует его всегда, неведение ребенка заставляет опускать глаза — его глаза, умеющие различать добро и зло, глаза, видевшие так много вещей! Но ведь у детей это только неведение. Богородица же была воплощение Невинности. Отдай себе ясный отчет, чем мы для Нее являемся, мы, род человеческий! О, конечно, Она ненавидит грех, но ведь, в конце концов, у Нее нет никакого греховного опыта, этого опыта, который был у самых великих святых, даже у Франциска Ассизского при всей его близости к ангелам. Взгляд Святой Богородицы — это единственный взгляд настоящего ребенка, сияющий над нашим стыдом и нашей скорбью. Да, мой маленький, чтобы уметь Ей молиться, нужно чувствовать на себе Ее взгляд, который всё же не является взглядом снисхождения, — ведь снисхождение невозможно без некоего горького опыта, — а скорее взглядом нежного сострадания, скорбного удивления и еще какого-то непостижимого, невыразимого чувства, делающего Ее моложе греха, моложе рода человеческого, из которого Она произошла и, будучи Матерью по воле Божией, Матерью по Благодати, Она является одновременно самой младшей в роде человеческом.

— Благодарю вас, — сказал я ему. Я не нашел другого слова. И даже произнес я его так холодно. — Прошу вас меня благословить, — продолжал я тем же тоном. Правда, что уже в течение десяти минут я боролся против своих ужасных болей, которые никогда еще не были такими острыми. Боже мой, боль была бы еще терпима, если бы не тошнота, ее сопровождающая и убивающая окончательно мое мужество. Мы были на пороге двери.

— Ты в горести, — ответил он мне, — тебе и благословлять.

И он взял мою руку, поднял ее быстро до своего чела и ушел. Начался страшный ветер, но всё же впервые он не выпрямился во весь рост, а шел, согнувшись.

После ухода Торсийского священника я присел на минутку в кухне, мне не хотелось размышлять. Если то, что со мною случилось, думал я, имеет такое значение в моих глазах, это потому, что я не считаю себя виноватым. Есть, конечно, много священников, способных к необдуманному поступкам, а меня обвиняют только в этом. Вполне возможно, что волнение ускорило смерть графини, ошибка Торсийского священника состоит только в том, что он не знает истинного характера нашего разговора. Как это ни странно, но мысль эта была для меня облегчением. Постоянно скорбя о своей неспособности, стану ли я сильно колебаться, чтобы причислить себя к посредственным священникам? Мои первые успехи школьника были, без сомнения, слишком сладостны сердцу несчастного ребенка, которым я тогда был, и воспоминание о них осталось во мне, несмотря ни на что. Мне трудно перенести мысль, что будучи «блестящим» учеником — слишком «блестящим!» —

я должен сесть сегодня на заднюю скамью, вместе с тупицами. Я думаю также, что последний упрек Торсийского священника не столь несправедлив, как мне показалось. Правда, совесть меня за это не упрекает: не по своей воле выбрал я эту диету, которую он считает сумасбродной. Мой желудок не переносит другой, вот и всё. Кроме того, думалось мне, эта ошибка, по крайней мере, не оскорбила никого. Это доктор Дельбанд предупредил моего старого учителя, а глупейший случай с разбитой бутылкой только подтвердил это неосновательное мнение.

В конце концов я посмеялся над своим страхом. Без сомнения, госпожа Пэгрио, Митонэ, граф и еще кое-кто знают, что я пью вино. Ну так что ж? Было бы слишком нелепо считать преступлением недостаток, который является лишь грехом лакомки, свойственным многим моим собратьям. Бог же знает, что меня здесь лакомкой не считают.

(Я прервал этот дневник в продолжение двух дней, мне было противно его продолжать. Поразмыслив, я понял, что подчиняюсь не столько законному беспокойству совести, как чувству стыда. Я поступаюсь пойти до конца.)

После ухода Торсийского священника я вышел. Прежде всего я должен был навестить одного больного, господина Дюплуи. Я нашел его в агонии. А между тем у него, по словам доктора, было только несерьезное воспаление легких, но он был толстым человеком, и сердце внезапно сдало. Его жена, сидя на корточках перед очагом, преспокойно грела кофе. Она не отдавала себе отчета ни в чем, лишь сказала:

— Может быть, вы и правы, он умрет.

Через некоторое время, подняв простыню, она еще добавила:

— Он отдает Богу душу, это конец.

Когда я пришел со Святым Елеем, он уже умер.

Я торопился. И я напрасно согласился выпить большую чашку кофе с можжевеловой водкой. Я не переношу можжевеловой водки. Слова доктора Дельбанда, без сомнения, верны. Мое отвращение похоже на пресыщение, на омерзительное пресыщение. Достаточно одного запаха. У меня ощущение, что мой язык вздувается во рту, как губка.

Мне следовало бы вернуться в церковный дом. Дома, в моей комнате, опыт меня постепенно уже научил, что надо делать; над этим можно смеяться, но мне это помогает бороться против моей болезни, усыпить ее. Тот, кто привык болеть, понимает, что болью надо уметь управлять, что ее можно часто победить хитростью. У каждой, впрочем, свои особенности, свои причуды, не каждая зла и глупа, и тот способ, который оказался годным раз, может служить бесконечно. Словом, я чувствовал, что приступ будет жесток, я сделал глупость, став бороться с ним лицом к лицу. Бог это дозволил. Боюсь, что это меня сгубило.

Ночь спустилась очень быстро. В довершение всех бед, я должен был зайти к разным людям в окрестностях поместья Галба, а дороги там очень плохие. Дождя не было, но земля там глинистая, она липла к моим подметкам, — она высыхает только в августе. Каждый раз люди меня сажали возле печки, набитой крупным углем из Брюэ; в висках у меня так стучало, что я слышал с трудом, отвечал кое-как, у меня должен был быть странный вид. И все-таки я выдержал. Хождение в окрестностях поместья Галба всегда очень тягостно из-за раз-

бросанности домов, рассеянных по лугам, а я не хотел потерять еще один вечер. Время от времени я смотрел украдкой в свою записную книжку, вычеркивал постепенно имена, список мне казался бесконечным. Когда, наконец, я снова очутился на дворе, закончив свой обход, мне было так плохо, что у меня не хватило решимости выйти на большую дорогу, я шел по опушке леса. Эта тропинка проходит очень близко от дома Дюмушель, куда я хотел зайти. Вот уже две недели, как Серафита не приходит на уроки катехизиса, и я решил поговорить с ее отцом. Сначала я шел довольно мужественно, боль в желудке казалась менее сильной, у меня только было головокружение и тошнота. Я отлично помню, что прошел угол, который образует Ошийский лес. Первый обморок, вероятно, случился немного погодя. Мне казалось, что я еще борюсь, чтобы удержаться на ногах, а, между тем, я уже чувствовал ледяную глину под своей щекой. Наконец, я поднялся. Я даже искал свои четки в ежевике. Моя голова больше не выдерживала. Образ Богородицы-Ребенка, такой, каким его вызвал предо мною Торсийский священник, являлся мне беспрестанно, и сколько я ни старался прийти в сознание, начатая молитва кончалась грезами, нелепость которых я по временам различал. Как долго я так шел, не могу сказать. Были ли виденья приятны или нет, но они не умиряли невыносимой боли, которая меня сгибала вдвое. Я думаю, что только она одна мешала мне раствориться в безумии, она была твердой точкой в тщетном течении моих грез. Они меня еще преследуют и сейчас, когда я это пишу, и, слава Богу, не оставляют никаких угрызений совести, т. к. воля моя их не принимала, она осуждала их дерзость. Как могущественно слово служителя Господня! Конечно, клянусь, я никогда не верил, что это было видение в том смысле, какой придают этому слову, т. к. память о моей недостойности, о моем несчастье не покидала меня. И всё же правда, что образ, который рождался во мне, не был одним из тех, которые разум может принять или оттолкнуть по своему желанию. Осмелюсь ли сделать признание? . .

(Здесь вычеркнуто десять строчек.)

Небесное создание, чьи маленькие руки обезвредили молнию, Ее руки, полные благодати . . . Я смотрел на эти руки. Я их то видел, то не видел и т. к. моя боль стала невыносимой, и я чувствовал, что снова падаю, я взял одну из них своей рукою. Это была рука ребенка, бедного ребенка, уже загрубевшая от работы, от стирки. Как это выразить? Я не хотел, чтобы это был сон, а между тем я помню, что я закрыл глаза. Я боялся, что, подняв веки, я увижу Лицо, перед которым преклоняются все колени. Я Его видел. Это было тоже лицо ребенка или очень молодой девушки, без всякого блеска. Лицо было — сама грусть, но грусть, которой я не знаю, в которой у меня не было никакой части, столь близкая моему сердцу, моему жалкому сердцу человека, и всё же недоступная. Нет человеческой грусти без горечи, а эта была — сама сладость; нет человеческой грусти без бунта, а эта была — сама покорность. Она напоминала какую-то великую сладостную бесконечную ночь. Наконец, наша грусть рождается всегда из опыта наших бед, опыта всегда нечистого, а эта — была невинной, Она была — сама невинность. Я тогда понял значение некоторых слов Торсийского священника, которые мне показались темными. Бог должен был

некогда чудесно прикрыть эту девственную печаль, т. к., как бы люди не были слепы и жестоки, они бы узнали по этому знаку свою дорогую дочь, последнюю новорожденную своей древней расы, небесный залог, вокруг которого рыкали демоны, и поднялись бы все вместе, чтобы Ей сделать ограду своими смертными телами.

Я думаю, что я еще прошел немного, но, потеряв дорогу, споткнулся в густой траве, мокрой после дождя, в которой утопали ноги. Когда я заметил свою ошибку, я очутился перед изгородью, которая мне показалась слишком высокой и слишком густой, чтобы через нее перешагнуть. Я ее обошел. Вода струилась с ветвей и капала мне на шею и руки. Боль моя постепенно утихала, но я непрерывно отхаркивал тепловатую воду, соленую, как слезы. Сделать усилие и достать носовой платок из кармана было мне слишком трудно. Я не терял сознания, я чувствовал себя только рабом слишком острой боли, вернее, воспоминания об этой боли — т. к. уверенность, что она вернется, была томительнее, чем сама боль — и я следовал за нею, как собака за своим хозяином. Я думал также, что я скоро упаду, что меня найдут здесь полумертвым, что это будет еще одним новым скандалом. Мне кажется, что я звал кого-то. Внезапно моя рука, опиравшаяся об изгородь, оказалась в пустоте, и земля ушла из-под ног. Я скатился, не отдавая себе в этом отчета, вниз по откосу и больно ударился обоими коленями и лбом о каменистую поверхность дороги. На одну минуту мне померещилось, что я снова поднялся на ноги, что я иду. Потом я понял, что мне это только кажется. Ночь мне внезапно показалась чернее и гуще, я думал, что снова падаю, но на этот раз в полном безмолвии. Я скользнул в это безмолвие сразу. Оно сомкнулось надо мною.

Когда я открыл глаза, память вернулась ко мне немедленно. Мне показалось, что светает. Это был отблеск фонаря на откосе, против меня. Я видел также другой свет налево, между деревьев, и я сразу же узнал дом Дюмушелей и его смешную веранду. Моя промокшая сутана прилипла к спине, я был один.

Кто-то поставил фонарь возле моей головы — один из тех керосиновых фонарей, употребляемых в конюшнях и дающих больше дыма, чем света. Большой жук кружился около него. Я пытался было подняться, но не мог, несмотря на то, что силы возвращались, и я больше не страдал. Наконец, я смог сесть. По ту сторону изгороди я слышал мычание и вздохи скотного двора. Я отлично отдавал себе отчет в том, что даже в случае, если мне удастся встать на ноги, уже слишком поздно спастись бегством и что мне ничего другого не остается, как терпеливо снести любопытство того, кто меня нашел и кто скоро вернется за своим фонарем. Увы, думал я, дом Дюмушелей — последний, около которого я бы желал быть подобранным. Я смог стать на колени, и мы внезапно встретились лицом к лицу. Стоя на ногах, она была не выше меня. Ее худенькое маленькое личико было таким же хитреньким, как всегда, но прежде всего, я обратил внимание на немного торжественную, почти комическую важность его выражения. Я узнал Серафиту. Я ей улыбнулся. Она, вероятно, подумала, что я издеваюсь над нею, злой огонек зажегся в ее сером, столь недетском взгляде, заставлявшем меня не раз опускать глаза. Я заметил, что она держала в

руках глиняный таз с водой, в котором плавала не слишком чистая тряпка. Она поставила таз между колен.

— Я пошла его налить водой из лужи, так вернее, — сказала она. — Они все там, в доме, по случаю свадьбы кузена Виктора. Я же вышла, чтобы загнать скот.

— Не надо рисковать, тебя могут наказать.

— Наказать? Меня никогда не наказывают. Раз отец поднял на меня руку. «Не смей меня трогать», сказала я ему, «или я поведу Рыжку пастиись на плохую траву, у нее раздуется живот, и она сдохнет». А Рыжка — наша лучшая корова.

— Нельзя так говорить, это плохо.

— Плохо попасть в такое положение, как ваше, — ответила она. злобно пожимая плечами. Я почувствовал, что бледнею. Она посмотрела на меня с любопытством.

— Это счастье, что я вас нашла. Пока я бегала за коровами, мое сабо покатилося на дорогу, я спустилась вниз. Я думала, что вы умерли

— Мне лучше, я встану.

— Не вздумайте только возвращаться в таком виде!

— В каком виде?

— Вас рвало, ваше лицо перемазано, как будто вы наелись ежевики.

Я попытался было взять таз, он чуть не выскользнул из рук.

— Вы дрожите, — сказала она, — дайте лучше мне, я привычная. На свадьбе моего брата Нарцисса было похуже. А? Что вы говорите?

У меня стучали зубы, она, наконец, поняла, что я ее прошу зайти завтра в церковный дом, что я ей все объясню.

— Никак не могу, я рассказывала о вас всякие гадости. Вы должны были быть меня побить. Я ревнива, ужасно ревнива, ревнива как зверь. Остерегайтесь и остальных. Они — ханжи, лицемерки.

Говоря это, она терла мокрой тряпкой мой лоб, щеки. Свежая вода приносила облегчение, я поднялся, но дрожал всё так же сильно. Наконец, дрожь прекратилась. Моя маленькая самаритянка держала фонарь на высоте моего подбородка, чтобы лучше судить о своей работе, как я думаю.

— Если хотите, я провожу вас до конца дороги. Берегитесь ям. Когда вы выйдете с пастбища, станет легче.

Она шла передо мною, когда же тропинка стала шире, пошла рядом и, сделав несколько шагов, протянула мне руку, как послушная девочка. Мы оба не сказали ни слова. Коровы мрачно мычали. Мы услышали, как вдалеке хлопнула дверь.

— Надо возвращаться, — сказала она. И встала передо мною на своих маленьких крепких ножках.

— Не забудьте лечь в кровать, вернувшись, это самое лучшее. Только ведь у вас нет никого, кто бы согрел вам кофе. Мужчина без женщины, мне это кажется очень печальным, очень неправильным.

Я не мог оторвать глаз от ее лица. Все в нем кажется поблекшим, почти старообразным, кроме лба, оставшегося чистым. Я не думал, что этот лоб так чист!

— Послушайте, что я вам скажу, не верьте им! Я отлично знаю, что это случилось помимо вашей воли. Они вам подсыпали порошка в

стакан, это их забавляет, это проказа. Но, благодаря мне, они ничего не заметят, они попадутся . . .

— Куда ты пропала, потаскушка!

Я узнал голос ее отца. Она прыгнула на откос бесшумно, как кошка, держа сабо в одной руке, а фонарь в другой.

— Тиш . . . скорей возвращайтесь! Этой ночью вы мне снились. У вас было грустное лицо, как сейчас, я проснулась в слезах.

Дома мне пришлось мыть сутану. Материя закорузла, вода стала красной. Я понял, что потерял много крови.

Ложась спать, я почти решился на рассвете ехать в Лилль. Удивление мое было столь велико, — страх смерти пришел позже, — что если бы старый доктор Дельбанд был жив, я бы наверно помчался глубокой ночью в Девр. И то, чего я не ожидал, случилось, как и всегда. Я сразу заснул и проснулся с петухами в хорошем настроении. Меня даже разбирал смех, при виде моего печального лица, пока я брил бороду, с которой никакая бритва не может справиться, — борода настоящего бродяги. И потом, кровь на сутане может быть от кровотечения из носу. Почему такая правдоподобная мысль не пришла мне сразу? Но ведь кровотечение произошло во время моего краткого обморока, а у меня, пока я не потерял сознание, осталось воспоминание об ужасной тошноте.

Я всё-таки поеду обязательно к доктору в Лилль на этой неделе.

После обедни я зашел к моему собрату из Околта, попросить его заменить меня в случае, если мне придется отлучиться. Этого священника я знаю мало, он почти одного со мною возраста, и я чувствую к нему доверие. Сколько я ни мыл нагрудник моей сутаны, он в ужасном виде. Я рассказал, что разлил пузырек с красными чернилами в шкаф, и священник мне любезно предложил старую теплую сутану. Что думал он обо мне? Я не мог этого прочитать в его глазах.

Торсийского священника вчера перевезли в клинику в Амьенсе. У него сердечный припадок, не слишком серьезный, но все же требующий ухода и присутствия сестры милосердия. Садясь в карету скорой помощи, он оставил мне нацарапанную карандашом записку: «Мой милый дурачок, молись хорошенько Богу и навести меня в Амьенсе на следующей неделе».

Уходя из церкви, я встретился с мадемуазель Луизой. Я думал, что она уже далеко. Она пришла из Арша пешком, ее туфли были в грязи, лицо мне показалось неопрятным и изнуренным, шерстяная перчатка была порвана, из нее торчали пальцы. Она, столь тщательно раньше одетая, чопорная! Мне ее стало очень жалко. Но с первых же слов я понял, что ее страдание принадлежит к тем, в которых нельзя сознаться.

Она мне сказала, что жалованье ей не уплачено уже шесть месяцев; что нотариус графа предложил ей совершенно невозможные условия; что она не смеет покинуть Арш и живет в гостинице. «Граф будет очень одинок; это слабый эгоистичный человек со своими причудами, дочь слопаёт его сразу». Я понял, что она еще надеялась, неизвестно на что. Она старалась округлять фразы, как и раньше, и голос порою становился похож на голос графини; в прищуриваньи ее близоруких

глаз было тоже некое сходство... Вольное самоунижение — царственно, но видеть разлагающееся тщеславие — противно!..

— Даже графиня, — сказала она, — обращалась со мною, как с человеком из общества. Кроме того, брат моего деда, полковник Эднер, женился на девице Нуозель, а Нуозель их родственники. Испытание, которое мне Бог посылает...

Я не смог удержаться, чтобы не прервать ее:

— Не упоминайте столь легкомысленно о Боге.

— О, вам легко меня осуждать, презирать. Вы не знаете, что такое одиночество!

— Этого нельзя сказать, — ответил я. — Мы никогда не знаем всей глубины своего одиночества.

— И все же у вас есть свои занятия, дни идут быстро.

Это меня заставило невольно улыбнуться.

— Вам надо уехать, — сказав я ей, — покинуть эти места. Я постараюсь получить для вас то, что вам причитается. Я вам вышлю деньги по адресу, который вы мне дадите.

— При содействии мадемуазель Шанталь, конечно. Я думаю без злобы об этом ребенке, я ей прощаю. Это страстная, но великодушная натура. Мне даже порою кажется, что откровенное объяснение... — она сняла одну из своих перчаток и мяла ее в ладонях. Мне было ее жалко, — и одновременно она внушала мне отвращение.

— Мадемуазель, — сказал я ей, — за неимением лучшего, гордость должна была бы вам не позволить сделать подобный шаг, да он и бесполезен, кроме того. И самое удивительное то, что вы хотите в это замешать меня.

— Гордость? Покинуть эти места, где я была счастлива, уважаема, почти на равном положении со своими хозяевами, чтобы уехать, как нищенка, — вы это называете гордостью? Уже вчера, на базаре, крестьяне, которые мне раньше кланялись до земли, делали вид, что меня не узнают.

— Не узнавайте и вы их. Будьте гордой!

— Гордость, и только гордость! А что такое гордость? Я никогда не думала, что гордость принадлежит к богословским добродетелям... Меня даже удивляет, что я слышу это слово из ваших уст.

— Простите, — сказал я ей, — если вы хотите говорить со священником, он потребует от вас, прежде всего, признания в грехах, чтобы иметь право их отпустить.

— Я не хочу этого.

— Тогда позвольте мне говорить с вами на языке, который будет вам понятен.

— На общепринятом языке?

— А почему нет? Хорошо стать выше гордости. Но, прежде всего, надо до нее подняться. Я не имею права говорить о чести в мирском понятии, это никак не тема разговора для бедного священника, как я, но порою мне кажется, что люди слишком дешево ценят человеческое достоинство. Увы, все мы способны лечь в грязь — грязь кажется освежающей измученным сердцам. А позор это, видите ли, — такой же сон, как и другие, тяжелый сон, опьянение без сновидений. Если оста-

ток гордости должен поставить на ноги несчастного, не стоит за это слишком осуждать.

— Я — эта несчастная?

— Да, — сказал я ей. — И я позволю себе вас унижить только потому, что хочу вас избавить от унижения более мучительного, неизбежного, которое навсегда лишит вас достоинства в ваших собственных глазах. Оставьте ваше намерение увидиться с мадемуазель Шанталь, вы унижитесь напрасно, вы будете раздавлены, вас растопчут ногами...

Я замолчал. Я видел, она хотела взбунтоваться, рассердиться. Я пытался найти слова жалости, но те, которые мне приходили на ум, послужили бы только — я это чувствовал — чтобы разбудить в ней жалость к самой себе, открыть источник низких слез. Никогда еще я не ощущал так своего бессилия по отношению к злополучиям определенного рода, в которых я не могу принять участия, что бы я для этого ни делал.

— Да, — сказала она, — вы не колеблетесь в выборе между мной и Шанталей. Я — более слабая. Она меня сломила.

Это слово мне напомнило фразу из моего последнего разговора с графиней: «Бог вас сломит!» вскричал я. Подобное воспоминание в такую минуту сделало мне больно.

— В вас нечего сломить, — сказал я.

Я пожалел об этих словах, я больше о них не жалею, они у меня вырвались из сердца.

— Вы ею обмануты, — возразила мадемуазель Луиза с печальной гримасой. Она не повышала голоса, она только говорила быстро, быстро; я не могу всего передать, слова текли, не иссякая, из ее потрескавшихся губ. — Она вас ненавидит. Она вас ненавидит с первого дня. Она дьявольски прозорлива. А хитрость какая! Ничто от нее не ускользает. Как только она высунет нос наружу, дети бегут за нею, она их закармливает сахаром, они ее обожают. Она говорит им о вас, они ей рассказывают не знаю какие истории об уроках катехизиса, она подражает вашей походке, вашему голосу. Она вами одержима, это ясно. А если она кем одержима, она делает из него себе игрушку, она преследует его до смерти, она безжалостна. Еще позавчера...

Я почувствовал как бы удар в сердце.

— Замолчите! — сказал я.

— Надо, чтобы вы знали, что она такое.

— Я это знаю, — вскричал я, — вы не можете ее понять!

Она подняла свое униженное лицо. На ее мертвенно бледной, почти серой, щеке ветер высушил слезы, остался только глянцевиный след, теряющийся в ямочках щеки.

— Я говорила с Фамешоном, помощником садовника, который подают за столом вместо отсутствующего Франсуа. Шанталь всё рассказала отцу, они помирали со смеху. Она нашла книжечку около дома Дюмушелей, прочитала ваше имя на первой странице. Тогда ей пришла мысль допросить Серафиту, а та, как и всегда, дала всё выпытать...

Я глядел на нее с глупым видом, не будучи в состоянии сказать слова. Даже в эту минуту, когда она должна была бы наслаждаться своим мщением, злоба не вызывала в ее жалких глазах иного выраже-

ния, кроме безропотности домашнего животного, только лицо ее стало менее бледным.

— Кажется, девочка нашла вас храпящим на дороге в . . .

Я повернул ей спину. Она побежала за мной и, когда я увидел ее руку на своем рукаве, я не мог удержаться от чувства отвращения, мне стоило большого усилия взять ее руку в свою и потихоньку снять.

— Уходите! — сказал я ей. — Я буду молиться за вас. — Мне, наконец, стало ее жалко. — Всё устроится, я вам это обещаю. Я пойду к графу.

Она быстро удалилась с опущенной и склоненной на бок головой, как раненое животное.

Каноник ла Мотт-Бэврон покинул Амбрикур. Я больше его не видел.

Повстречал сегодня Серафиту. Она пасла свою корову, сидя на краю откоса. Я подошел немного ближе. Она убежала.

*

Совершенно ясно, что моя застенчивость стала с некоторого времени настоящей одержимостью. Трудно справиться с этим инстинктивным детским страхом, который заставляет внезапно обернуться, когда я чувствую на себе взгляд прохожего. Сердце прыгает в груди, и я облегченно вздыхаю только тогда, когда услышу «здравствуйте» в ответ на мое приветствие. Это «здравствуйте» раздается всегда в ту минуту, когда я его уже больше не жду.

И всё-таки я перестал возбуждать любопытство. Люди меня уже осудили, чего же еще? У них теперь есть правдоподобное, обыкновенное, успокоительное объяснение моего поведения, которое позволяет им отвернуться от меня, вернуться к серьезным делам. Люди знают, что я «пью» — один, втихомолку, — молодежь называет это «пошвейцарски». Этого должно было бы быть достаточно. Остается, увы, плохой вид, это похоронное лицо, от которого я, конечно, не могу избавиться и которое так плохо согласуется с невоздержанием. Они мне его не простят.

*

Я сильно боялся урока катехизиса в четверг. О, я, конечно, не ждал того, что на лицейском жаргоне называется «устроить галдеж» (крестьянские ребятишки этого никогда не делают), а только перешептыванья, улыбок. Но ничего не произошло.

Серафита пришла с запозданием, запыхавшаяся, очень красная. Мне показалось, что она немного хромает. В конце урока, пока я читал *Sub taum*, я видел, как она спряталась за своих подруг, и едва было произнесено «аминь», как я уже услышал нетерпеливое шлепанье ее галош на плитах.

Когда церковь опустела, я нашел под кафедрой большой синий, в белую полоску, платок, слишком широкий для кармана ее передника, который она часто теряет. Я подумал, что она не посмеет вернуться домой без этой дорогой вещи, т. к. известно, что госпожа Дюмушель дорожит своим добром.

Она в самом деле вернулась. Бесшумно промчалась стрелой к своей скамье (она сняла галоши). Хромала она еще сильнее, но когда я ее позвал из глубины церкви, она снова пошла, почти не хромя.

— Вот твой платок. Не забывай его больше!

Она была очень бледна (я ее редко видел такой, т. к. от малейшего волнения она становится пунцовой). Она взяла платок с суровым видом, не поблагодарив. Затем застыла, согнув больную ногу.

— Иди, — сказал я ей тихо. Она сделала шаг к двери, потом обернулась прямо ко мне восхитительным движением маленьких плеч.

— Мадемуазель Шанталь сначала меня заставила (она стала на цыпочки, чтобы смотреть мне прямо в глаза), а потом... потом...

— Потом ты с радостью всё рассказала? Что делать, девочки болтливы.

— Я не болтливая, я злая.

— Ты уверена?

— Уверена, видит Бог! (она перекрестилась вымазанными в чернила пальцами). Я помню, что вы говорили другим теплые слова, комплименты, например, вы называли Зелиду «моей маленькой». «Моя маленькая» — эта толстая кривая кобыла! Надо быть вами, чтобы до этого додуматься!

— Ты ревнуешь.

Она тяжело вздохнула, моргая глазами, как будто старалась увидеть поглубже в своей душе.

— А между тем вы не красивы, — сказала она сквозь зубы с невообразимой важностью. — Это только оттого, что вы печальны. Даже когда вы улыбаетесь, вы печальны. Мне кажется, что если бы я была мала, почему вы печальны, я бы никогда больше не была злой.

— Я печален, — сказал я ей, — потому что люди не любят Бога.

Она покачала головой. Синяя грязная лента, которая связывала ее редкие волосы на макушке, развязалась и забавно болталась около подбородка. Ясно, что мои слова были ей непонятны. Но она не стала долго раздумывать.

— Я тоже печальная. Хорошо быть печальной. Это искупает грехи, говорю я себе иногда...

— Ты, значит, много гресишь?

— Еще бы! (она поглядела на меня с упреком, со смиренным сообщением) вы это хорошо знаете. Нельзя сказать, чтобы мальчишки меня занимали. Они гроша не стоят. Такие идиоты! Настоящие бешенные собаки.

— Тебе не стыдно?

— Нет, мне стыдно. Изабелла, Нозми и я, мы часто с ними встречаемся наверху, близ большого пригорка Маликорна, там, где берут песок. Сначала мы скатываемся с горы. Конечно, я самая отчаянная. Но когда они все расходятся, я играю в смерть...

— В смерть?

— Да, в смерть. Я выкапываю яму в песке, ложусь туда на спину, скрестив руки, закрыв глаза. Как только чуть пошевелюсь, песок мне сыплется за шею, в уши, даже в рот. Мне хочется, чтобы это не было игрой, чтобы я умерла. После того, как я всё рассказала мадемуазель Шанталь, я оставалась там часами. Когда я вернулась, папа меня отшлепал. Я даже плакала, что случается не часто...

— Значит, ты никогда не плачешь?

— Нет. Я считаю это низким, отвратительным. Когда плачешь, пе-

чаль из тебя выходит, сердце тает, как масло, тьфу! Или (она снова заморгала веками) надо найти другой . . . совсем другой способ. Вам это кажется глупым? . .

— Нет, — сказал я ей. Я колебался ответить, мне казалось, что малейшая неосторожность отдалит от меня навеки этого маленького дикого зверька.

— Придет день, когда ты поймешь, что молитва и есть этот плач, единственные слезы, в которых нет трусости.

Слово «молитва» заставило ее сдвинуть брови, лицо сморщилось, как у кошки. Она повернулась ко мне спиной и отошла, сильно хромая.

— Почему ты хромаешь?

Она резко остановилась, всё тело ее устремлялось бежать, только голова была повернута ко мне. Потом она сделала то же движение плечами, я тихо подошел, она с отчаяньем натягивала на колени свою серую шерстяную юбку. Сквозь дыру в чулке я увидел, что нога у нее лиловая.

— Вот почему ты хромаешь, — сказал я ей, — что это такое?

Она отпрыгнула назад, я схватил ее руку налету. Пока она отбивалась, я увидел немного повыше икры толстую веревку, затянутую так крепко, что тело образовывало два толстых валика цвета синего баклажана. Она вырвалась одним прыжком, прыгая на одной ноге через скамьи, я ее догнал только в двух шагах от двери. Ее серьезный вид мешал мне говорить.

— Это чтобы себя наказать за то, что проболталась мадемуазель Шанталь, я дала слово не снимать веревки до вечера.

— Разрежь веревку! — сказал я ей.

Я протянул ножик, она послушалась, не говоря ни слова. Но внезапный прилив крови был, должно быть, так мучителен, что она сделала ужасную примасу. Если бы я ее не поддержал, она бы верно упала.

— Обещай мне не повторять.

Она наклонила так же важно голову и ушла, опираясь рукой о стену. Да сохранит ее Бог!

*

Этой ночью у меня, должно быть, было небольшое кровотечение, которое всё-таки нельзя смешать с кровотечением из носу.

Так как всё же неблагоприятно беспрестанно откладывать мою поездку в Лилль, я написал доктору, предлагая ему, что приеду пятнадцатого. Через шесть дней . . .

Я сдержал обещание, данное мадемуазель Луизе. Мне было очень неприятно идти в замок. По счастью, я встретил графа в аллее. Моя просьба его не удивила, можно почти сказать, что он ее ожидал. Я же взялся за это дело гораздо толковее, чем сам думал.

*

Получил обратной почтой ответ от доктора. Он согласен на назначенный день. Я могу вернуться домой на следующее утро.

Я заменил вино крепким черным кофе. Чувствую себя хорошо. Но из-за этого у меня бессонница; она не была бы очень мучительна, — порою даже приятна — если бы не томительное сердцебиение. Избав-

ление на заре всегда радостно. Она как милость Божия, как улыбка. Да будет благословенно утро!

Силы возвращаются, есть даже легкий аппетит. Кроме того, погода хорошая, сухая и холодная. Луга покрыты инеем. Деревня мне кажется теперь иной, чем осенью, прозрачность воздуха делает ее воздушной, а когда садится солнце, можно подумать, что она повисает в пустоте, не касается больше земли, ускользает, улетаёт. Зато себя я чувствую отяжелевшим, давящим на землю. Порою это ощущение так сильно, что я гляжу со страхом и непонятным отвращением на мои грубые башмаки. К чему они в этом сиянии? Мне кажется, я вижу, как они погружаются в землю.

Ясно, что я стал лучше молиться. Но я больше не узнаю моей молитвы. Раньше она была упрямой мольбою, и даже когда требник привлекал мое внимание, я все же чувствовал, что во мне продолжается то умоляющая, то настаивающе повелительная беседа с Богом, — да, мне хотелось вырвать у Него Его милость, насильно получить Его любовь. Теперь мне трудно желать чего бы то ни было. Подобно деревне, моя молитва не имеет больше веса, улетаёт . . . Хорошо ли это или плохо, я не знаю.

*

Еще одно легкое кровотечение, скорее даже харканье кровью. Страх смерти коснулся меня. О, без сомнения, мысли о ней приходят часто, и порою она меня пугает. Но боязнь не есть страх. Это длилось только секунду. Я не знаю с чем сравнить это молниеносное ощущение. С ударом бича по сердцу, может быть? О, Голгофа!

Что мои легкие в плохом состоянии, это более, чем ясно. А между тем доктор Дельбанд осмотрел меня внимательно. За несколько недель туберкулез не мог так усилиться. Кроме того, эту болезнь можно часто побороть энергией, желанием выздороветь. У меня есть и то и другое.

Кончены посещения, которые Торсийский священник иронически называл «домовым обыском». Если бы я так не ненавидел словарь, присущий многим моим братьям, я бы их назвал «утешительными». А между тем, я приберег к концу то посещение, благоприятный исход которого мне казался наиболее сомнительным . . . Отчего мне стало внезапно так легко с людьми? Или мне только так кажется? Стал ли я нечувствителен к мелким невзгодам? Или мое ничтожество, признанное всеми, обезоружило подозрения, антипатию? Всё это мне кажется сном.

(Страх смерти. Второй припадок был, мне кажется, менее сильным, чем первый. Но как томительно это содрогание, это сжатие всего существа вокруг какой-то точки в груди . . .)

*

У меня была встреча. О, в общем, совсем не удивительная. В том состоянии, в котором я нахожусь, малейшее событие теряет свои точные контуры, как пейзаж в тумане. Словом, я встретил, кажется, друга. Я узнал, что такое дружба.

Это признание очень удивит моих старых товарищей, т. к. я слышу верным моим юношеским привязанностям. Моя память на даты, неизменные поздравления с годовщиной посвящения в сан священника ста-

ли знамениты. Над ними смеются. Но всё это только сочувствие. Я только теперь понимаю, что дружба может вспыхнуть между двумя людьми с той внезапной силой, которую миряне признают только в любви.

Итак, я шел в Мэзарг, когда услышал далеко за собою гудок сирены и шум, то возрастающий, то убывающий, в зависимости от ветра и извилистости дороги. За последние дни он стал привычным и не заставляет больше никого прислушиваться. Люди просто говорят: «Это мотоциклетка господина Оливье». Немецкая удивительная машина, похожая на сверкающий маленький локомотив. Господина Оливье зовут на самом деле Трэвиль-Соммеранж, он племянник графини. Старикки, которые знали его здесь еще ребенком, не устают говорить о нем; его надо было отдать в солдаты в восемнадцать лет, с ним было очень трудно справиться.

Я остановился на верху косогора, чтобы передохнуть. Шум мотоцикла прекратился на время (вероятно, из-за поворота дороги около Дилонна), потом возобновился снова. Он был похож на дикий, повелительный, угрожающий и полный отчаяния крик. Тотчас же хребет горы против меня оделся снопом огня — солнечные лучи ударили в полированную сталь — и вот, хрипя, мотоциклетка уже спустилась вниз и снова взлетела так быстро, что можно было подумать: она поднялась одним прыжком. В тот миг, как я отскочил в сторону, чтобы ее пропустить, я почувствовал, как мое сердце падало в груди. Мне нужно было время, чтобы понять, что шум прекратился. Я слышал только пронзительную жалобу тормозов, хруст колес по земле. Потом и это кончилось. Молчание мне показалось более значительным, чем шум.

Господин Оливье был передо мной, его серый светр доходил до ушей, голова была непокрыта. Я никогда не видел его так близко. У него спокойное внимательное лицо и такие светлые глаза, что невозможно определить их цвет. Они улыбались, глядя на меня.

— Хотите прокатиться, господин кюре? — спросил он меня голосом нежным и непреклонным, который я тотчас же узнал — голосом графини. (Я не хороший физиономист, но у меня есть память на голоса, их я никогда не забываю, я их люблю. Слепой, которого ничто не отвлекает, должен многое знать в этой области.)

— Охотно, — ответил я.

Мы в молчании смотрели друг на друга. Я видел в его глазах удивление и легкую иронию. Рядом с этой сверкающей мотоциклеткой моя сутана казалась черным и грустным пятном. Каким чудом почувствовал я себя в эту минуту молодым, таким же молодым, как это торжествующее утро? В одно мгновение увидел я свою печальную юность — не так, как утопающие видят свою жизнь, прежде чем пойти на дно; это не был ряд быстро сменяющихся картин, нет! Юность стояла предо мною, как человек, как существо (живое или мертвое, Бог весть!). Но я не был уверен, что это она, я не мог ее узнать, потому что... (это покажется странным) я видел ее впервые, я еще никогда не встречал ее. Она прошла, как проходят мимо чужие, которые могли бы быть нашими братьями, но ушли безвозвратно. Я не был никогда молодым, потому что не смел. Вокруг меня жизнь шла своим чередом, мои товарищи ее познавали, наслаждались этой пронзительной весной, тогда как

я старался о ней не думать, одурманивал себя работой. Многие ко мне хорошо относились. Но мои самые лучшие приятели инстинктивно опасались того знака, который на меня наложил мое раннее детство, мой детский опыт бедности, бесчестье нищеты. Надо было им открыть сердце, но то, что хотелось сказать, было одновременно тем, что я желал во что бы то ни стало сохранить в тайне . . . Теперь всё это так ясно! Я никогда не был молодым, потому что никто не хотел им быть со мной.

Да, всё вдруг стало так ясно. Воспоминание об этом никогда не покинет меня. Это ясное небо, рыжеватый, пронизанный золотом туман, чуть покрытые инеем склоны, и эта сверкающая мотоциклетка, слегка задыхающаяся на солнце . . . Я понял, что молодость благословенна, что это тот риск, который должно принять, но что и этот риск благословен. И шестым чувством, которое не могу объяснить, я понимал и знал: Бог не хочет, чтобы я умер, не узнав ничего об этом риске — мне надо было узнать хоть немного, чтобы жертва была совершенной в свой час. И вот я испытал это жалкое мгновение торжества.

Говорить так о столь незначительной встрече, это должно показаться смешным. Но не всё ли мне равно! Чтобы не быть смешным в минуту счастья, надо этому научиться с раннего детства, когда даже язык еще не умеет пролепетать это слово. У меня не будет никогда, даже на секунду, этой уверенности, этого изящества. Счастье! Род гордости, веселья, нелепая и плотская надежда, чисто плотский облик надежды, — я думаю, именно это они называют счастьем. Словом, я чувствовал себя по-настоящему молодым рядом с этим товарищем, таким же молодым, как и я. Мы были молоды оба.

— Куда вы идете, господин кюре?

— В Мэзарг.

— Вы еще никогда не садились на мотоциклетку?

Я расхохотался. Я думал о том, что двадцать лет тому назад одно лишь прикосновение к продолговатому резервуару, вздрагивающему от медленных сотрясений мотора, заставило бы меня обмереть от восторга. А между тем, я не мог вспомнить, чтобы когда-либо в детстве осмелился даже мечтать о такой баснословной для бедных, механической движущейся игрушке. Но эта мечта, вероятно, уцелела в глубине души. И она поднималась из прошлого, чтобы вспыхнуть внезапно в больной, может быть, уже тронутый смертью, груди. Она в ней сияла, как солнце.

— Неужели? — продолжал он. — Вы можете похвастаться, что меня удивили. Вам не было бы страшно?

— О, нет, почему вы думаете?

— Просто так.

— Послушайте, — сказал я ему, — отсюда до Мэзарга мы никого не встретим. Я не хотел бы, чтобы над вами смеялись.

— Это я идиот, — ответил он после молчания.

Я кое-как влез на маленькое неудобное сиденье, и тотчас же склон горы, против которого мы находились, казалось, заскакал за нами, пока голос мотора поднимался всё выше и выше и не достиг одной, необычайно чистой, ноты. Она была, как песня света, она сама была — свет, и мне казалось, что я вижу глазами ее безмерную изгибающуюся линию, ее чудесное восхождение. Пейзаж не шел нам навстречу, он

открывался со всех сторон и величественно кружился на своей оси вне утрюмого скольжения дороги, словно врата иного мира.

Я не мог бы определить пройденный путь или время. Я только знаю, что мы ехали быстро, очень быстро, все быстрее и быстрее. Встречный ветер не был больше упором, как в начале спуска, на который я опирался всем своим весом, он сделался головокружительным ущельем, пустотою, между двумя столбами воздуха, движущимися с молниеносной быстротою. Я чувствовал их справа и слева, подобно текучим стенам, а когда я пытался шевельнуть рукой, ее прижимала к моему боку непреодолимая сила. Так мы доехали до поворота Мэзарга. Мой вожатый на секунду обернулся. Примостившись на заднем сиденье, я возвышался над его плечами, и он должен был смотреть на меня снизу вверх. «Берегитесь!» — сказал он мне. Глаза его смеялись на напряженном лице, ветер вздыбил длинные белокурые волосы. Я видел, как скат горы бросался нам навстречу, потом убежал волнистой линией. Огромный горизонт качнулся дважды, и мы уже погрузились в Жэврский спуск. Мой спутник крикнул мне не знаю что, я ответил смехом, я чувствовал себя счастливым, освобожденным, далеким от всего. Наконец, я понял, что мой вид удивил его немного, что он, вероятно, подумал, что испугал меня. Мэзарг был за нами. У меня не хватило сил протестовать. Впрочем, подумал я, мне надо было бы не меньше часу, чтобы сделать весь этот путь пешком, я еще выиграл время...

В церковный дом мы вернулись тише. Небо покрылось тучами, дул едкий северный ветер. Я почувствовал, что сон кончился.

По счастью, дорога была пуста, мы встретили только старую Мадлен, которая связывала вязанку хворосту. Она не обернулась. Я думал, что господин Оливье поедет дальше в замок, но он попросил разрешения зайти. Я не знал, что ему сказать. Я бы дал очень много, чтобы иметь возможность его угостить, ведь ничто не выбьет из головы такого крестьянина, как я, что солдаты всегда хотят есть и пить. Конечно, я не посмел предложить ему моего вина, которое превратилось в грязную и непригодную настойку. Но мы затопили печь вязанками хворосту, и он набил трубку.

— Как жаль, что я завтра еду, мы могли бы повторить...

— Мне довольно одного опыта, — ответил я. — Людям бы не понравилось, что их священник носится по дорогам с быстротою экспреса. Кроме того, я могу убиться.

— Вы этого боитесь?

— О, нет. Ничуть. Но что бы подумал его Преосвященство?

— Вы мне очень нравитесь, — сказал он мне. — Мы могли бы быть друзьями.

— Я мог бы быть вашим другом?

— Безусловно. И это не потому, что я слишком много знаю о вас. Ведь там говорят только о вас.

— Плохо говорят?

— Пожалуй... Моя кузина в бешенстве. Она — настоящая Соммеранж.

— Что вы хотите этим сказать?

— Только то, что я тоже Соммеранж. Мы жадные и жестокие, всем недовольные, с несговорчивым характером, что, вероятно, являет-

ся наследием дьявола и делает нас до такой степени врагами самих себя, что наши достоинства похожи на наши пороки; самому Господу Богу будет трудно различить среди грешников святых нашей семьи, если бы таковые случайно существовали. Единственным общим для всех нас качеством является то, что мы боимся чувствительности, как чумы. Не желая делить с другими наши удовольствия, мы имеем, по крайней мере, честность не беспокоить их нашими горестями. Это очень ценное качество в минуту смерти и, нужно сказать, мы умеем умирать. Вот. Теперь вы знаете столько же, сколько и я. Всё это вместе дает сносных солдат. К сожалению, это ремесло еще закрыто для женщин, так что наши женщины, чёрт побери! . . . Моя бедная тетушка нашла для них девиз: «Всё или ничего». Я ей как-то сказал, что этот девиз ровно ничего не значит без того, чтобы ему не придать характер пари. А это пари серьезно держать можно только в минуту смерти, не так ли? Никто из наших еще не вернулся, чтобы сказать, было ли оно принято или нет, и кем.

— Я уверен, что вы верите в Бога.

— У нас этот вопрос не ставится, — ответил он мне. — Мы все верим в Бога, все, даже худшие — худшие еще больше других, может быть. Я думаю, что мы слишком горды, чтобы безнаказанно делать зло: а так есть всегда Свидетель, Которому можно противостоять: Бог.

Эти слова должны были бы меня ранить, т. к. их легко было понять, как богохульство, а между тем, они меня никак не взволновали.

— Не так уж плохо противостоять Богу, — сказал я ему. — Это обязывает человека пойти до конца — поставить на карту всю свою надежду. Только порою Бог отворачивается . . .

Он смотрел на меня пристально своими бледными глазами.

— Мой дядя считает вас гадким и ничтожным священником и даже утверждает, что вы . . .

Кровь мне бросилась в лицо.

— Я думаю, что его мнение вам должно быть безразлично, это последний из идиотов. Что же касается моей кузины . . .

— Не продолжайте, прошу вас! — сказал я.

Я чувствовал, что глаза мои наполняются слезами, я не мог ничего поделать против этой внезапной слабости, и страх ей поддаться был так велик, что я почувствовал озноб и присел на корточки около каминна.

— Это впервые, что моя кузина выражает свои чувства с такой . . . Обычно она противопоставляет любой, даже пустой, нескромности каменное лицо.

— Говорите лучше обо мне . . .

— Вы! Не будь этой черной одежды, вы бы были похожи на любого из нас. Я это увидел сразу.

Я не понимал. (Я и сейчас еще не понимаю.)

— Вы не хотите ведь сказать, что . . .

— Ей-Богу, да, я хочу это сказать. Но вы, может быть, не знаете, что я служу в иностранном полку.

— В полку?

— В Иностранном Легионе, точнее! Это слово мне опротивело с тех пор, как оно сделалось модным у писателей.

— Полноте, священник!.. — пролепетал я.

— Священники? Их там довольно. Например, вестовой моего ко-мандира был бывшим священником из Пуату. Мы узнали об этом толь-ко после...

— После?

— После его смерти, конечно!

— А как он...

— Как он умер? Ну, ясно, на муле, обвязанный веревками, как колбаса. Он получил пулю в живот.

— Я вас не это спрашиваю.

— Послушайте, я не хочу вам лгать. Парни любят порисоваться в такие минуты. Будем откровенны: у них есть два-три выражения, по-хожих на то, что вы называете богохульством.

— Какой ужас!

Во мне происходило что-то непонятное. Бог знает, что я никогда не думал об этих жестоких людях, об их ужасном таинственном призва-нии, т. к. для всего моего поколения слово «солдат» вызывает только банальный образ мобилизованного штатского. Я помню отпускных сол-дат, которые приезжали со своими сумками, но которых в тот же ве-чер мы видели одетыми в бархатные штаны — такие же крестьяне, как и другие. И вот слова незнакомого человека вызвали вдруг во мне необъяснимое любопытство.

— Есть богохульство и богохульство, — продолжал мой товарищ своим спокойным, почти жестоким голосом. — В представлении таких людей это — способ сжечь за собой мосты, они к этому привычны. Я нахожу это идиотским, но не низким. Вне закона в этом мире, они себя ставят вне закона и в том. Если Господь не спасет солдат, всех солдат, только потому, что они солдаты, не к чему и настаивать. Еще одно бо-гохульство, чтобы не отстать от других, иметь ту же судьбу, что и то-варищи, избежать прощения в привилегированном меньшинстве — что можно на это сказать? Не думаете ли вы, что это в общем всё тот же девиз: Всё или ничего? Держу пари, что вы сами...

— Я?

— О, конечно, есть различие. Однако, если бы вы захотели посмо-треть на себя...

— Посмотреть на себя!

Он не мог удержаться от смеха. И мы засмеялись вместе, как смея-лись раньше, там, на дороге, на солнце.

— Я хочу сказать, что если бы ваше лицо не выражало... — Он остановился. Но его бледные глаза не смущали меня больше, я отлич-но понимал его мысль. — Привычку к молитве, как я предполагаю, — продолжал он. — Чёрт побери, этот язык мне мало знаком...

— Молитва! Привычка к молитве! Увы, если бы вы знали... я так плохо молюсь.

Он нашел странный ответ, который меня заставил много думать.

— Привычка к молитве, для меня это значит постоянная мысль о молитве, борьба, усилие. Неустанная боязнь страха, страх страха ле-пят лицо храброго человека. Ваше лицо — позвольте мне это ска-зать — выглядит, будто оно изношено молитвой, напоминает древний требник или одно из этих стертых лиц, вырезанных резцом на гробо-

вых плитах. Всё равно! Мне кажется, что малого не достает, чтобы ваше лицо стало лицом человека вне закона, вроде нас. Кроме того, мой дядя говорит, что вы не понимаете, что такое общественная жизнь. Признайтесь: наш строй не их строй.

— Я не отрицаю их строй, — ответил я. — Я его обвиняю только в том, что в нем нет любви.

— Наши парни знают меньше вас. Они думают, что Бог солидарен с неким родом правосудия, которое они презируют, т. к. это бесчестное правосудие.

— Сама честь... — начал я.

— О, без сомнения, честь по их понятиям. Сколь их закон ни кажется грубым вашим казуистам, он, по крайней мере, имеет то достоинство, что стоит дорого, очень дорого. Он похож на жертвенный камень, — только камень чуть побольше другого, но весь струящийся очистительной кровью. Без сомнения, наш случай совсем не ясен, и мы бы заставили богословов распутывать клубок, если бы у этих профессоров было время заниматься нами. Всё же ни один из них не посмеет утверждать про нас, что, живые или мертвые, мы принадлежим этому миру, на который в течение двадцати веков падает единственное евангельское проклятие. Ведь закон мира — отказ (а мы ни в чем не отказываем, даже в своей шкуре), наслаждение (а мы просим у разврата только покоя и забвенья, как у второго сна), жажда золота (а большинство из нас не владеет даже занесенной в инвентарь одеждой, в которой нас хоронят). Согласитесь, что эта бедность может поспорить с бедностью некоторых модных монахов, специализировавшихся в отыскании редких душ.

— Послушайте, — сказал я ему, — есть воин-христианин...

Мой голос дрожал, как он дрожит всегда, когда непостижимый знак меня предупреждает, что что бы я ни делал, мои слова принесут, согласно Божьей воле, утешение или соблазн.

— Рыцарь? — ответил он с улыбкой. — В колледже монахи клялись до сих пор его шлемом и щитом и выдавали нам «Песню о Роланде» за французскую «Илиаду». Ясно, что эти славные рыцари не были такими, как их себе представляют девицы; их надо видеть такими, какими их себе представляли враги: щит к щиту, плечо к плечу. Они стоили того высокого Образа, на который старались походить. И этот Образ они ни у кого не взяли. Наше племя носило рыцарство в крови. Церкви оставалось лишь благословить. Воины были только воинами, и мир не знал других. Защитники Града, они не были слугами, они договаривались, как равные, с ним. Самое высокое воплощение воина прежних времен — солдата-пахаря древнего Рима — было вычеркнуто ими из истории. О, без сомнения, все они не были ни чистыми, ни мудрыми. И всё же они воплощали справедливость, которая в течение веков волнует несчастных или живет в их мечтах. Ведь, в конце концов, правосудие в руках властителей — это только одно из орудий управления. Почему же его называют справедливостью? Это скорее рассчитанная необходимая несправедливость, основанная на ужасном опыте сопротивления слабых — их способности страдать, унижаться, терпеть несчастья. Несправедливость, поддерживаемая на точной степени нужного напряжения, чтобы работали колеса огромной машины,

фабрикующей богатых, без того чтобы лопнул котел. И вот пробежала весть по всему христианскому миру, что возникает нечто вроде корпуса жандармов Иисуса Христа. Распространяющиеся слухи — это, конечно, ничто! Но когда подумаешь о баснословном непрерывном успехе такой книги, как «Дон-Кихот», понимаешь, что если человечество еще не перестало мстить насмешкой за свою высокую обманутую надежду, это значит, что оно ее долго носило в своем сердце, что она глубоко вошла в него. Рукой, затянутой в железную перчатку, рыцари восстанавливали справедливость. Вы можете сколько угодно говорить, что эти люди наносили жестокие веские удары, — они всё же проникли в вашу совесть. Еще сегодня женщины дорого платят за право носить их имя, их бедное имя солдата, а наивные аллегории, некогда нарисованные на их щитах неловкими клерками, тревожат мечты могущественных королей каменного угля или стали. Вы не находите это смешным?

— Нет, — сказал я ему.

— А я, да! Так забавно думать, что светские люди хотят себя узнать в этих высоких образах после семисот лет рабства, лени и прелюбодеяний. Но они могут смыться! Эти воины принадлежат лишь христианству, а христианство больше никому не принадлежит. Нет и больше никогда не будет христианства.

— Почему?

— Потому что больше нет воинов. Раз нет воинов, нет и христианства. О, вы мне скажете, что Церковь их пережила, что это главное. Без сомнения. Но теперь больше не будет земного Царства Христа, это кончено. Надежда на него умерла с нами.

— С вами? — вскричал я. — Нельзя сказать, чтобы не хватало солдат!

— Солдат? Скажите лучше «военных». Последний настоящий воин умер 30 мая 1431 года, и это вы его убили! Хуже, чем убили: осудили, уничтожили, потом сожгли.

— Мы также сделали из нее святую...

— Лучше скажите, что этого хотел Бог. И если Он так высоко вознес этого воина, то именно потому, что он был последним. Последний из такого племени не мог не быть святым. Кроме того, Бог хотел еще, чтобы этот воин была святая. Он уважал старый рыцарский договор. Древний, никому не уступленный меч, покоится на коленях, которые самый гордый из нас может поцеловать только плача. Знаете ли, я люблю эти слова, это сдержанное напоминание во время турнира: «Честь дамам!» Не правда ли, в этом есть нечто, что должно было бы заставить окриветь ваших докторов богословия, которые так боятся женского пола?

Шутка могла бы меня заставить расхохотаться — она очень похожа на те, которые я столько раз слышал в семинарии, — но во взгляде его была тоска, та тоска, которую я знаю. И эта печаль ранила мою душу, я чувствую перед ней глупую, непреодолимую робость.

— В чем же вы упрекаете священнослужителей? — спросил я наивно.

— О, в очень малом. В том, что они нас сделали мирянами. Первое омироществление было омироществлением солдата. И оно произошло

давно. Когда вы хнычете по поводу излишеств национализма, вам бы следовало вспомнить, что вы в свое время потворствовали законам Возрождения, которые сунули христианское право под сукно и терпеливо преобразовывали, под вашим носом и смеясь вам в глаза, языческое государство, которое не знает иного закона, кроме собственного благополучия — эти безжалостные отечества, насыщенные скупостью и гордостью.

— Послушайте, — сказал я ему, — я мало знаю историю, но мне кажется, что феодальная анархия таила свои опасности.

— Да, без сомнения... Вы побоялись их пережить. Вы оставили христианство незавершенным, оно медленно созревало, стоило же дорого и приносило мало прибыли. И разве вы не строили ваши базилики из камня языческих храмов? Новое право, когда свод Законов Юстиниана был рядом!.. *«Государство, контролирующее всё, и Церковь, контролирующая государство»*, — эта изящная формула должна была нравиться вашим политикам. Но мы существовали. У нас были наши привилегии и, поверх всех границ, наше великое братство. У нас даже были наши монастыри. Монахи-солдаты! Этим можно было бы разбудить проконсулов в их гробах, да и вы тоже струсили! Честь солдата, вы понимаете, это не поймать в западню казуиста. Надо только прочитать процесс Жанны д'Арк: — «Во имя вашей веры в Святых, вашей верности сюзерену, ваших всеподданнейших чувств к королю Франции, положитесь на нас, — говорили они. — Мы вас разрешаем ото всего». — «Я не хочу быть разрешенной ни от чего», — воскликнула она. — «Тогда мы вас предадим анафеме». Она бы могла ответить на это: «Значит, я буду проклята вместе со своей присягой». Ведь нашим законом была присяга. Вы благословили эту присягу, и мы принадлежали ей, не вам. Безразлично! Вы нас предали государству. Государству, которое дает нам оружие, одевает и кормит, заботится и о нашей совести. Нам запрещено судить и даже понимать. А ваши богословы это вполне одобряют. Делая гримасу, они нам позволяют убивать где угодно и как угодно, убивать по порядку, как палачам. Защитники отечества, мы также подавляем мятежи, а если победит восстание, мы служим ему в свой черед. Мы освобождены от верности. При подобном управлении мы стали военными. И столь военными, что во времена демократического режима, привыкшего ко всякому раболепству, раболепство генералов-министров скандализирует даже адвокатов. Столь военными, что человек такого высокого происхождения, как Лиотэ, всегда отвергал это позорное имя. Впрочем, скоро не будет и военных. От семи до шестидесяти лет все... что все? Слово «армия» теряет всякий смысл, когда народы бросаются друг на друга, как африканские племена! — племена в сто миллионов человек! И богослов с всё большим и большим отвращением будет подписывать разрешения — готовые напечатанные формуляры, составленные, как я предполагаю, редакторами Министерства Народной Совести. И когда они, наконец, остановятся, ваши богословы? Лучшие убийцы будут убивать завтра без всякого риска. На высоте тридцати тысяч футов над землею какому угодно прохвосту-инженеру, в теплых ночных туфлях, окруженному рабочими-специалистами, будет достаточно только нажать кнопку, чтобы уничтожить целый город и поспешно вернуться

домой, беспокоясь лишь о том, что он запоздал к обеду. Ясно, что никто не даст этому чиновнику имя солдата. Заслуживает ли он даже имя военного? И вы, которые запретили доступ в Святую Землю бедным странствующим комедиантам XVII века, как будете вы его хоронить? Неужто наша профессия так унижена, что мы больше не можем отвечать за наши поступки, разделяя ужасающую невинность наших стальных машин? Полноте! Вы считаете, что горемыка, тискающий весенним вечером на траве свою подругу, совершил смертный грех, а тому, кто уничтожает целые города, заставляя отравленных им детей выплевывать остатки легких в колени своих матерей, достаточно переменить штаны, чтобы раздавать просфоры. Шутники! Напрасно делаете вид, что договариваетесь с Цезарями! Древний Град умер, как и его боги. А богов, хранителей современных городов, мы знаем: они обедают в городе и зовутся банкирами. Составляйте, сколько хотите, конкордатов! Вне христианства нет места на Западе ни для отечества, ни для воина, а ваша трусливая снисходительность даст скоро прикончить и обесчестить и одно и другое.

Он поднялся, глядя на меня во время разговора своими странными бледно-голубыми глазами, которые казались золотистыми в тени. И швырнул с бешенством папиросу в золу.

— Мне лично наплевать, — продолжал он. — Меня убьют до этого.

Каждое его слово задевало меня до глубины души. Увы! Бог предал себя в наши руки — Свое Тело и Свою Душу — Тело, Душа, божественная Честь в руках священнослужителей, а эти люди, что только они не расточают по всем дорогам земли . . . Сумеет ли мы умереть, как они? — спрашивал я себя. На минуту я спрятал свое лицо, я был в ужасе, что слезы текли по моим пальцам. Плакать перед ним, как дитя, как женщина! Но Спаситель поддержал меня. Я поднялся, опустил руки и, сделав большое усилие, — мне больно вспоминать об этом — я показал ему мое печальное лицо, мои позорные слезы. Он долго смотрел на меня. О, гордость еще сильна во мне! Я искал презрительной улыбки, по крайней мере, жалости в углах его волевого рта — я гораздо больше боялся его жалости, чем его презрения.

— Вы славный парень, — сказал он мне. — Я не хотел бы другого священника в мой смертный час.

И он поцеловал меня в обе щеки, как это делают дети.

*

Я решил ехать в Лилль. Мой заместитель пришел сегодня утром. Он нашел, что я хорошо выгляжу. Это правда, я чувствую себя гораздо лучше. У меня тысячи слегка безумных планов. Совершенно ясно, что я слишком много в себе до сих пор сомневался. Сомнение в себе не есть смирение, я даже думаю, что оно является порою самой иступленной, почти бредовой формой гордости, ревнивой свирепостью, которая заставляет несчастного восстать на самого себя, чтобы себя же растерзать. Тайна ада, должно быть, в этом.

Я боюсь, что во мне живет зародыш большой гордости. Равнодушие, которое я чувствую к тому, что принято называть «суестью мира сего», уже давно вызывает во мне скорее недоверие, чем удовлетворение. Я думаю, что есть что-то смутное в том непреодолимом отвраще-

нии, которое я чувствую к моей смехотворной особе. То, что я так мало о себе забочусь, моя природная неловкость, против которой я больше не борюсь, и даже удовольствие, которое я испытываю, снося маленькие несправедливости, — ранящие, впрочем, больше других — не скрывают ли они разочарование, источник которого не является чистым для Бога? Конечно, всё это поддерживает меня так или иначе, в довольно сносном расположении к моему ближнему, т. к. первое движение моей души это — обвинить себя, и я понимаю довольно хорошо другого. Но не является ли также правдой и то, что при этом я постепенно теряю доверие к самому себе, порыв, надежду на лучшее? Моя молодость — то, что еще от нее осталось — не принадлежит ведь мне, имею ли я право держать ее под спудом? Конечно, если слова господина Оливье были мне приятны, они мне всё же не вскружили голову. Я запомнил только то, что я могу с первого взгляда вызвать симпатию людей, похожих на него, которые настолько выше меня во всех отношениях... Не знак ли это?

Я вспоминаю также слова Торсийского священника: «Ты не создан для войны на истощение». А здесь как раз война на истощение.

Боже, если бы я выздоровел! Если бы болезнь, от которой страдаю, была бы только первым симптомом физического перерождения, случающегося порою у людей, которым исполняется тридцать лет... Фраза, которую я прочитал не знаю где, преследует меня вот уже два дня: «Сердце мое с авангардом, сердце мое с теми, которые идут на смерть». Те, кто идут на смерть... Солдаты, миссионеры...

Погода подходит как нельзя лучше к моей... я хотел было написать: «моей радости», но это не точное слово. «Ожидание» — подошло бы лучше. Да, великое чудесное ожидание, живое даже во время сна, т. к. оно разбудило меня этой ночью. Черной ночью лежал я с открытыми глазами и был так счастлив, что ощущение этого счастья было даже мучительным, ибо необъяснимым. Я встал, выпил стакан воды и молился до рассвета. Эта молитва была шопотом души. Она напоминала бесконечный шорох листвы, предвещающий рассвет. Какая заря взойдет во мне? Милость ли это Господня ко мне?

*

Я нашел в своем почтовом ящике записку от господина Оливье из Лилля, где он проведет, как он пишет, последние дни своего отпуска у одного друга, живущего на Зеленой улице номер 30. Я не помню, что я ему говорил о предстоящем мне путешествии в этот город. Какое странное совпадение!

Автомобиль господина Бигра приедет за мной сегодня утром в пять тридцать.

*

Я лег вчера благоразумно спать. Но сон не приходил. Я долго боролся против искушения встать и снова взяться за этот дневник. Как он мне дорог! Даже мысль о том, чтобы оставить его здесь во время моего краткого отсутствия, мне невыносима. Я думаю, что не вытерплю и суну его в последнюю минуту в мою сумку. Кроме того, ящики запираются плохо, и всегда возможно нескромное любопытство.

Увы! Думаешь, что ничем не дорожишь и вдруг обнаруживаешь, что попался на свою собственную удочку, что даже самый бедный человек обладает тайным сокровищем. Наименее, на первый взгляд, драгоценные сокровища, являются порою самыми опасными. Совершенно ясно: есть что-то болезненное в моей привязанности к этим листкам. И всё же они были для меня большой поддержкой во время испытания, а сейчас являются драгоценным свидетельством, слишком унижительным, правда, чтобы я им любовался, но достаточно точным, чтобы сосредоточить мысли. Они меня освободили от мечтательности. А это большое дело.

Вполне возможно и даже вероятно, что отныне они мне будут не нужны. Бог мне дарует столько милости неожиданной, удивительной! Я исполнен надежды и мира.

Я положил связку хвороста в очаг, я посмотрю, как она пылает, прежде чем сесть писать. Если мои предки слишком много пили и недостаточно ели, то, вероятно, они были также привычны и к холоду, т. к. я всегда чувствую, видя огонь, некое глупое удивление ребенка или дикаря. Как ночь тиха! Я чувствую, что больше не засну.

Итак, я заканчивал сегодня после обеда приготовления к отъезду, когда услышал скрип входной двери. Я ждал моего заместителя, мне казалось, что слышу его шаги. Если уж нужно всё сказать, я был занят идиотской работой. Башмаки мои в порядке, но они порыжели от сырости, я их красил чернилом, прежде чем почистить мазью. Не слыша больше никакого шума, я вышел в кухню и увидел мадемуазель Шанталь, сидящую на низеньком стульчике около камина. Она не смотрела на меня, глаза ее разглядывали золу.

Признаюсь, это меня не очень удивило. Заранее готовый нести все последствия моих ошибок, вольных и невольных, я чувствую, что мне милостиво дана передышка, отсрочка, и не хочу ничего предусматривать. К чему? Она была слегка смущена моим «здравствуйте».

— Вы едете завтра, не правда ли?

— Да, мадемуазель.

— Но вы вернетесь?

— Это будет зависеть . . .

— Это зависит только от вас.

— Нет. Это зависит от доктора. Я еду на консультацию в Лилль.

— Вам повезло, что вы больны. Мне кажется, что болезнь дает время для мечтаний. Я же никогда не мечтаю. Всё протекает в моей голове с ужасающей ясностью, словно счета экзекутора или нотариуса. Женщины нашей семьи очень положительные, как вы знаете.

Она подошла ко мне, пока я старательно чистил башмаки. Я даже нарочно медлил и мне бы, конечно, было приятно, если бы наш разговор кончился смехом. Быть может, она разгадала мои мысли. Внезапно она сказала свистящим голосом:

— Мой кузен говорил вам обо мне?

— Да, — ответил я. — Но я не могу передать наш разговор, я его больше не помню.

— Мне это безразлично. Мне наплевать и на его мнение и на ваше.

— Послушайте, — сказал я ей, — вам очень хочется узнать мое.

Она поколебалась с минуту и ответила просто «да», т. к. она не любит лгать.

— У священника не может быть мнения, я бы хотел, чтобы вы это поняли. Миряне судят по отношению к тому злу или добру, которое они способны сделать друг другу, мне же вы не можете сделать ни добра, ни зла.

— По крайней мере, вы бы должны были судить меня согласно . . . не знаю . . . согласно заповедям . . . морали?

— Я мог бы вас судить только согласно благодати, но я не знаю, какие именно дары вам были даны и никогда этого не узнаю.

— Полноте! У вас есть глаза и уши, вы ими пользуетесь, как все люди, я думаю?

— О, они мне ничего не откроют в вас! — Мне кажется, я улыбнулся.

— Кончайте! Кончайте! Что вы хотели сказать?

— Я боюсь вас оскорбить. Я помню, что ребенком я видел театр марионеток в день престольного праздника в Вилмане. Петрушка спрятал свое сокровище в глиняный горшок и жестикулировал на противоположном конце сцены, чтобы отвлечь внимание комиссара. Я думаю, что вы много волнуетесь, в надежде скрыть от всех свою правду или, может быть, чтобы ее забыть.

Она слушала меня внимательно, положив локти на стол, спрятав подбородок в ладони и сунув мизинец левой руки между сжатыми зубами.

— Я не боюсь правды, и если вы мне бросаете вызов, я могу тотчас же вам исповедоваться. Я ничего не скрою, клянусь!

— Я не бросаю вам вызова, — сказал я ей, — а чтобы согласиться вас исповедовать, необходимо условие, чтобы вам упрожала смерть. Отпущение придет в свое время, надеюсь, и наверно от другой руки, чем моя.

— О, быть пророком сейчас не трудно. Папа поклялся добиться вашего перемещения, а все здесь теперь считают вас пьяницей, потому что . . .

Я резко обернулся:

— Довольно! — сказал я ей. — Я не хотел бы отнестись к вам без уважения, не возобновляйте же ваших глупостей, вы кончите тем, что меня пристыдите. Раз вы здесь — против воли вашего отца — помогите мне прибрать дом. Сам я никогда не сумею этого сделать.

Когда я теперь об этом думаю, я не могу понять, почему она меня послушалась. В ту минуту я нашел это естественным. Вид церковного дома менялся на глазах. Она молчала, я наблюдал за нею исподтишка, и она показалась очень бледной. Внезапно она бросила тряпку, которой вытирала мебель, и с перекошенным от бешенства лицом снова подошла ко мне. Мне стало почти страшно.

— Довольно с вас? Вы удовлетворены? О, вы хорошо скрываете свою игру. Вас считают безобидным, вы даже вызываете сострадание. Но вы жестоки!

— Не я жесток, а та непреклонная часть вашей души, которая принадлежит Богу.

— Что вы рассказываете? Я отлично знаю, что Бог любит только

кротких, смиренных . . . Кроме того, если бы я вам только сказала, что я думаю о жизни.

— В ваши годы о ней много не думают. Хотят того или этого, вот и всё.

— Я лично хочу всего — зла и добра. Я всё узнаю.

— Это будет скоро, — сказал я, смеясь.

— Полноте! Я могу быть молоденькой девушкой и всё же отлично знать, что очень многие умерли, не успев узнать всего.

— Это оттого, что они не искали по-настоящему. Они грёзили. Вы же никогда не грёзите. Те, о ком вы говорите, подобны путешественникам, не выходящим из комнаты. Когда же идут прямо вперед — земля мала.

— Если жизнь меня разочарует, я буду мстить — зло за зло.

— В эту минуту, — сказал я ей, — вы найдете Бога. Без сомнения, я выражаюсь плохо, а кроме того, вы еще ребенок. Но всё-таки я могу вам сказать, что вы идете, повернув миру спину, мир же — не бунт, а приятие, приятие лжи в первую очередь. Бросайтесь же вперед, сколько хотите, стена когда-нибудь рухнет, а каждая брешь открывает небо.

— Говорите ли вы так из каприза . . . или . . .

— Это правда, что кроткие наследуют землю. А те, кто на вас похожи, не будут ее у них оспаривать, т. к. они не знали бы, что с нею делать. Похитители похищают только Царство Небесное.

Она страшно покраснела и пожала плечами.

— Хочется вам ответить не знаю что . . . обидеть. Неужели вы хотите располагать мною против моей воли? Я очень легко могу осудить себя на вечную муку, если захочу.

— Я отвечаю за вас, — сказал я ей, не думая, — душа за душу.

Она мыла руки под краном в кухне и даже не обернулась. Потом она преспокойно надела свою шляпу, которую сняла перед уборкой. Она вернулась ко мне, не торопясь. Если бы я не знал так хорошо ее лица, я мог бы сказать, что оно было спокойно, но я видел, как дрожали кончики губ.

— Я вам предлагаю сделку, — сказала она. — Если вы то, что я думаю . . .

— Я совсем не то, что вы думаете. Это самое себя вы видите во мне, как в зеркале, как и вашу судьбу.

— Я пряталась под окном, когда вы говорили с мамой. Вдруг лицо ее сделалось таким . . . таким кротким! В эту минуту я вас возненавидела. Я не верю в чудеса, как и в привидения, но я всё-таки знала мою мать. Ее так же волновали красивые фразы, как рыбу яблоко. Есть ли у вас тайна, да или нет?

— Это потерянная тайна, — сказал я ей. — Вы ее тоже найдете, чтобы потерять, в свою очередь, и другие передадут ее после вас, т. к. племя, к которому вы принадлежите, будет существовать, пока существует земля.

— Что? Какое племя?

— То, которое сам Бог послал в мир, и которое пребудет до тех пор, пока всё не свершится.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Мне стыдно, что я не в состоянии держать перо. Мои руки дрожат. Не непрерывно, а во время кратких припадков, длящихся по несколько секунд. Я заставляю себя записать это.

Если бы у меня было достаточно денег, я бы поехал поездом в Амьенс. Но я только что сделал эту нелепость, выйдя от доктора. Как это глупо! У меня остался обратный билет и тридцать семь су.

Предположим, что всё обошлось бы хорошо: я был бы, быть может, на этом самом месте и писал бы, как и сейчас. Я отлично помню, что заметил это маленькое тихое кафе с задней пустынной, такой удобной, комнатой и с большими деревянными, плохо обструганными столами. (Булочная рядом благоухала свежим хлебом.) Мне даже хотелось есть...

Да, наверное... Я бы вытащил эту тетрадь из сумки, попросил бы перо и чернило, и та же самая прислуга принесла бы мне их с той же самой улыбкой. Я улыбнулся бы тоже. Вся улица залита солнцем.

Когда я перечту эти строки завтра, через шесть недель, — может быть, через шесть месяцев, кто знает? — я чувствую, что мне захочется снова обрести в них... Боже мой, обрести что? Только свидетельство, что сегодня я еще ходил туда-сюда, как обычно. Это, конечно, ребячество.

Сначала я шел прямо к вокзалу. Я вошел в старую церковь, не знаю ее имени. Там было слишком много народу. Это тоже ребячество, но мне хотелось стать на колени, вернее, лечь на плиты, лицом к земле. Я еще никогда не ощущал такого физического возмущения против молитвы — столь явственного, что я не чувствовал никаких угрызений совести. Моя воля была бессильна. Я не думал, что то, что называют банальным словом «рассеянность», может носить этот характер раздробления, распыления. Я не боролся со страхом, но с бесконечным числом страхов — страх в каждой жилке — множество страхов. И когда я закрывал глаза и старался сосредоточить мысли, мне казалось, что я слышу шопот как бы несметной незримой толпы, спрятавшейся в глубине моего томления, словно в глубокой ночи.

Пот катился с моего лба, с моих рук. Я вышел. Меня охватил холод улицы. Я шел быстро. Я думаю, что если бы я страдал, я бы себя пожалел, плакал над собой, над своим несчастьем. Но я чувствовал только непонятную легкость. Мое изумление при виде этой шумной толпы было похоже на радостную дрожь. Оно меня окрыляло.

Я нашел пять франков в кармане моей сутаны. Я их сунул туда для шофера господина Битра и забыл их ему дать. Я заказал черный кофе и маленький хлебец. Хозяйку кафе зовут госпожа Дюплуи, она вдова каменщика, жившего раньше в Торси. Она наблюдала за мной некоторое время тайком с высоты своей стойки, через перегородку задней комнаты. Затем пришла и села рядом со мной, смотрела, как я ем.

— В ваши годы, — сказала она мне, — люди набрасываются на пищу.

Мне пришлось есть масло, фландрское масло, пахнущее орехом. Единственный сын госпожи Дюплуи умер от туберкулеза, а внучка — от менингита, ей не было двух лет. Сама она страдает сахарной болезнью, ноги ее распухли, но она не может найти покупателя для этого кафе, куда никто не приходит. Я ее утешал, как мог. Покорность всех этих людей устыдила меня. С первого взгляда в этой покорности нет ничего нездешнего, потому что они ее выражают на своем языке, а это уже не язык христиан. Можно сказать, что они ее вовсе не выражают, не умеют больше выразить себя. Они пользуются поговорками, газетным словарем.

Узнав, что я еду только вечером, госпожа Дюплуи предоставила в мое распоряжение заднюю комнату.

— Так вы сможете спокойно готовить свою проповедь, — сказала она.

Мне стоило большого труда помешать ей затопить печку (я всё еще дрожу).

— Во времена моей молодости, — сказала она, — священники слишком хорошо питались, были полнокровными. Теперь же вы худее заблудившейся кошки.

Я думаю, что она неправильно истолковала мою гримасу, т. к. поспешно добавила:

— Первое время — всегда трудное. Но это не играет роли. В ваши годы вся жизнь впереди.

Я открыл рот, чтобы ответить и... я сразу даже не понял. Да, прежде чем что-либо решать, размыслить, я уже знал, что сохраню молчание. Сохранить молчание, какое странное слово! Это молчание нас хранит.

(Боже, Ты так хотел, я узнал Твою Руку. Я почувствовал Ее на своих устах.)

Госпожа Дюплуи покинула меня, чтобы занять свое место за стойкой. Вошли рабочие, чтобы закусить. Один из них увидел меня через перегородку, и его товарищи покатались со смеху. Шум, который они производят, не смущает меня, напротив. Внутренняя тишина, благословенная Богом, никогда не разобщала меня с людьми. Мне кажется, что они входят в мою тишину и что я встречаю их, как на пороге моего дома. И они приходят, приходят сами того не зная. Увы, я могу им предложить только временное убежище. Но я представляю себе мир некоторых душ как великое пристанище. Бедные измученные грешники входят туда осязая, забываются и уходят утешенными, не сохранив воспоминания об опромном невидимом храме, где они временно сложили свое время.

Конечно, довольно глупо вспоминать один из самых таинственных обликов Единения Святых по поводу принятого мною решения, которое могло быть также продиктовано простым человеческим благоразумием. Это не моя вина, что я завишу всегда от вдохновения или, вернее, от сладостной Божьей жалости, которой предаюсь. Словом, я внешне понял, что после визита к доктору, я горел желанием поделить-

ся своей тайной, разделить с кем-нибудь ее горечь. И понял также: для того, чтобы обрести спокойствие, надо молчать.

В моем несчастье нет ничего удивительного. Сотни, быть может, тысячи людей по свету слышат сегодня подобный приговор в том же оцепенении. Среди них я, вероятно, один из наименее способных сдержаться в первую минуту — я слишком хорошо знаю свою слабость. Но опыт мне показал также, что я наследовал от матери и от многих других бедных женщин моего племени почти неодолимую выносливость, потому что она не пытается меряться силами со скорбью, а прокрадывается в нее, постепенно привыкает к ней — наша сила в этом. Иначе как же объяснить упрямое желание жить во что бы то ни стало стольких несчастных, чье ужасающее терпение уничтожает, в конце концов, неблагодарность и несправедливость мужа, детей, близких — о, кормилицы бедняков!

Но надо молчать. Надо молчать, пока мне будет дозволено молчание. И это может длиться недели, месяцы. Когда я подумаю, что только что было достаточно одного слова, жалостливого взгляда, простого вопроса, чтобы я выдал мою тайну! Она уже была на устах, Бог удержал ее. О, я отлично знаю, что сострадание временно облегчает, я не презираю его. Но оно не утоляет жажды, оно протекает сквозь душу, как сквозь решето. А когда наша скорбь прошла от сострадания к состраданию, как из уст в уста, мне кажется, что мы больше не сможем ни уважать, ни любить ее.

Вот я снова за этим столом. Мне хотелось снова увидеть церковь, из которой я вышел сегодня утром столь пристыженным. Это правда, что эта церковь холодна и черна. То, что я ждал, не пришло.

По моем возвращении госпожа Дюплуи разделила со мной свой обед. Я не посмел отказаться. Мы говорили о Торсийском священнике, которого она знала викарием в Пресле. Она его очень боялась. Я ел вареную говядину, овощи. В мое отсутствие она зажгла печь и, закончив обед, оставила меня одного в тепле, перед чашкой черного кофе. Я чувствовал себя хорошо, я даже задремал на секунду. Проснувшись же...

(Господи, я должен это написать. Я думаю об утрах, последних утрах этой недели, о встрече с ними, о пеньи петухов, — о высоком и мирном, еще ночном окне, правое стекло которого, всегда одно и то же, загоралось внезапно... Как всё это было свежо, непорочно...)

Итак, я пришел очень рано к доктору Лавиню. Меня почти сейчас же пустили. Приемная еще не была прибрана, прислуга, стоя на коленях, сворачивала ковер. Мне пришлось ждать несколько минут в столовой, неприбранной, как я думаю, с вечера, с закрытыми ставнями и задернутыми занавесками, со скатертью на столе и крошками хлеба, хрустевшими под моими ногами. Пахло остывшей сигарой. Наконец, дверь отворилась за моей спиной, и доктор сделал мне знак войти.

— Простите, что принимаю вас здесь, — сказал он, — это комната, где играет моя дочь. Сегодня утром вся квартира вверх дном, каждый

месяц хозяин вызывает артель уборщиков — форменная глупость. В этот день я начинаю прием только в десять часов, но, кажется, вы то-ропитесь. Но у нас есть диван, вы можете лечь, это главное.

Он отдернул занавески, и я увидел его при полном свете. Я не думал, что он так молод. Его лицо так же худощаво, как и мое, и такого странного цвета, что я сначала подумал: это от освещения. Можно было бы сказать: бронзовый оттенок. Он пристально смотрел на меня своими черными глазами нетерпеливо и отчужденно, но без всякой жестокости, напротив. Пока я с трудом снимал мой вязанный, сильно заштопанный свитер, он повернулся ко мне спиной. Я сидел на диване, не смея лечь. Этот диван, кроме того, завален ломаными игрушками, была даже тряпичная кукла, перемазанная чернилами. Доктор переложил ее на стул, потом, задав несколько вопросов, тщательно осмотрел меня, изредка закрывая глаза. Его лицо возвышалось над моим, и длинная прядь черных волос касалась моего лба. Я видел его тощую шею, сжатую плохим пожелтевшим целлулоидным воротничком; кровь, постепенно приливавшая к его щекам, придавала им медный оттенок. Он внушал мне страх и отвращение.

Осмотр длился долго. Я был поражен, что он так невнимательно отнесся к моим больным легким, он приложил лишь несколько раз руку к моему левому плечу возле ключицы и свистнул. Окно выходило во дворик, и я сквозь стекло видел почерневшую от сажи стену с узенькими отверстиями, похожими на бойницы. Совершенно ясно, что у меня было ложное представление о профессоре Лавине и его жилье. Маленькая комната казалась мне грязной и, не знаю почему, эти слов-манные игрушки, эта кукла заставляли сжиматься сердце.

— Оденьтесь, — сказал он мне.

Еще неделю тому назад я был готов к худшему. Но за последние дни я чувствовал себя много лучше. И всё-таки минуты ожидания показались мне долгими. Я старался думать о господине Оливье, о нашей прогулке в прошлый понедельник, о блистающей дороге. Руки так тряслись, что, обуваясь, я дважды порвал шнурки от ботинок.

Доктор шагал взад и вперед по комнате. Наконец, он подошел ко мне, улыбаясь. Улыбка меня успокоила лишь наполовину.

— Итак, я хотел бы иметь рентгеновский снимок. Я дам вам записку в госпиталь в отделение доктора Груссе. К сожалению, придется ждать до понедельника.

— Это так необходимо?

Он поколебался секунду. Боже, мне кажется, что в этот момент я услышал бы всё, что угодно, не поведя бровью. Но я знаю по опыту, что когда растет во мне немой и глубокий зов, предшествующий молитве, на лице моем появляется выражение, похожее на томление. Теперь я думаю, что это и обмануло доктора. Улыбка его стала определенной, открытая, почти ласковая улыбка.

— Нет, — сказал он, — это только формальность. К чему вас здесь еще задерживать? Возвращайтесь спокойно домой.

— Я могу продолжать мое служение?

— Конечно. (Я почувствовал, что кровь бросилась мне в лицо.) Я не говорю, что ваши неприятности кончились, припадки могут вернуться. Что делать? Надо научиться жить со своей болезнью, все мы

более или менее обречены на это. Я даже не прописываю вам диеты. Идите ощупью, ешьте только то, что проходит. А когда то, что проходило, больше не пройдет, не насилюйте себя, переходите постепенно на молоко, на подсахаренную воду, я говорю с вами, как друг, как товарищ. Если боли будут острыми, принимайте ложку микстуры, которую я вам пропишу — ложку каждые два часа, но никак не больше пяти ложек в день, поняли?

— Хорошо, профессор.

Он толкнул столик около кресла против меня и оказался нос к носу с тряпичной куклой, которая, казалось, поднимала к нему свою бесформенную голову, с которой краска сходила пластами, как чешуя. Он бешено отшвырнул ее в другой конец комнаты, со странным шумом ударилась она о стену и упала на пол. Она осталась там, лежа на спине, с поднятыми ногами и руками. Я не смел больше смотреть ни на него, ни на нее.

— Послушайте, — сказал он внезапно, — я определенно думаю, что вам надо пойти на рентген, но всё это не к спеху. Возвращайтесь через восемь дней.

— Если это не обязательно . . .

— Я не имею права говорить с вами иначе. Все могут ошибаться. Но не давайте Груссе задурить вам голову. Фотограф есть фотограф, никто от него не требует речей. Потом мы поговорим об этом, вы и я . . . Во всяком случае, послушайте меня, не меняйте ваших привычек, привычки в сущности — друзья человека, даже плохие. Самое скверное, что может случиться с вами, это если вы прервете вашу работу по какой бы то ни было причине.

Я едва его слушал, мне нетерпелось быть снова на улице, свободным.

— Хорошо, профессор.

Я поднялся. Он нервно теребил свои манжеты.

— Какой чёрт прислал вас сюда?

— Доктор Дельбанд.

— Дельбанд? Не знаю.

— Доктор Дельбанд умер.

— А, Бог с ним! Приходите через восемь дней. Я думаю, что я сам отвезу вас к доктору Груссе. Через неделю, во вторник, не так ли?

Он почти что вытолкнул меня из комнаты. В последние минуты на его мрачном лице появилось странное выражение: он стал весел судорожной безумной веселостью, как человек, который с трудом скрывает свое нетерпение. Я вышел, не посмев пожать ему руку. Но не успел я войти в прихожую, как обнаружил, что забыл рецепт. Дверь едва успела закрыться, мне показалось, что я слышу шаги в гостиной; я подумал, что комната пуста, и я смогу, никого не потревожив, взять забытый на столе рецепт. Но он стоял там, в амбразуре узкого окна, расстегнув штаны и поднося маленький шприц к своему бедру; я видел, как блестит металл в его пальцах. Я не могу забыть его ужасной усмешки, которой не смогло сразу стереть изумление: эта усмешка блуждала еще на полуоткрытых губах, глаза же смотрели на меня со злобой.

— Что случилось?

— Забыл рецепт, — пролепетал я.

Я сделал шаг к столу, рецепта там не было.

— Вы его сунули в карман, — сказал он мне. — Подождите секунду.

Он быстро вытащил шприц и оцепенел, не спуская с меня глаз и всё еще держа шприц в руке. Казалось, он бравировал передо мною.

— Имея это, дорогой мой, можно обойтись и без Бога.

Мне кажется, мое замешательство его обезоружило.

— Полноте, это лишь фельдшерская шутка. Я уважаю все убеждения, даже религиозные. У меня же нет никаких. У докторов не может быть убеждений, есть только гипотезы.

— Господин профессор...

— Почему вы меня называете профессором? Какой я профессор?

Я принял его за сумасшедшего.

— Отвечайте, чёрт побери! Вы ссылаетесь на коллегу, которого я не знаю, и вы называете меня профессором...

— Доктор Дельбанд советовал мне обратиться к профессору Лавиню.

— Лавиню? Вы смеетесь! Ваш доктор Дельбанд должен был быть идиотом. Лавинь умер в январе этого года семидесяти восьми лет! Кто дал вам мой адрес?

— Я нашел его в телефонной книге.

— Бросьте! Меня зовут не Лавинь, а Лавиль. Вы грамотный?

— Я очень рассеян, — сказал я ему, — простите, пожалуйста.

Он стал между мной и дверью, я не знал, выйду ли я когда-нибудь из этой комнаты, я чувствовал себя в ловушке, в западне. Пот тек по моим щекам, он ослеплял меня.

— Это я должен просить прощения. Если хотите, я могу вам дать записку к другому профессору, например, к Дюлетипре? Но, говоря между нами, я это считаю бесполезным, я знаю мое ремесло так же хорошо, как эти провинциалы, я был постоянным врачом в парижских госпиталях и третьим на конкурсном экзамене. Простите, что сам себя хвалю. Но ваш случай не сложный, каждый бы в нем разобрался, как и я.

Я снова пошел к двери. Его слова не внушали мне никакого недоверия, только взгляд, неподвижный и блестящий, страшно меня смущал.

— Я не хотел бы злоупотреблять... — сказал я ему.

— Вы не злоупотребляете (он вытащил часы), мой прием начинается только в десять. Я должен вам признаться, — продолжал он, — что я впервые встретился с одним из вас, со священником, с молодым священником. Это вас удивляет? Должен признаться, что это довольно странно.

— Я жалею только о том, что внушаю вам о нас такое плохое мнение, — ответил я. — Я очень посредственный священник.

— О, помилуйте, напротив! Вы меня очень интересуете. У вас очень, очень замечательное лицо. Вам этого никогда не говорили?

— Конечно, нет! — вскричал я. — Я думаю, вы издеваетесь надо мною.

Пожав плечами, он повернулся ко мне спиной.

— В вашей семье много было священников?

— Ни одного. Правда, я мало что знаю о моей семье. Такие семьи, как моя, не имеют истории.

— Это-то вас и обманывает. История вашей семьи записана в каждой морщине вашего лица, а их немало!

— Я бы не желал ее прочитать, к чему? Пусть мертвые хоронят мертвых.

— Они также отлично хоронят и живых. Вы считаете себя свободным?

— Я не ведаю, велика или мала моя свобода. Я только верю, что Господь дал мне ровно столько свободы, сколько нужно, чтобы вернуть ее когда-нибудь в Его руки.

— Простите меня, — продолжал он после молчания, — я должен вам показаться грубым. Ведь и я тоже принадлежу к семье... к семье, похожей, как я предполагаю, на вашу. Увидав вас, у меня возникло неприятное впечатление, что я стою... стою перед моим двойником. Вы думаете, что я сумасшедший?

Я невольно бросил взгляд на шприц. Он стал хохотать.

— Нет, морфий не пьянит, успокойтесь. Он даже отлично проясняет голову. Я ищу в нем того, что вы, вероятно, ищете в молитве — забвения.

— Простите, — сказал я ему, — в молитве ищут не забвения, а крепости.

— Сила мне больше ни к чему. — Он поднял с пола тряпичную куклу и заботливо положил ее на камин. — Молитва, — продолжал он задумчиво, — желаю вам молиться с такой же легкостью, как я вон-заю шприц под кожу. Боязливые, как вы, не молятся или молятся плохо. Признайтесь-ка, что вы любите в молитве только усилие, принуждение, она — насилие, которое вы совершаете над самим собой, без своего ведома. Нервный человек является всегда собственным палачом.

Когда я думаю об этих словах, я не могу объяснить себе тот стыд, который во мне возбудили эти слова. Я не смел поднять глаза.

— Не считайте меня за материалиста прежних времен. Молитвенный инстинкт существует в глубине каждой души, и он так же необъясним, как и другие. Я думаю, что он — тайная борьба личности против рода. Но род поглощает всё. Его же, в свою очередь, поглощает племя, чтобы иго мертвых сильнее давало себя чувствовать живым. Я не думаю, чтобы в продолжение веков кто-либо из моих предков желал знать кого-либо, кроме своих родителей. В деревушке нижней Мэн, где мы всегда жили, говорят кратко: упрямя, как Трикэ-Трикэ — наше прозвище с незапамятных времен. А «упрямя» для нас значит: забияка. Так вот, я родился с той жаждой знания, которую вы называете *libido sciendi*. Я учился, как другие жрут. Когда я думаю о годах юности, о моей маленькой комнатке на улице Жакоб, о тех ночах, я чувствую ужас, почти религиозный ужас. И всё это для чего? Для чего, я вас спрашиваю? Эту любознательность, неведомую моим, я убиваю теперь помаленьку морфием. А если долго придется ждать?.. У вас никогда не было жажды самоубийства? Она бывает часто и довольно естественна у нервных людей, как вы...

Я не нашелся, что ответить, я был, как замороженный.

— Правда, жажда самоубийства — это дар, это — шестое чувство, не знаю что еще; с ним рождаются. Заметьте, я сделаю это неприметно. Я еще хожу на охоту. Кто угодно может проходить сквозь изгородь, таща за собою ружье — паф! а на следующее утро заря вас найдет уткнувшимся нос в траву, всего в росе, свеженького, спокойного; первые дымки над деревьями, пенье петухов, крики птиц. Что ж, это вас не привлекает?

Боже! На одну минуту мне померещилось, что он знает о самоубийстве доктора Дельбанда, что он нарочно играл эту ужасную комедию. Но нет! Взгляд его был искренен. И сколь я не был взволнован, я всё же чувствовал, что мое присутствие — не знаю, по какой причине, — раздражало его, что с каждой секундой оно становилось для него всё невыносимей, и что всё-таки он был не в состоянии отпустить меня. Мы были пленниками друг друга.

— Люди, как мы, должны были бы оставаться в хвосте, — продолжал он глухим голосом. — Мы не щадим себя, мы ничего не щадим. Готов держать пари, что вы были в семинарии тем же, чем я был в лицее Провэн? Бог или Наука, мы набрасывались, мы горели. И что же? Вот мы перед... — Он внезапно остановился. Я должен был бы понять, но я думал только о том, как бы ускользнуть.

— Такой человек, как вы, — сказал я ему, — не поворачивается спиной к цели.

— Цель, а не я, поворачивает мне спину. Я умру через шесть месяцев.

Я подумал, что он всё еще говорит о самоубийстве, а он, вероятно, прочел эту мысль в моих глазах.

— Хотел бы я знать, почему я играю перед вами комедию? У вас взгляд, который вызывает желание рассказывать истории, Бог знает что. Покончить самоубийством? Полноте! Это времяпрепровождение для господ, для поэтов, недоступное мне щегольство. Я не хотел бы также, чтобы вы считали меня трусом.

— Я не считаю вас трусом, — сказал я, — я только осмеливаюсь думать, что этот... что это снадобье...

— Не говорите без разбора о морфии. Вам самому когда-нибудь... — Он смотрел на меня ласково. — Слышали ли вы когда-нибудь о злокачественном увеличении гланд? Нет? Правда, это не общеизвестная болезнь. В прежние годы я писал об этом докторат, представьте себе. Таким образом, я не могу ошибаться, мне даже не пришлось ждать анализа лаборатории. Я даю себе еще три, самое большее, шесть месяцев жизни. Как видите, я не поворачиваюсь спиной к цели. Я смотрю ей в лицо. Когда зуд слишком велик, я почесываюсь, но что же делать, у пациентов свои требования, доктор должен быть оптимистом. В приемные дни я принимаю лекарства. Лгать больным — необходимость нашего ремесла.

— Вы им лжете, может быть, слишком много...

— Вы думаете? — сказал он мне. И голос его был так же нежен. — Ваша роль легче моей: вам приходится иметь дело лишь с умирающими, как я предполагаю. В большинстве же случаев агония протекает в состоянии как бы опьянения. Совсем другое дело сразу, од-

ним словом, отнять у человека надежду. Это случалось со мной раз или два. О, я знаю, что вы мне можете ответить — ваши богословы сделали из упования добродетель, у вашей надежды молитвенно сложены руки. Оставим упование, никто еще не видел это божество очень близко. Зато могу вам сказать, что надежда — это зверь, могущественный и свирепый зверь в человеке. Лучше дать ей угаснуть потихоньку. Или не промахнитесь! Если дадите маху, она будет царапаться и кусаться. А у больных столько злобы! Как бы хорошо их не знал, всё же не сегодня, так завтра попадешься. Вот, например, старый полковник, закаленный вояка колониальных войск, который попросил у меня правды, по-товарищески . . . Брр!

— Надо умирать постепенно, — пролепетал я, — привыкнуть.

— Глупости! Вы уже проделали это упражнение?

— По крайней мере, пробовал. Впрочем, я не сравниваю себя с мирянами, у которых есть свои занятия, семья. Жизнь такого бедного священника, как я, никому не нужна.

— Возможно. Но если вы не проповедуете ничего иного кроме покорности, то это не ново.

— Радостная покорность, — сказал я.

— Довольно! Человек глядится в свою радость, как в зеркало, и сам себя, балда, не узнает. Наслаждаться можно лишь за свой собственный счет, за счет своего существа: радость и боль — одно.

— То есть, то, что вы называете радостью. Но задача Церкви состоит в том, чтобы снова обрести источник утерянных радостей.

Взгляд его был так же нежен, как и голос. Я же чувствовал невыразимое утомление, мне казалось, что я нахожусь в этой комнате уже часы.

— Отпустите же меня! — воскликнул я.

Он вытащил рецепт из кармана, но не протянул его мне. И вдруг положил вытянутую руку на мое плечо, склонив голову и моргая глазами. Лицо его мне напомнило видения моего детства.

— В конце концов, — сказал он, — возможно, что я обязан правдой таким людям, как вы.

Он колебался, прежде чем продолжать. Как ни странно это может показаться, слова его падали, не пробуждая во мне никакой мысли. Двадцать минут тому назад я вошел в этот дом, предавши себя на Волю Божию, готовый услышать что угодно. Несмотря на то, что последняя неделя, проведенная в Амбрикуре, оставила во мне необъяснимое ощущение беспечности, упования и как бы обещание счастья, ободряющие вначале слова господина Лавиля доставили мне, тем не менее, большую радость. Теперь я понимаю, что эта радость была, без сомнения, гораздо больше и глубже, чем я думал. Она была тем же чувством освобождения, веселья, как и та, которую я испытал на дороге в Мэзарг, но к ней примешивался восторг необычайного нетерпения. Сначала мне хотелось бежать из этого дома, от этих стен. И в тот самый момент, когда, казалось, мой взгляд отвечал на немой вопрос доктора, я только прислушивался к глухому шуму улицы. Скрыться! Бежать! Увидеть снова это зимнее, столь чистое небо, на котором, сквозь дверцу вагона, я видел занимавшуюся зарю. Господин Лавиль непре-

вильно истолковал этот взгляд. И внезапно меня озарил свет. Прежде чем он закончил фразу, я стал уже мертвецом среди живых.

Рак . . . Рак желудка . . . Это слово меня особенно поразило. Я ждал другого слова: туберкулез. Мне нужно было сделать громадное усилие, чтобы убедить себя, что я умру от болезни, встречающейся очень редко у людей моего возраста. Я должно быть нахмурил брови, как при изложении трудной задачи. Я был так погружен в самого себя, что, кажется, не побледнел. Доктор не спускал с меня глаз, я читал в этом взгляде доверие, симпатию, не знаю что еще. Это был взгляд друга, товарища. Его рука снова опустилась на мое плечо.

— Мы пойдем посоветоваться с Груссе, но, откровенно говоря, я не думаю, что операция возможна. Меня даже удивляет, что вы так долго сопротивлялись. Брюшная полость увеличена, опухоль значительна и, к сожалению, я заметил под левой ключицей верный признак, то, что мы называем glandой Труазье. Заметьте, что эволюция может быть продолжительной, хотя в ваши годы . . .

— Как долго это может продолжаться?

Он, наверное, опять ошибся, т. к. мой голос не дрожал. Увы, мое хладнокровие было лишь оцепенением. Я явственно слышал шум трамваев, звон колоколов, был уже мысленно на пороге этого зловещего дома, чтобы потеряться в быстрой толпе . . . Да простит мне Бог! Я о Нем не думал . . .

— Трудно сказать. Всё зависит от кровотечения. Оно редко бывает смертельным, но его частое повторение . . . Кто знает? Когда я вам только что советовал снова взяться спокойно за свои занятия, я не играл комедию. При удаче вы умрете на посту, как тот славный император или почти так. Всё зависит от силы духа. Если только . . .

— Если только?

— Вы упорны, — сказал он мне, — из вас бы вышел хороший доктор! Впрочем, я предпочитаю всесторонне осведомить вас теперь, чем заставлять перелистывать словари. Итак, если вы почувствуете на днях боль на внутренней стороне левого бедра и легкий жар, ложитесь в постель. Этот род закупорки сосудов случается при вашей болезни довольно часто, и вы рискуете, что сгусток крови попадет в сердце. Теперь, мой дорогой, вы знаете столько же, сколько и я.

Он протянул мне, наконец, рецепт, который я машинально сунул в записную книжку. Почему я не ушел в эту минуту? Я не знаю. Может быть, я не смог подавить гнева, возмущения против этого незнакомца, распорядившегося мною, как своей собственностью. Может быть, был я слишком поглощен нелепым намерением согласовать в несколько несчастных секунд мои мысли, мои проекты, даже мои воспоминания, всю мою жизнь с новым положением, которое делало из меня другого человека. Вернее, был я как всегда парализован моей застенчивостью и не знал как проститься. Мое молчание удивило доктора Лавиля. Я это понял, услышав, как задрожал его голос.

— Остается еще сказать, что в мире существуют тысячи больных, уже давно приговоренных докторами, которым вскорости исполнится сто лет. Замечены рассасыванья злокачественных опухолей. Во всяком случае, такой человек, как вы, не был бы надолго обманут болтовней Груссе, успокаивающей лишь идиотов. Нет ничего более

унизительного, чем вырывать «по столовой ложке» правду из этих жрецов науки, которым, кроме того, в высшей степени наплевать на то, что они рассказывают. Когда людей поливают то холодной, то горячей водой, они теряют уважение к самим себе, и самые мужественные кончают тем, что присоединяются к другим, идущим стадом к своей судьбе. Наше свидание состоится через неделю, я вас отвезу в госпиталь. До тех пор служите обедню, исповедуйте ваших богомолков, не меняйте ваших привычек. Я отлично знаю ваш приход. У меня даже есть друг в Мезарге.

Он протянул мне руку. Я был всё в том же состоянии рассеянности, отсутствия. Что бы я ни делал, я знаю, что никогда не пойму, каким ужасным чудом я мог при таких обстоятельствах забыть имя Бога. Я был один, несказанно один, перед лицом моей смерти, и эта смерть была только лишением бытия, больше ничем. Видимый мир уходил от меня с ужасающей быстротою, в беспорядке не зловещих, а, напротив, сияющих, ослепительных образов. Возможно ли это? Ужели я так любил его? — говорил я сам себе. Эти утра, вечера, эти дороги? Эти меняющиеся таинственные дороги, эти шаги людей? Ужели я так любил дороги, наши дороги, мирские дороги? Какой бедный ребенок, взрослый в их пыли, не поверял им свои мечты? Они их несут медленно, величественно к неведомым морям, — большие реки, полные света и тени, несущие мечту бедняка. Я думаю, что именно слово «Мезарг» так ранило мое сердце. Мысль моя, казалось, была очень далека от господина Оливье, от нашей прогулки, но это была неправда. Я не спускал глаз с лица доктора, но вдруг оно исчезло. Я не сразу понял, что плачу.

Да, я плакал. Я плакал, не всхлипывая, не вздыхая. Я плакал с широко открытыми глазами, как плачут умирающие — это была жизнь, которая уходила от меня. Я вытер глаза рукавом сутаны и снова увидел лицо доктора. На нем было невыразимое выражение удивления, сочувствия. Если бы можно было умереть от отворачивания, я бы умер. Я должен был бы бежать, но не посмел. Я ждал, чтобы Господь внушил мне слово, слово пастыря, я заплатил бы за него жизнью, тем, что мне осталось от жизни. Я хотел, было, просить прощения, а смог лишь пролепетать это слово, слезы меня душили. Я чувствовал их в горле, в них был вкус крови. Что бы я только ни дал, чтобы они были этим! Откуда пришли эти слезы? Кто может сказать? Я плакал не над собой, клянусь! Я никогда не был так близок к тому, чтобы себя возненавидеть. Я не плакал над своей смертью. В детстве случалось, что я просыпался, всхлипывая. От какого же сна проснулся я на этот раз? Увы, я думал, что прохожу по свету, почти его не видя, так, как проходят с опущенными глазами среди блестящей толпы и, порою, я даже воображал, что его презираю. Но тогда мне было стыдно за себя, а не за него. Я был подобен тому бедному человеку, который любит, не смея этого сказать или даже признаться себе в этом. О, я не отрицаю, что эти слезы могли быть слезами трусости! Я также думаю, что это были и слезы любви...

В конце концов, я повернул спину, вышел и очутился на улице.

Полночь, у господина Дюфрети.

Я не понимаю, как мне не пришла мысль занять двадцать франков

у госпожи Дюплуи, я мог бы заночевать в отеле. Правда, вчера вечером я был не в состоянии размышлять, я был в отчаянии, что опоздал на поезд. Впрочем, мой бедный товарищ принял меня очень хорошо. Мне кажется, что всё хорошо.

Конечно, меня будут осуждать, что я принял, хотя бы на одну ночь, гостеприимство неисправного священника (его положение даже хуже). Торсийский священник назовет меня «дурачком». Он будет прав. Я думал это, поднимаясь вчера по смрадной черной лестнице. Я постоял с минуту против двери квартиры. Визитная пожелтевшая карточка была прикреплена четырьмя кнопками: «Луи Дюфрети, представитель аптекарских товаров». Это было ужасно.

Несколько часов тому назад я не посмел бы, может быть, войти. Но я больше не один. Во мне это... эта вещь. Словом, я позвонил в смутной надежде никого не найти. Он вышел открыть. Он был в подтяжках, в бумажных штанах, которые мы надеваем под сутаны, на босых ногах — ночные туфли. Он сказал мне почти раздраженно:

— Ты бы мог меня предупредить, у меня контора на улице Онфруа. Здесь я только на бивуаке. Дом этот отвратителен.

Я его поцеловал. У него начался припадок кашля. Я думаю, что он был гораздо больше растроган, чем хотел это показать. Остатки еды были еще на столе.

— Я должен питаться, — продолжал он с пронзающей важностью, — но у меня, к сожалению, плохой аппетит. Помнишь семинарскую фасоль? Самое ужасное, что надо готовить здесь, в алькове. Я возненавидел запах жареного масла, это нервы. В другой квартире я бы обжирался.

Мы сели рядом, я едва его узнавал. Шея его удлинилась безмерно, и голова кажется совсем маленькой, можно сказать: голова крысы.

— Это мило, что ты пришел. Говоря откровенно, я был удивлен, что ты отвечаешь на мои письма. Ты не обладал большой терпимостью там, говоря между нами...

Я отвечал не знаю что.

— Извини меня, — сказал он мне, — я приведу себя немного в порядок. Сегодня я устроил себе отдых, это случается редко. Что делать! Деятельная жизнь имеет свои хорошие стороны. Но не думай, что я стал тупоумным. Я очень много читаю, я никогда столько не читал. Быть может, когда-нибудь... У меня тут есть очень интересные выстраданные записки. Мы еще поговорим об этом. Раньше, как мне казалось, ты хорошо вертел александрийским стихом. Твои советы будут драгоценны.

Через несколько минут я увидел сквозь полуоткрытую дверь, как он скользнул по направлению к лестнице с банкой консервированного молока в руке. Я снова остался один с... Боже, это правда, я охотно бы выбрал другую смерть! Легкие, которые постепенно тают, как кусок сахара в воде; измученное сердце, которое надо непрерывно возбуждать, или даже эту странную болезнь доктора Лавиля, название которой я забыл; мне кажется, что их угроза остается не совсем ясной, абстрактной... Тогда как стоит лишь положить руку поверх сутаны на то место, где задержались пальцы доктора, мне кажется, что я нацупываю... Вероятно, воображение? Всё равно! Сколько я себе не

повторяю, что ничего не изменилось во мне за эти недели или почти не изменилось, мысль вернуться домой с . . . с этой штукой вызывает стыд, отвращение. У меня и так было искушение отвращением к самому себе, а я знаю опасность подобного чувства, которое может отнять всё мужество. Мой первый долг в начале ожидающих меня испытаний — это примириться с самим собой.

Я много думал об унижении этого утра. Я думаю, что оно произошло скорее от ошибочного суждения, чем от трусости. Ясно, что перед лицом смерти мое поведение не может быть таким, как поведение людей, стоящих много выше меня и которыми я восхищаюсь, например, господина Оливье или Торсийского священника. (Я нарочно приближаю эти имена). В подобном положении оба они сохранили бы высшее достоинство, которым является естественность и свобода больших душ. Даже графиня . . . О, я отлично знаю, что это скорее свойство, чем добродетель, что его нельзя приобрести. Увы! Что-то от этого должно же быть во мне, раз я это так люблю в других . . . Это как язык, который я отлично понимаю, не умея на нем говорить. Неудачи меня не исправляют. И как раз в ту минуту, когда мне нужны все мои силы, чувство моей неспособности сжимает меня так крепко, что я теряю нить моего бедного мужества, как неловкий оратор теряет нить своей речи. Это испытание не ново. Прежде я утешался надеждой на какое-нибудь чудесное непредвиденное событие — мученичество, может быть? В мои годы смерть кажется такой далекой, что ежедневный опыт нашей личной посредственности нас еще не убеждает. Мы не хотим поверить, что это событие не будет необыкновенным, что оно будет не более и не менее посредственным, чем мы сами, что оно будет подобно нам, по образу и подобию нашей судьбы. Оно не принадлежит к нашему привычному миру, мы думаем о нем, как о тех сказочных странах, названия которых мы читаем в книгах. Я как раз только что думал, что тоска моя была грубым минутным разочарованием. То, что я считал находящимся в тридевятом царстве, стояло предо мною. Смерть близка. Эта смерть похожа на тысячи других, и я подойду к ней с ощущением весьма посредственного, обыкновенного человека. И совершенно ясно, что я не сумею умереть достойнее, чем владел собою. Я буду так же неловок, так же неуклюж. Мне повторяют: «Будь прост». Я стараюсь поступать как можно лучше. Но как трудна простота! А светские люди читают «нищие духом» с той же снисходительной улыбкой, как когда они говорят: «смирненные». Им бы следовало сказать: «цари».

Боже, отдаю Тебе всё, от всего сердца. Только я не умею давать, я даю так, как позволяю отбирать. Самое лучшее ничего не делать. Ведь если я не умею дать, то Ты, Ты умеешь взять. А между тем, мне бы так хотелось хоть раз, только раз, быть щедрым и расточительным по отношению к Тебе!

Мне также очень хотелось пойти к господину Оливье на Зеленую улицу. Я даже пошел, но вернулся. Я думаю, мне было бы невозможно скрыть от него мою тайну. Раз он через два или три дня едет в Марокко, это бы не имело значения, но я чувствую, что я сыграл бы в его глазах, помимо моей воли, ту роль и говорил бы тем языком, которые не являются моими. Я не хочу ничем бравировать, бросать вызов. Моим героизмом является его отсутствие, и так как мне не хватает муже-

ства, я желал бы, чтобы и смерть моя была совсем незначительной, как можно незначительней, чтобы она не выделялась из других событий моей жизни. Ведь только моей прирожденной неловкости обязан я снисхождением и дружбой такого человека, как Торсийский священник. Быть может, эта неловкость и достойна этой дружбы? Быть может, она связана с детскостью? Как ни строго я сужу себя порою, я всё же никогда не сомневался в том, что во мне есть нечто от нищих духом. Детскость с этим связана. И то и другое составляют одно.

Я рад, что не увиделся с господином Оливье. Я счастлив, что могу начать первый день своего испытания здесь, в этой комнате. Это даже не комната. Мне поставили кровать в коридорчике, где мой друг держит образцы аптекарских товаров. Все эти свертки пахнут отвратительно. Нет более глубокого одиночества, чем уродство, чем опустошение уродства. Газовая горелка, из тех, что называют, как я думаю, «бабочкой», шипит и плюется над моей головой. Мне кажется, что я корчусь в этом уродстве, в этой нищете. В прежнее время она бы внушила мне отвращение. Но сейчас я рад, что она встречает мое несчастье. Должен сказать, что я ее не искал и даже не узнал сразу. Когда вчера вечером, после моего второго обморока, я очнулся на кровати, первая мысль была — бежать, бежать во что бы то ни стало. Я вспомнил, как упал в обморок перед оградой господина Дюмушеля. Это было много хуже. Я вспоминал не только пустынную дорогу, но видел и мой дом, мой маленький садик. Мне казалось, что я слышу, как шумит большая липа, которая тихой ночью просыпается задолго до зари. Мне показалось, что мое сердце перестает биться.

— Я не хочу умирать здесь! — закричал я. — Пусть меня снесут, сволокнут куда угодно, мне безразлично!

Ясно, что я потерял голову, но всё же узнал голос моего бедного товарища. В этом голосе было и раздражение и дрожь. (Он спорил с кем-то в сенях).

— Что ты хочешь? Я не в состоянии нести его сам, а ты отлично знаешь, что мы не можем больше обращаться к привратнику!

Тогда мне стало стыдно, я понял мое малодушие.

Надо, впрочем, объяснить раз навсегда. Буду продолжать свой рассказ там, где остановился. После ухода моего товарища, я долго оставался один. Потом я услышал шопот в коридоре и, наконец, он вошел, запыхавшийся, очень красный, держа в руке банку консервированного молока.

— Надеюсь, ты будешь обедать здесь, — сказал он мне. — Тем временем можно побеседовать. Может быть, я тебе кое-что почитаю. Это род дневника. Называется: «Мои жизненные пути». Мой опыт должен интересовать многих, он типичен.

Пока он говорил, со мною, должно быть, случился первый обморок. Он заставил меня выпить большой стакан вина, мне стало лучше, но началась страшная боль в брюшной полости, которая постепенно прошла.

— Что же ты хочешь? — продолжал он. — В наших жилах течет дурная кровь. Семинарии не считаются с прогрессом гигиены, и это

ужасно. Мне говорил один врач: «Вы — интеллигенты, недоедавшие с детства». Не думаешь ли ты, что это многое объясняет?

Я не мог удержаться от улыбки.

— Не думай, что я хочу оправдаться. Я принадлежу к тем, кто требует одного: полной искренности по отношению к другим и к самому себе. «У каждого своя правда» — это название потрясающей пьесы одного очень известного автора.

Я передаю его слова точно. Они бы мне показались достойными смеха, если бы одновременно я не видел на его лице явные признаки муки, признания в которой я больше не ждал.

— Не будь этой болезни, — продолжал он после молчания, — я был бы там, где ты. Но я много читал. И потом, по выходе из санатории, я вынужден был искать места, померяться силами с жизнью. Всё это вопрос воли, ума, особенно ума. Конечно, ты думаешь, что нет ничего более легкого, чем торговать. Ошибка, большая ошибка! Продаешь ли ты аптекарские товары или золотые прииски, являешься ли Фордом или скромным представителем фирмы, главное тут — умение руководить людьми. Умение руководить людьми — лучшая школа для воли, теперь я об этом кое-что знаю. Самый трудный шаг, по счастью, уже сделан. Не пройдет шести недель, как мое дело будет налажено, и я познаю сладость независимости. Заметь, я никого не уговариваю последовать моему примеру. Бывают трудные положения, и если бы меня тогда не побуждало чувство ответственности относительно... относительно одной особы, которая для меня пожертвовала блестящим положением, и которой... Прости мне этот намек на одно обстоятельство, которое...

— Я его знаю, — сказал я.

— Да... Без сомнения... Впрочем, мы можем говорить об этом объективно. Ты понимаешь, что я принял меры, чтобы ты избежал сегодня вечером встречи, которая...

Мой взгляд его явно смущал, он, верно, не находил в нем того, чего желал. Перед этим униженным тщеславием у меня было то же мучительное ощущение, которое я испытывал несколько дней тому назад в присутствии мадемуазель Луизы. Это была та же невозможность сочувствия, разделения, то же отчуждение души.

— Она обычно возвращается в это время. Я просил ее провести вечер у одной подруги, одной соседки...

Он застенчиво протянул мне через стол худую, бледную, потную и очень холодную руку — рукав был слишком для нее широк — и положил ее на мою. Я думаю, он был искренно взволнован, только взгляд лгал по-прежнему.

— Она не виновата в моем духовном кризисе, хотя наша дружба и была вначале только обменом мнений, суждений о людях, о жизни. Она была старшей сестрой в санатории. Она развитая, культурная женщина, получившая образование выше среднего: один из ее дядей — сборщик податей в Ран дю Флиз. Словом, я считал себя обязанным исполнить обещание, данное ей там. Не думай только, пожалуйста, что это — увлечение, потеря головы. Это тебя удивляет?

— Нет, — сказал я. — Но мне кажется, что ты не прав, запрещая себе любить женщину, которую ты избрал.

— Я не знал, что ты сентиментален.

— Послушай, — продолжал я, — если бы я имел однажды несчастье нарушить обет священника, я бы предпочел, чтобы это случилось вследствие любви к женщине, чем вследствие того, что ты называешь своим «духовным кризисом».

Он пожал плечами.

— Я другого мнения, — ответил он сухо. — Позволь мне, прежде всего, сказать тебе, что ты говоришь о том, чего не знаешь. Мой духовный кризис...

Должно быть, он еще продолжал говорить некоторое время, т. к. у меня осталось воспоминание длинного монолога, который я слушал, не понимая. Потом мой рот наполнился какой-то тошнотворной жидкостью, и лицо его, прежде чем раствориться в темноте, предстало предо мною с потрясающей ясностью. Когда я открыл глаза, я перестал выплевывать ту лишнюю жидкость, которая прилипала к деснам (это был сгусток крови), и я тотчас же услышал женский голос. Она говорила с акцентом жителей Ленса: — «Не двигайтесь, господин кюре, это пройдет».

Сознание вернулось тотчас же, рвота меня очень облегчила. Я сел на кровати. Бедная женщина хотела было выйти, я удержал ее за руку.

— Простите меня. Я была у соседки, по ту сторону коридора. Господин Луи немного перепугался. Он хотел бежать в аптеку Ровель. Господин Ровель его товарищ. К сожалению, аптека закрыта ночью, а господин Луи не может быстро ходить, задыхается. Здоровье его оставляет желать лучшего.

Чтобы ее успокоить, я сделал несколько шагов по комнате, и она согласилась снова присесть. Она так мала, что ее можно было бы легко принять за одну из тех девочек, которых видишь в домишках шахтеров и возраст которых трудно определить. Лицо ее не неприятно, напротив, но, кажется, достаточно отвернуться, чтобы его сразу же забыть. Ее выпуклые голубые глаза улыбаются так покорно, так смиренно, что походят на глаза прабабушек, на глаза старых прях.

— Когда вам станет лучше, я уйду, — продолжала она. — Господин Луи будет недоволен, найдя меня здесь. Он не хочет, чтобы мы разговаривали, он мне наказывал, уходя, сказать вам, что я соседка. — Она уселась на низенький стул. — Вы должны быть плохого мнения обо мне, комната даже неприбрана, всё так грязно. Это оттого, что я ухожу рано утром на работу, в пять часов. А сил у меня не много, как видите...

— Вы сестра милосердия?

— Сестра? Да что вы? Я была сиделкой в санатории, когда я встретила... Но вас, верно, удивляет, что я называю его «господин Луи», когда мы живем вместе? — Она опустила голову, делая вид, что перебирает складки своей жалкой юбки. — Он больше не видится со своими старыми... со своими старыми товарищами. Вы первый. Я отдаю себе отлично отчет, что ему не пара. Только что же делать? В санатории он решил, что поправился, вообразил... Что касается религии, я не вижу зла в том, чтобы жить, как муж и жена, но он дал обет, не правда ли? Обет есть обет! Но что же делать, в то время я не могла с

ним говорить на эту тему, тем более, что... простите меня... я его любила.

Она произнесла это слово с такой печалью, что я не знал, что отвечать. Мы оба покраснели.

— Была и другая причина. Образованного, как он, человека не легко лечить, он знает столько же, как доктор, знает лекарства, и хотя он теперь торгует аптекарскими товарами, даже имея скидку в 55%, всё же аптека стоит дорого.

— Что же вы делаете?

Она поколебалась с минуту.

— Я работаю прислугой. При нашей работе больше всего утомляет хождение из одного квартала в другой.

— А его торговля?

— Говорят, что это даст большой заработок. Но надо было занять денег для устройства канцелярии, для покупки пишущей машинки, и потом он ведь совсем не выходит. Разговоры его так утомляют! Заметьте, я бы отлично справилась сама, но он вбил себе в голову заняться моим образованием, как он говорит, школой.

— Но когда же?

— Да по вечерам, ночью, т. к. он мало спит. Для таких людей, как я, для рабочих, нужен сон. О, заметьте, он делает это не нарочно, он об этом не думает: «Вот уже и полночь», говорит он. Ему хочется, чтобы я стала дамой. Такой человек, как он, вы понимаете?.. Совершенно ясно, что я не была бы для него парой, если бы...

Она наблюдала за мной с необыкновенным вниманием, так, будто бы вся ее жизнь зависела от слова, которое она скажет, от тайны, которую откроет. Я не думаю, чтобы она мне не доверяла, но ей не хватало решимости произнести перед чужим роковое слово. Скорее всего ей было стыдно. Я часто замечал у бедных женщин это отвращение говорить о болезнях, эту стыдливость. Она покраснела.

— Он умрет, — сказала она. — Но он не знает.

Я не мог удержаться, чтобы не привскочить. Она покраснела еще больше.

— Я угадываю, что вы думаете. Сюда приходил один викарий, очень вежливый человек, которого господин Луи, впрочем, не знает. По его мнению, это я мешаю господину Луи исполнить свой долг, как он говорит. Что такое «долг» — не легко понять. О, эти господа ухаживали бы за ним лучше меня, принимая во внимание недостаток воздуха в квартире и пищу, которая всё-таки не такая, как должна быть, несмотря на всё. Что касается качества пищи, это мне удастся, но не хватает разнообразия, господину Луи всё скоро надоедает. Я бы только хотела, чтобы он сам принял решение, это было бы лучше, не думаете ли вы? При одном предположении, что я уйду, он решит, что ему изменили. Ведь — не хочу вас оскорбить — он знает, что я не верю. Тогда...

— Вы повенчаны? — спросил я ее.

— Нет.

Я увидел, как тень прошла по ее лицу. Потом она вдруг решилась.

— Не хочу вам лгать. Это я не хотела.

— Почему?

— Потому что . . . потому что он . . . Когда он вышел из санатории, я надеялась, что ему будет лучше, что он выздоровеет. Тогда, в случае, если бы он захотел когда-нибудь, кто знает? . . . Я не была бы для него помехой, говорила я себе.

— А как он к этому отнесся?

— О, никак. Он подумал, что я не хочу из-за моего дяди, бывшего почтальона из Ран дю Флиз, у которого есть имущество, и который не любит священников. Я сказала, что он меня лишит наследства. Смешнее всего то, что старик меня в самом деле лишает наследства только потому, что я не вышла замуж, стала «наложницей», как он это называет. В сущности, это хороший человек, мэр в своей деревушке. «Раз ты даже не можешь заставить жениться своего кюре, значит ты стала полным ничтожеством», пишет он мне.

— Но когда? . . . — Я не смел закончить, она кончила за меня голосом, который мог бы многим показаться равнодушным, но который я хорошо знаю, который будит во мне столько воспоминаний, голосом, лишенным возраста, мужественным и безропотным, который умиряет пьяницу, бранит непослушных детей, баюкает младенца без пеленок, спорит с безжалостным поставщиком, умоляет судебного пристава, умиротворяет агонию, голосом хозяйки, одинаковым во все века, голосом противоборствующим всем несчастьям мира.

— Когда он умрет, у меня останется моя работа прислуги. До санатории я прислуживала на кухне в детской больнице возле Иера, на юге. Дети, видите ли, — нет ничего лучшего. Дети — Бог.

— Вы, может быть, снова получите такое ж место, — сказал я ей. Она еще больше покраснела.

— Не думаю. Потому что — я не хотела бы, чтобы это знали — у меня было вообще слабое здоровье, и я от него заразилась.

Я замолчал. Она казалась очень смущенной моим молчанием.

— Возможно, что эта болезнь уже у меня была, — сказала она, как бы прося прощения, — у моей матери тоже было слабое здоровье.

— Я хотел бы вам помочь, — сказал я ей.

Она наверно подумала, что я предложу ей денег, но, взглянув на меня, успокоилась и даже улыбнулась.

— Послушайте, я бы очень хотела, чтобы вы ему сказали относительно его желания дать мне образование. Когда подумаешь, что . . . вы понимаете? — то малое количество времени, что нам осталось быть вдвоем, — становится горько! Он был всегда нетерпелив, что же вы хотите от больного! Но он говорит, что я это делаю нарочно, что я могла бы учиться. Заметьте, в этом виновата моя болезнь, я не так глупа . . . Но что же я могу ответить? Представьте себе, он стал меня учить латинскому языку, меня, не имеющую даже аттестата. Кроме того, когда я кончаю мою работу, голова моя пуста, мне хочется только спать. Неужели же нельзя просто спокойно поговорить?

Она опустила голову и стала играть кольцом, которое у нее было на пальце. Когда она заметила, что я смотрю на кольцо, она быстро спрятала руку под передник. Я горел желанием задать ей вопрос, но не посмел.

— Ваша жизнь тяжела, — сказал я ей, — вы никогда не отчаиваетесь?

Она решила, что это — западня, лицо ее стало мрачно и настороженно.

— Вам никогда не хочется взбунтоваться?

— Нет, — ответила она, — только, порою, я не понимаю.

— И тогда?

— Приходят разные мысли, когда отдыхаешь, я их называю «воскресными мыслями». Порою также, когда я очень, очень утомлена . . . но почему вы меня об этом спрашиваете?

— По дружбе, — сказал я ей, — потому что есть минуты, когда и я . . .

Она не сводила с меня глаз.

— У вас тоже плохой вид, надо сказать! Итак, когда я больше ни к чему не годна, когда не держусь на ногах, и болит в боку, я сажусь в угол одна, и — вы будете смеяться — вместо того, чтобы рассказывать себе веселое, вещи, которые ободряют, я думаю обо всех этих людях, которых я не знаю, которые на меня похожи — а их ведь много, велика земля! — о нищих, сбивающих подметки под дождем, о потерявших детей, о больных, о безумных в домах умалишенных, воющих на луну, о многих, многих! Я проскальзываю в их ряды, стараюсь стать незаметной и, знаете, иду не только среди живых, но и среди мертвых, тех, что страдали, и среди неродившихся, которые будут страдать, как мы . . . «Зачем это? Зачем страдать?», говорят они все. И мне кажется, что я повторяю эти слова с ними, мне кажется, я слышу — это похоже на убаюкивающий шопот. В эти минуты я бы не поменялась с миллионером, я чувствую себя счастливой. Что делать! Это помимо моей воли, я не рассуждаю. Я похожа на маму. «Если самая большая удача — не иметь удачи, то я имею всё!», говорила она. Я никогда не слышала от нее жалоб. А, между тем, она была дважды замужем, два пьяницы, не повезло! Папа был худший, вдовец с пятью мальчишками, настоящие дьяволята. Она растолстела до невозможности, вся кровь превращалась в жир. Неважно! «Нет ничего выносливее женщины», говорила она, «она ложится в кровать только для того, чтобы умереть». У нее были боли в груди, в плече, в руке, невозможно было дышать. В последний вечер папа вернулся мертвецки пьяный, как и обычно. Она хотела поставить кофейник на огонь, он выскользнул из рук. «Дура я, дура», сказала она, «беги к соседке, займи кофейник и быстренько возвращайся, не дай Бог отец проснется». Когда я вернулась, она была почти мертва, одна половина лица почернела, и язык, тоже почерневший, высывался изо рта. «Придется лечь», сказала она, «мне нездоровится». Папа храпел на кровати, она не посмела его разбудить, присела около огня. «Ты можешь теперь положить кусок сала в суп», сказала она еще, «он закипел». И она умерла.

Я не хотел ее прерывать, потому что я отлично понимал, что она еще никогда столько никому не рассказывала и, правда, она как бы вдруг проснулась, была очень смущена.

— Я говорю, говорю, а между тем слышу, как господин Луи возвращается, я узнаю его шаги на улице. Лучше мне уйти. Он меня, возможно, позовет, — прибавила она, краснея, — но не говорите ему ничего, он будет очень сердиться.

Увидав меня на ногах, мой друг очень обрадовался, и это меня тронуло.

— Аптекарь был прав, посмеявшись надо мною. Правда, малейший обморок меня страшно пугает. У тебя просто несварение желудка, вот и всё.

Затем мы решили, что я проведу ночь здесь, на этой складной кровати.

Я старался заснуть, но не было никакой возможности. Я боялся, что свет и шипенье газовой горелки мешают моему другу. Я приоткрыл дверь и заглянул в его спальню. Она была пуста.

Нет, я не жалею, что остался, напротив. Мне даже кажется, что Торсийский священник меня бы одобрил. А если это глупость, она уже не в счет. Мои глупости больше не считаются: я выпал из игры.

Конечно, во мне было многое, что могло волновать моих начальников. Но это потому, что мы разрешали задачу неправильно. Например, Бланжермонский протоиерей был прав, сомневаясь в моих возможностях, в моем будущем. Но только — у меня не было будущего, а мы этого оба не знали.

Я думаю также, что молодость — дар Божий и, как все Божьи дары, не требует покаяния. По-настоящему молоды лишь те, кому Он определил не пережить своей молодости. Я принадлежу к этим людям. Я спрашивал себя: что буду делать в пятьдесят, в шестьдесят лет? И, естественно, не находил ответа. Я не мог его даже выдумать. Во мне не было старца.

Эта уверенность сладостна. Впервые за годы, за всю жизнь, быть может, мне кажется, я стою перед моей молодостью и гляжу на нее доверчиво. Мне кажется, я узнаю ее лицо, забытое лицо. И она тоже глядит на меня, прощает мне. Подавленный ощущением моей врожденной неловкости, делавшей меня неспособным совершенствоваться, я требовал от нее того, что она не могла дать, она мне казалась достойной смеха, я стыдился ее. А теперь, уставшие от наших тщетных споров, мы можем присесть на краю дороги, дыша в молчании глубоким миром вечера, куда мы войдем вместе.

Мне также сладостно сказать, что никто не был слишком строг со мною — я не хочу употреблять громкого слова: несправедливость. Конечно, я охотно отдаю должное тем душам, которые могут найти в несправедливости, которую они претерпели, источник силы и надежды. Но что бы я ни делал, я знаю, что мне всегда будет тяжело сознавать, что я — причина, пусть невинная, или только повод к чужому греху. Даже на Кресте, достигнув в томлении совершенства своей святой человечности, Господь не утверждает, что Он — жертва несправедливости: «Не ведают, что творят». Слова, понятные малым детям, слова, которые хочется назвать детскими, но которые демоны должны с этого дня повторять, не понимая, со всё возрастающим ужасом. В тот момент, когда они ждали грома, невинная рука закрыла над ними колодезь преисподней.

Мне доставляет поэтому большую радость думать, что те упреки, от которых я страдал порою, были мне сделаны только по причине на-

шего общего незнания моей истинной судьбы. Ясно, что столь благоразумный человек, как Бланжермонский протоиерей, старался предвидеть, чем я буду потом, и бессознательно сердился на меня сегодня за мои завтрашние ошибки.

Я наивно любил ближних (впрочем, я думаю, что иначе любить не умею). Но я чувствую, что эта наивность сделалась бы в дальнейшем опасной для меня и для ближнего. То, что я всегда очень неумело сопротивлялся естественной склонности моего сердца, позволяет мне считать ее неистребимой. Мысль, что эта борьба кончится за неимением объекта, приходила мне уже сегодня утром на ум, но тогда я был еще ошеломлен словами доктора Лавиля. Она вошла в меня постепенно. Это была тонкая струйка чистой воды, а сейчас она затопляет душу, дает мне прохладу. Молчание и мир.

Конечно, совершенно ясно, что в течение последних недель, последних месяцев, которые мне еще дарует Бог, до тех пор, пока я смогу управлять приходом, я буду стараться, как и прежде, поступать с осторожностью. Но теперь я буду меньше беспокоиться о будущем, буду работать для настоящего. Такая работа кажется мне созданной для меня, подходящей к моим способностям. Ведь мне удаются только малые дела; пусть беспокойство было моим постоянным испытанием, зато маленькие радости были моим торжеством, в этом я должен признаться.

Этот важный день был подобен другим: страх не стал его завершением, но зато и начинающийся не просияет славой. Я не бегу от смерти, но и не бросаю ей вызова, как наверно сделал бы господин Оливье. Я пытался взглянуть на нее как можно смиреннее, и взгляд этот не был лишен тайной надежды обезоружить и умиловить ее. Если бы это сравнение не казалось мне глупым, я мог бы сказать, что глядел на нее такими же глазами, как раньше на Сялписа Митонэ и мадемуазель Шанталь . . . Увы, здесь нужны были бы неведение и простота малых детей!

Прежде, пока я не узнал, что меня ожидает, я часто боялся, что не сумею умереть, когда придет мой час, т. к. совершенно ясно, что я очень впечатлителен. Я вспоминаю слова дорогого старого доктора Дельбанда, которые я уже, кажется, приводил в этом дневнике. Говорят, что агония монахов и монахинь не является обычно самой безропотной. Сегодня это меня не беспокоит. Я отлично понимаю, что уверенный в себе, в своем мужестве, человек может желать сделать из своей агонии нечто законченное и совершенное. Моя же, за неимением лучшего, будь какой будет, и ничем больше. Если бы эти слова не были слишком смелы, я бы сказал, что самые лучшие поэмы не стоят для влюбленного неловкого лепета признания. И если хорошенько подумать, то это сравнение не может никого обидеть, так как борец со смертью является, прежде всего, актом любви.

Возможно, что Господь сделает мою агонию примером и уроком. Я бы также не имел ничего против того, чтобы она вызвала жалость. Почему? Да потому, что я любил людей и чувствую, что земля живых мне была дорога. Я не умру без слез. Поскольку мне совершенно чуждо стоическое равнодушие, зачем мне желать себе смерти бесстрастных? Все герои Плутарха внушают мне страх и скуку. Войди я в рай

переодетым в их костюм, мне кажется, что даже мой Ангел-Хранитель улыбнулся бы.

Зачем тревожиться? Зачем предвидеть? Если мне будет страшно, я скажу, не стыдясь: мне страшно! И да будет первый взгляд Господа, когда я увижу Его Пречистый Лик, взглядом ободряющим!

Я заснул на минуту, положив локти на стол. Заря близка, мне кажется, я слышу тележки молочников.

Я хотел бы уйти, никого не встретив. К сожалению, это не легко, даже если я оставлю записку на столе, пообещав скоро вернуться. Мой друг не поймет.

Что я могу для него сделать? Я боюсь, что он откажется повидаться с Торсийским священником. Я еще больше боюсь, что Торсийский священник смертельно оскорбит его тщеславие и толкнет его на абсурдный отчаянный поступок, на который способно его упрямство. Конечно, мой старый наставник, в конце концов, одержит верх. Но если эта бедная женщина сказала правду, то время не терпит.

Время не терпит и для нее... Вчера вечером я избегал смотреть на нее, я думал, что она прочитает в моих глазах... я не был уверен в себе. Нет, я не был уверен! Я могу повторять себе сколько угодно, что другой бы постарался вызвать те слова, которых я боялся, вместо того, чтобы их ожидать, — это меня всё еще не убеждает. «Уходите!», сказал бы он ей, как я предполагаю. «Уходите, дайте ему умереть вдалеке от вас, примиренным». Она бы ушла. Но ушла бы, не понимая, чтобы еще раз покориться инстинкту своего племени, своего кроткого племени, уготованного веками ножу убийцы. Она потерялась бы в толпе, со своим смиренным горем, со своим невинным возмущением, не находящим для своего выражения других слов, кроме слов покорности. Я не думаю, чтобы она умела проклинать, так как непонятное, сверхъестественное невежество ее сердца принадлежит к тем, над которыми бдят ангелы. Не довольно ли уж того, что никто не научит ее поднять свои мужественные глаза к Тому, Кто вмещает в Себе всяческую безропотность? Быть может, Господь бы и принял от меня руку с бесценным даром, не знающую, что она дает? Но я не посмел. Торсийский священник сделает, что захочет.

Я прочитал молитвы у окна, выходящего во двор, похожий на черный колодезь. Но мне кажется, что надо мною начинает белеть угол восточной стены.

Я завернулся в одеяло, завернул даже голову. Моя привычная боль утихла, но меня тошнит.

Если бы я мог, я вышел бы из этого дома. Мне бы доставило радость пройти пустыми улицами пройденный вчера утром путь. Визит к доктору Лавиллю, часы, проведенные в кафе госпожи Дюплуи, вспоминаются сейчас смутно и, как только я хочу наперед свою мысль, вызвать подробности, я чувствую необычайную, непреодолимую усталость. Того, что во мне отстрадало тогда, не существует, не может больше существовать. Какая-то часть души стала бесчувственной, останется такой до конца.

Конечно, я сожалею о проявленной слабости у доктора Лавиля.

Мне должно было бы быть стыдно не ощущать никаких угрызений совести, т. к. какое представление о священнике мог я дать этому, столь решительному и твердому человеку? Что делать? Это кончено. Чувство недоверия к себе, которое мне было свойственно, рассеялось, думаю, навеки. Борьба кончена. Я ее больше не понимаю. Я примирился с самим собой, с этим бедным прахом.

Ненавидеть себя гораздо легче, чем это люди думают. Счастье же состоит в самозабвении. Но если бы умерла наша гордость, величайшей милостью бы было смиренно любить себя, как любого страдающего брата во Христе.

.

(Письмо Луи Дюфрети Торсийскому священнику)

Поставки аптекарских товаров
и прочего.

Ввоз — Вывоз.

Луи Дюфрети, представитель.

Лилль, февраля 19 . . г.

Господин кюре,

Сообщаю Вам немедленно сведения, о которых Вы просили. Я их позднее дополню рассказом, отделать который мне пока не позволило состояние моего здоровья, и который я предназначаю для «Тетрадей Лилльской молодежи», скромного журнала, для которого я пишу в свободные минуты. Я позволю себе препроводить Вам номер журнала, как только он выйдет из печати.

Визит моего друга доставил мне чувствительнейшее удовольствие. Наша привязанность, родившаяся в лучшие годы юности, была из тех, которые не боятся истребительной силы времени. Впрочем, я думаю, что сначала он не собирался продлить свой визит дольше, чем нужно для сердечной братской болтовни. Приблизительно около семи часов вечера он почувствовал себя нездоровым. Я счел себя обязанным задержать его. Моя хоть и очень скромная обстановка ему, казалось, очень понравилась, и он не стал протестовать, чтобы остаться на ночь. Должен прибавить, что я сам, из деликатности, попросил гостеприимства у одного друга, квартира которого недалеко от моей.

Около четырех часов ночи, не будучи в состоянии заснуть, я осторожно зашел в его комнату и нашел моего несчастного товарища на полу без сознания. Мы перенесли его на кровать. Как ни осторожно мы это сделали, я всё же опасуюсь, что это перемещение оказалось для него роковым. У него началась рвота кровью. Лицо, которое в то время разделяло мою жизнь, благодаря своему серьезному знанию медицины, могло ему оказать нужную помощь и осведомить меня о его состоянии. Прогноз был зловещим. Но кровотечение прекратилось. Пока я ждал доктора, наш бедный друг пришел в себя. Но он не говорил. Крупные капли пота текли по лбу, по щекам, и едва видимый за опущенными веками взгляд выражал большое томление. Я констатировал,

что его пульс ослабевал очень быстро. Соседский мальчик побежал за дежурным священником, викарием прихода Святой Остреберты. Умиравший показал жестом, что он хочет получить свои четки, которые я вытащил из кармана его брюк, и которые он с этой минуты прижимал крепко к груди. Потом он, казалось, собрался с силами и почти невразумительным голосом попросил меня отпустить ему грехи. Лицо его стало спокойнее, он даже улыбнулся. Хотя справедливая оценка моего положения и должна бы была меня заставить не торопиться с выполнением его желания, человечность и дружба не позволили мне отказать. Я должен прибавить, что я выполнил этот долг с чувством, которое бы Вас удовлетворило.

Священник медлил, и я счел необходимым выразить моему несчастному товарищу сожаление, что это опоздание рискует лишить его утешения, которое Церковь хранит для умирающих. Казалось, он меня не слышал. Но через несколько мгновений рука его легла на мою, тогда как взгляд делал мне знак приложить ухо к его губам. Тогда он произнес явственно, хотя и с чрезвычайной медлительностью эти слова, которые, я уверен, что передаю совершенно точно: «Это не имеет значения. Ведь всё — милость Божия».

Я думаю, что он тотчас же умер.

КОНЕЦ

Перевод с французского Е. Таубер

ОПЕЧАТКИ И ПРОПУСКИ, ЗАМЕЧЕННЫЕ В «ЗАПИСКАХ СЕЛЬСКОГО СВЯЩЕННИКА» В № 39.

Стр.	Строка	Напечатано:	Следует читать:
4	29-я сверху	вероятным	невероятным
13	10-я сверху	буднему	бедному
21	6-я снизу	замков	замка
29	21-я сверху	приручали	привязывали
38	18-я снизу	наши	ваши
61	15-я сверху	Бельбанд	Дельбанд
71	5-я снизу	впереди	позади
77	26-я сверху	не были подвластны	не принадлежали

Стр.	Строка	Пропущенный текст
1	1-2-я сверху	Перевод с французского Е. Таубер.
28	1-я сверху	после слов «во всяком случае явных» — «Какая упрощенность социальной проблемы, методов управления!»
37	6-я сверху	после слов «приблудных котов» — «или быков корриды».
55	16-я сверху	перед словами «Эта угрюмая боязнь» — «Тогда как...»

Коммунистический империализм

Цель настоящего схематического обзора заключается в характеристике экономического аспекта советского империализма, его изменения и развития в послевоенные годы. Советский империализм рассматривается с позиций национальной эмиграции из поработанных коммунизмом стран Восточной и Средней Европы, с точки зрения выбора объекта борьбы и дальнейшего развития последней. Косвенно этот обзор направлен против «доктрины освобождения» в ее настоящем виде, играющей на национальной розни народов, поработанных коммунизмом.

1. Внешняя сторона советского империализма и его развитие

Советский империализм, в отношении стран, завоеванных им после второй мировой войны, можно разделить на две фазы: на прабительский империализм сталинского типа (приблизительно до 1953 года) и современный империализм эпохи национального коммунизма. Сущность этих двух фаз рассматривается в последующих главах.

I

Прабительский империализм сталинской эпохи сводился в основном к нещадному выжиманию всех соков из сателлитных стран. Отчасти это объясняется тем, что Советскому Союзу приходилось залечивать раны, нанесенные войной, и одновременно с этим расширять строительство тяжелой индустрии для подготовки к будущей войне. В общем виде прабег сателлитов сводился к трем главным формам:

1. К монопольному вывозу стратегического сырья в СССР, связанному с смешанными акционерными обществами, действовавшими на территории почти каждой сателлитной страны.
2. К эксплуатации рабочей силы и индустриального оборудования сателлитов, в виде обработки сырья, присланного из СССР.
3. К неравноценным двусторонним торговым договорам между СССР и отдельными сателлитами.

Рассмотрим по отдельности каждый из этих видов грабежа:

Первая форма эксплуатации экономики сателлитов, в виде смешанных акционерных компаний и вывоза стратегического сырья, принимала почти одинаковые проявления во всех сателлитных странах. Эти компании взяли в свои руки ключевые отрасли промышленности сателлитов и превратили их в подсобные предприятия исполнения послевоенных пятилеток СССР. В руководствах этих компаний состояло много советских специалистов, которые вели работу предприятий в интересах СССР. Около трех четвертей основного капитала обыкновенно вносила сателлитная страна, получавшая впоследствии меньше половины дивидендов. Все товары компаний, отправляемые в СССР, были освобождены от налогов и пошлин.

Так, в Румынии было образовано 16 т. н. «Совром»-ов, главными из которых были «Совромпетроль», «Совромкварц», «Совромтранспорт» и др. «Совромпетроль» взял в свои руки почти всю нефтяную промышленность страны и приспособил ее к нуждам советского хозяйства. При этом даже снабжение сателлитных стран дериватами нефти происходило через СССР; таким образом последний реализовывал значительные прибыли за счет румынской экономики. «Совромкварц» приобрел монопольное право разрабатывать залежи ураниевой руды, отправляемой исключительно в СССР. «Совромтранспорт» занялся эксплуатацией всего речного и морского транспорта Румынии. Аналогично действовали и другие «Совромы».

В Венгрии, в марте-апреле 1946 года, были образованы четыре смешанных компании — «Масов»-ы: «Масовбал» — для разработки бокситно-алюминиевых залежей, «Масовлай» — для геологических изысканий и переработки нефти, и две других компании.

В Болгарии эксплуатацией ураниевой руды в Бухово и свинцово-цинковых находений в Родопях занялось «Горубсо»; добытая руда вывозилась в СССР. Строительством предприятий национального масштаба ведал «Совболстрой», построивший, в частности, Государственный Металлургический завод им. Ленина с большими пропускками и убытками.

Такие же общества были образованы в Югославии («Юста» — для аэротранспорта и «Юспад» для транспорта по Дунаю) и в т. н. «Германской Демократической Республике». В последней с 1946 года существовало около 200 «Саг»-ов (Совет Акциентгезельшафтен) с главными «Дерунафта» — для производства и распределения синтетического горючего и «Дерутра», ведавшего международной торговлей. Добычей ураниевой руды занималось Акционерное Общество «Висмут» под исключительным контролем советского МВД.

Необходимо отметить, что во всех сателлитных странах добыча ураниевой руды, хотя номинально находилась в ведении смешанных компаний, велась фактически исключительно под руководством советских органов МВД; места добычи также принадлежали СССР.

Вторым способом эксплуатации сателлитов Советским Союзом была эксплуатация их рабочей силы, тесно связанная с вышеописанными компаниями. Большинство смешанных предприятий находилось вне юрисдикции местных государственных законов, поэтому нормы выработки и оплата труда находились исключительно в руках советских органов управления; прибыли от эксплуатации рабочих в этих предприятиях шли на пользу советской экономики. Так, например, в Венгрии «Масовлет» (авиационная компания) платила своим служащим зарплату ниже установленного государственного минимума. Во всех местах разра-

ботки ураниевой руды, наем рабочих и условия работы контролировались представителями советского МВД. Здесь также широко применялся труд заключенных.

Статут смешанных предприятий позволял советской экономике широко их использовать, обрабатывая в них свое сырье и вывозя готовую продукцию обратно в СССР или продавая ее на международном рынке. Этот процесс особенно усилился и был введен также и в некоторых национальных предприятиях сателлитных стран, после образования в 1949 году Совета Экономической Взаимопомощи в Москве, известного под именем «Плана Молотова» (в противовес «Плану Маршалла»). Этот Совет стал координировать деятельность сателлитной промышленности и насильственно советизировать экономику сателлитов, отрывая ее от Запада. На основании соглашений о СЭВ, советские специалисты и эксперты наводнили экономику сателлитных стран, внешняя торговля которых ориентировалась на СССР.

Третья форма экономического господства советского империализма проявилась в виде неравноценных двусторонних торговых договоров между СССР и сателлитными странами. Эти договоры включали два основных вида экспортных товаров: товаров для внутреннего потребления СССР и товаров для перепродажи на мировом рынке.

К первым относились, главным образом, продукты питания и легкой промышленности, дефицит которых всегда ощущался в СССР. Сам торговый договор оформлялся с применением различного курса рубля в покупательном или продажном отношении; СССР покупал за бесценок товары сателлитной страны и продавал ей свои по продиктованной цене, более высокой, чем на мировом рынке. Другими словами, часть товаров сателлитных стран СССР получал безвозмездно. Так, например, польский уголь ввозился в СССР по 1,25—2 долл. за тонну, когда на мировом рынке его цена была 12—16 долл. за тонну.

То же самое получалось с поглощением экспорта сателлитных стран для его последующей перепродажи на мировом рынке. Заниженная покупная цена товаров давала возможность СССР понижать и продажную цену, конкурируя в этом с внешней торговлей опрабленной сателлитной страны, выбрасывающей на международный рынок остатки своего экспорта. Характерным примером является поглощение и перепродажа двух третей экспорта болгарского табака и большей части розового масла. Так, в мае 1948 года Болгария продала СССР 5000 килограммов розового масла по 110 долл. за килограмм (в приведенной цене свободного обмена), в то время как цена масла на мировом рынке была 1200 долл. за килограмм. Впоследствии, когда Болгария предложила остатки своего экспорта масла США, открылось, что СССР предложил уже розовое масло по заниженной цене. Таким образом, чистая прибыль 1000% осталась за СССР. Та же судьба постигла и другие продукты болгарской экономики (вина, табак, спирт), перепроданные нелегально в Австрии, в 1948-49 гг., тогдашним УСИА (Управление советским имуществом в Австрии). Со стороны УСИА болгарам был продиктован курс 14 левов за шиллинг вместо законных 45 левов; и здесь болгарская экономика была введена в убытки.

Как было уже сказано, образование Совета Экономической Взаимопомощи привело к торговле между Западом и сателлитами почти исключительно через СССР. К 1953 году три четверти всей внешней торговли сателлитов составляла торговля с СССР, протекавшая в вышеописанном виде; она была изолирована от Запада, а прибыли шли в бюджет СССР.

II

Уже после образования Совета Экономической Взаимопомощи, советский империализм начал смотреть на сателлитов не только как на завоеванные территории, экономика которых подлежит грабежу, а как на часть хозяйства интегрированного коммунистического блока. На такую мысль наводит сравнение общей суммы кредитов, открытых СССР сателлитным странам; так, в 1946-49 гг. общая сумма кредитов восточно-европейским странам составляла 785 млн. долл., в то время как в 1950-57 гг. она увеличилась на 2 690 миллионов долларов. Процесс интеграции усилился после смерти «величайшего благодетеля всех народов» в 1953 году. Он начал развиваться на базе общего планирования стран блока с предоставлением больших прав, а отсюда и интереса, отдельным сателлитным государствам. В силу этой интеграции сателлитные страны начали заключать дефицитные торговые договоры не только с СССР, но и между собой поопдельности; таким образом компенсировались убытки в отстающих участках экономики блока. В частности, такие договоры были заключены с Северной Кореей для восстановления ее хозяйства после корейского конфликта.

Следуя политике экономической либерализации, советский империализм пошел на передачу большей части смешанных компаний в руки местных коммунистических правительств, хотя военно-стратегические отрасли остались в фактическом ведении советских властей. Так, из 16 «Совром»-ов в Румынии 14 было возвращено румынским властям; до 1955 года официально существовали только «Совромпетроль» и «Совромкварц». В Венгрии, в 1954 году, было заключено соглашение о постепенном выкупе советских акций венгерскими властями. Были возвращены постепенно все смешанные общества в ГДР и Болгарии. Значительное число советских специалистов уехало обратно в СССР. Но по-прежнему в руках советских органов остались разработки ураниевых руд во всех сателлитных странах, а также и гегемония над экономикой сателлитов.

Эксплуатация рабочей силы сателлитных стран тоже видоизменилась, хотя и незначительно. Последнее время началось передвижение рабочей силы внутри блока. Только в 1957 году из Болгарии по причине безработицы выбыло около 3 тысяч рабочих в Чехословакию и около 10 тысяч в СССР. Одновременно, по этим же причинам, болгарское правительство договорилось официально о ввозе шерсти из СССР для ее переработки в Болгарии и последующей отправки обратно.

Более гибкая экономическая политика «коллективного руководства» выразилась также в дополнительных кредитах сателлитным странам; они были ассигнованы весной 1957 года. Венгрии было ассигновано 190 миллионов долл. для восстановления ее экономики; по 50 миллионов долл. получили Албания и Болгария на развитие индустрии. Также была объявлена ликвидация всех прежних договоров сателлитов в отношении СССР. Дальнейшая экономическая интеграция, соглашение о которой было достигнуто на заседании СЭВ в Варшаве, в июне 1957 года, предвидит большую роль взаимного планирования и расширение внутренней торговли блока на базе многосторонних договоров между его членами.

Цель этого сотрудничества двояка: им осуществляется независимость внутреннего «социалистического рынка» от Запада и повышается мощь экономической экспансии блока в индустриально отсталых странах Ближнего Востока, Азии, Африки и даже Южной Америки.

Экономическая интеграция предвидит развитие отдельных стран блока по линии специализации производства различной продукции для осуществления вышеупомянутых целей. В принципе для экономической экспансии используется

производство тяжелой индустрии, а из отсталых стран ввозится сырье и продукты питания. Специализация отдельных стран коммунистического блока приобрела приблизительно следующий вид:

Электрооборудование, пароходы и точные измерительные приборы поставляют обыкновенно Восточная Германия; горное оборудование и прокат — Польша; нефтепроводы и аппараты для бурения — Румыния; дизели и электрические аппараты — Венгрия.

Таким образом делается попытка избежать дублирование экспорта отдельных стран блока. Все это осуществляется под надзором СЭВ при гегемонии и контроле СССР.

Развитие внешней торговли сателлитных стран блока показывает следующая таблица:

Год	1938	1948	1950	1953	1954	1955	1956
% всей внешней торговли							
сателлитов с СССР	10	40	70	78	76	75	73
То же самое с Западом	90	60	30	22	24	25	27

Отсюда видно, что внешняя торговля сателлитов с СССР остается на очень высоком уровне, т. е. внутривблоковая торговля через СССР преобладает, но она *уменьшается* за счет увеличения торговли с Западом. Здесь наблюдается начало рассасывания внешней торговли сателлитов. Это является косвенным указанием на то, что советский империализм в отношении сателлитных стран постепенно ослабевает в своем экономическом аспекте; существует возможность, что этот процесс будет развиваться дальше. Будущее покажет, как выразится дальнейшее «экономическое сотрудничество» между СССР и сателлитами.

Необходимо отметить, что для настоящего этапа экономической экспансии коммунистического блока характерно уменьшение торговли с Западной Европой за счет увеличения торговли с отсталыми странами. Так, в 1953 году торговля с отсталыми странами составляла треть всей внешней торговли блока с Западом; в конце же августа 1957 года она составила больше половины этой торговли.

В последнее время чрезвычайно увеличилась доля сателлитов в экономической инфильтрации отсталых стран. Показателен следующий факт: в 1954-57 гг. со стороны коммунистического блока были предложены следующие кредиты в миллионах долларов:

	Со стороны СССР	Со стороны сателлитов
Странам Ближнего и Среднего Востока	115	230
Странам Юго-Восточной Азии	445	35
В общей сумме:	560	235

В общей сумме: т. е. почти половина экономической экспансии блока выпала на долю сателлитных стран, а в отношении стран Ближнего и Среднего Востока эта доля вдвое превышает советские кредиты. Картина кредитов, принятых отсталыми странами, несколько изменяется, но по существу остается такой же; доля экспансии сателлитных стран не падает ниже одной трети всех принятых кредитов блока.

Из этих цифр можно сделать некоторые предварительные выводы, а именно: государства Восточной Европы из отбрасываемых Советским Союзом сателлитов

начали превращаться в *партнеров*, по крайней мере в отношении внешней экспансии в отсталых странах. Выросла их роль (особенно Чехословакии) в засылке своих техников в отсталые страны и в приеме на инструктаж специалистов последних. Польша и Чехословакия усиленно поставляют вышедшее из употребления конвенциональное вооружение странам Ближнего Востока, получая взамен ценное сырье и пищевые продукты. Опять же, Чехословакия строит заводы в Сирии и Египте, а болгарские специалисты-строители едут оказывать техническую помощь «братскому сирийскому народу». Подобных проявлений существует много.

Основной вывод, который можно сделать из всего вышеприведенного, сводится к тому, что в настоящее время приходится иметь дело не с исключительно советским империализмом, а с интересами *интернационального коммунизма*, хотя СССР и является ведущей страной коммунистического лагеря. Начало появления самостоятельного интереса со стороны всех коммунистических стран, за счет проникновения их на новые территории, делает эти страны соучастниками и партнерами в империалистической политике СССР, которая из советского империализма превращается в *империализм интернационального коммунизма*.

2. Внутренняя сторона развития советского империализма

Здесь рассматривается в общих чертах связь советского империализма с экономической СССР и последствия его действий в сателлитных странах.

Коммунизм трактуется в концепции Милована Джиласа как тотальная власть коммунистического нового класса.

Материал разделен в соответствии с уже упомянутыми фазами советского послевоенного империализма: сталинской эпохой и эпохой современного национального коммунизма.

I

Новый коммунистический класс каждой сателлитной страны владеет большей частью национального дохода, выкачанного им из своего населения; он его также и распределяет, указывая, куда и как этот доход будет вложен. Ввиду зависимости режима и его экономики от СССР, с помощью и ведома верхушки нового класса, часть национального дохода страны утекает к «другу и покровителю». Таким образом СССР превращается в кассу ресурсов интернационального коммунизма, выкачанных не только из сателлитных наций, но и из народов России. О размерах «пожертвованной» части дохода трудно судить из-за тайны, которая покрывает коммунистические бюджеты, статистику и торговлю. Только в последнее время, в Польше, появилось открытое признание о величине этой части. Экономический советник Гомулки, проф. Ланге, оценил ее как 10% национального дохода, ушедшего в виде дефицитного экспорта в «социалистические страны». Точно таким образом какую-то часть национального дохода каждой сателлитной страны постигает та же судьба, но не всегда всю долю дефицитного экспорта получает СССР*). Ход всей внешней торговли сателлитов через СССР,

*) «Социалистические страны», получающие чистую прибыль от других таких же стран, различны, и их привилегированное положение зависит от того, куда в данный момент необходимо направить течение общих ресурсов. Как уже говорилось, одно время такой страной была Северная Корея. В 1955 году только Болгария доставила Северной Корее оборудование для нескольких деревообрабатывающих и кирпичных заводов; эта «бескорыстная братская помощь» была оказана без платы или замены оборудования товарами.

как уже было показано, являлся главным отличительным признаком фазы сталинского империализма; без сомнения, эта черта проявляется и теперь, но в значительно смягченной форме.

Посмотрим теперь, как, куда и в чьих интересах распределялся чистый доход СССР, полученный от эксплуатации экономики сателлитов.

Как это было упомянуто в предыдущей части, СССР получал чистую прибыль от сателлитов в виде товаров для внутреннего потребления или валюты от их перепродажи на мировом рынке. Безвозмездно полученные товары потребления реализовывались на внутреннем рынке СССР, причем за них получившее население России переплачивало (и теперь переплачивает) втридорога, т. е. цена продуктов в СССР, как и в любой коммунистической стране, определяется не их себестоимостью, а нуждами бюджета; в отношении же советской экономики себестоимость опрабленных товаров равняется нулю. (Как известно, бюджетом СССР распоряжается олигархия советского нового класса; сам новый класс потребляет львиную долю, непропорциональную его численности, товаров рынка, т. е. он и его прислужники — коммунисты-хозяйственники, техническая интеллигенция, специалисты и пр., являются единственным платежеспособным слоем населения). Ввезенное даровое стратегическое сырье шло прямо на нужды военной индустрии, обслуживающей весь блок; оно также являлось доходной статьей советской экономики.

В общем случае все суммы, полученные от реализации направленных у сателлитов товаров на внутреннем или международном рынке, как и денежный эквивалент дарового сырья, шли в приходную часть общего бюджета СССР. Там они фиксировались в виде неуказанных доходов или под другой маскировкой. (Здесь необходимо отметить, что эти неуказанные приходы несоразмерно велики; так, во времена первой и второй послевоенных пятилеток ежегодные неуказанные приходы составляли от 23 до 47% других «указанных» доходов бюджета). Здесь они соединялись с национальным доходом России, причем ввиду ее максимальной коммунизации, доход народов России отнимался почти на 100%, т. е. в значительно большей степени, чем в других сателлитных странах.

Национальный доход русского народа, фигурирующий в «указанных» приходах бюджета, выкачивался главным образом по линии «прихода с оборота», т. е. косвенного налога на все продукты ширпотреба; в двух послевоенных пятилетках 1946—1955 годов этот приход составлял соответственно 59,4% и 45,7% всей приходной части бюджета. Общая сумма приходов бюджета, собранная с населения в виде налога на оборот, займов и прямых налогов, составляла 73,4%, перспективно 59,5% всего бюджета.

В общем, приходы советского бюджета состояли в основном из отнятого силой национального дохода народов сателлитных стран и России; они составляли «интернациональный доход» коммунистической олигархии СССР.

В расходной части бюджета олигархия распределяла свои доходы. В первой и второй послевоенных пятилетках это распределение было следующим:

На социально-культурные мероприятия было ассигновано 28,1%, respectively 26,3% всего бюджета. Это означает, что народы России получили наименьшую относительную часть своего национального дохода, причем в эту часть включено финансирование советской пропаганды как «культурного» мероприятия. С некоторой натяжкой можно считать, что косвенно на пользу стране пошли отчасти 19,2%, resp. 23,6% бюджета, вложенные в легкую промышленность, сельское хозяйство и другие подобные отрасли. В это же время на расходы по управле-

нию, т. е. на поддержку аппарата террора и насилия, на военные нужды, на тяжелую промышленность, обслуживающую военный потенциал страны и экономическую инфильтрацию коммунизма в отсталых странах, на другие «неуказанные» расходы по содержанию компартий и подрывной деятельности во всех странах свободного мира, — пошли соответственно 52,7% и 50,1%. Ясно, что половина каждого советского бюджета ушла на непроизводительные расходы, чуждые благосостоянию народов России.

Ввиду почти полного покрытия между бюджетом и национальным доходом СССР, можно сказать, что половину национального дохода народов России (в соединении с частью национального дохода сателлитных стран) употребил в своих интересах советский новый класс; средства, выжатые из подвластных коммунизму народов, пошли на нужды дальнейшего развития коммунизма во всем мире, т. е. на нужды империализма советского нового класса. Иначе говоря, советский новый класс использовал неоплаченный труд румынского, польского, болгарского и других рабочих и крестьян не на повышение жизненного уровня русского рабочего и крестьянина, а на свои эгоистические империалистические нужды. Он был не в состоянии создать удовлетворительный уровень жизни русскому народу; он создал только шкалу дифференцированного вознаграждения, которая очертила пирамиду его представителей и прислужников в России.

Если же посмотреть обратно, в поработанные сателлитные страны, то представится следующая картина развития местного коммунистического класса. Вначале национальный новый класс сателлитных стран не был еще достаточно силен и поэтому держался исключительно на штыках советской армии (в ряде стран, как Венгрия и Восточная Германия, это положение продолжается и до настоящего времени). Постепенно он консолидировался, взял власть в свои руки и стал полным монополистом общественной и экономической жизни своей страны. В эпоху сталинского империализма плавная роль верхушки каждого национального нового класса заключалась в посредничестве при эксплуатации своих народов советским империализмом. Этот класс (или по крайней мере его верхушка) был агентом, слугой советского империализма, получившим вознаграждение за предательство национальных интересов своей страны. Это вознаграждение заключалось в его более высоком уровне жизни. В экономическом отношении новый класс любой сателлитной страны, а в особенности его верхушка, всегда жил и живет не хуже советского нового класса, т. к. за дань советскому империализму (в виде части национального дохода) расплачивается народ. В прямом отношении национальный новый класс был мало затронут советским грабежом; затронуты были главным образом его самые низшие слои*). Зато этот грабег его затрагивал косвенно, в виде недовольства собственного народа, доведенного до

*) Здесь необходимо сделать оговорку, ввиду того, что в различных сателлитных странах низшие слои нового класса находятся в различной степени экономического благосостояния. Бедность в низших слоях отражается на силе самого класса. В данном случае силой класса считается не только его численность, а и пропорциональность его структуры сверху вниз, т. е. чем глубже находятся его корни в массах населения страны, тем он сильнее; в экономическом аспекте эта глубина выражается в дифференциации зарплат представителей класса. Так, напр., компартия Венгрии была многочисленна, но подавляющее большинство ее низов находилось в плохом материальном положении; этим отчасти можно объяснить создавшийся раскол между низами класса и его верхушкой, который вылился в принятие революции большинством рядовых членов венгерской компартии.

нищенской суммы систематическим доением; при этом недовольство прозило вылиться первым делом на головы местных коммунистов. Эта косвенная причина и породила национальный коммунизм, который вначале развился успешно только в Югославии, но был ликвидирован во всех других сателлитах. Особенно характерны примеры проявления национального коммунизма на экономической почве в случаях со Сланским в Чехословакии и Трайчо Костовым в Болгарии, принявшие форму противопоставления СССР из-за его империализма.

Прежде чем приступить к развитию экономического аспекта национального коммунизма, представляется уместным сделать сравнение советского империализма с другими видами империализма, в частности, с прагматическим гитлеровским империализмом, основанным на расовом признаке.

При грабеже занятых областей и стран, гитлеровские расисты также обдирали местное население, как липку, но ограбленные блага, если не проглатывались военной машиной, шли на повышение жизненного уровня всего германского населения Рейха, в основном, по национально-расовому признаку. Жизненный уровень Германии во время Второй мировой войны был выше, чем в занятых ею даже союзных странах, как, напр., в Болгарии или Румынии, и удерживался за счет обеднения последних. В современном советском империализме налицо обратное явление: жизненный уровень населения сателлитных стран, хотя и упал, благодаря хозяйничанию местных и советских коммунистов, но находится выше жизненного уровня СССР — страны, поработившей эти народы. Это необходимо иметь в виду тем, кто не делает разницы между советским новым классом и народами России.

II

Возникновение национального коммунизма непосредственно связано с советским империализмом. В своем анализе коммунизма Миллован Джилас приписывает возникновение национального коммунизма действиям окрепшего национального нового класса, направленным против советского господства. Он утверждает, что страны Восточной и Средней Европы стали советскими сателлитами не по желанию своих коммунистических классов, а, наоборот, ввиду слабости последних, и что как только эти классы усилятся, неизбежно последует желание большей независимости от СССР. Здесь автор «Нового класса» ссылается на антигитлеровские судебные процессы во всех сателлитных странах; по его мнению, это указывало там на наличие национального коммунизма в латентном виде.

При анализе современной обстановки, с известной натяжкой, это можно признать правильным в отношении Югославии и отчасти Китая. В общем же случае, не желания национального нового класса являются решающим фактором возникновения и развития национального коммунизма. Без сомнения, нельзя окончательно сбросить со счетов субъективное желание нового класса управлять в своей стране, но главным и стабильным фактором появления национального коммунизма во всех случаях было недовольство народа, направленное против всякого коммунизма, а не только против господства СССР. Полное развитие венгерской революции вполне это доказало. Во всех случаях субъективное желание национального нового класса отчасти совпало с органическим стремлением народа, а не наоборот, как это утверждает Джилас.

Если, игнорируя народы, приписывать самодовлеющую силу только национальным коммунистическим классам, то всю будущую историю придется свести к экспериментам этих классов над аморфной массой народа. Народ же является

движущей силой общества современного этапа коммунизма, он не желает коммунизма вообще, и с этим приходится считаться. Почти во всех коммунистических странах различие между бывшими классами рабочих и крестьян значительно уменьшилось, в то время как их отличие от нового коммунистического класса резко возросло (о классе буржуазии говорить не приходится; в коммунистических странах она сошла с исторической сцены). Таким образом появились две силы, хоть и не всегда однородные и сплоченные, а именно: народ и новый класс.

Всем известно, что стало с новым классом Венгрии и Польши во время беспорядков 1956 года; эти классы никак нельзя назвать сильными, но, тем не менее, и Польша, и Венгрия пришли к национальному коммунизму. В это же время сравнительно сильный новый класс Болгарии всё еще держится прежнего курса, хотя в значительно смягченной форме.

Из всего вышеизложенного можно заключить то же самое, а именно, что *национальный коммунизм является уступкой народу как единственная возможность нового класса сохранить свою власть!*

Советской олигархии пришлось, скрепя сердце, пойти на уступки и, признав национальный коммунизм как «особый путь к социализму», углубить изменения в системе своего империализма. Внешнее отражение углубления этих изменений было описано в первой части; здесь будут рассмотрены внутренние изменения в новом классе сателлитных государств, появившиеся с течением времени, в особенности после перемены курса «коллективного руководства».

Если раньше представители сателлитных компартий были слугами и агентами советской олигархии, то теперь они начинают превращаться в заинтересованных хозяев, благодаря чему они «национализируются». В отдельных сателлитных странах «национализация» принимает различные формы: медленный спуск на тормозах в Румынии, Болгарии и Албании и бурный переход в Польше и Венгрии*). Теперь трудно подвести национальные новые классы под одну категорию, но всех их объединяет одна общая черта. Эта основная и самая важная черта

*) Исключение среди других коммунистических стран представляет Югославия, которая первая пришла к национальному коммунизму в силу своего специфического внутреннего и внешнего положения.

Специфическое внутреннее положение Югославии заключается в силе режима и нового класса. Широкие массы народа нельзя обвинить в привязанности к режиму, но новый класс Югославии многочислен и в большинстве предан (если здесь можно говорить о преданности) национальной идее и личности Тито. Многочисленность этого класса идет еще со времен партизанской борьбы против гитлеровцев. Армия пронизана верными режиму офицерами, а УДБА (югославское МВД), с ее аппаратом сыска и насилия, работает четко и быстро. Дополнительно верность режиму обеспечивается соответствующе дифференцированной шкалой зарплат.

Благоприятная международная ситуация обрисовалась в результате важного стратегического расположения Югославии, в силу чего ей была предоставлена помощь Запада. После заключения Балканского пакта югославские коммунисты чувствуют себя до известной степени в безопасности и заигрывают с обоими блоками.

Всё это дает им возможность не возвращаться обратно в коммунистический блок. Но и здесь характерно двуличное отношение к Венгерскому восстанию со стороны верхов компартии, что подтверждает частичную общность их интересов с международным коммунизмом.

есть желание сохранить существующий строй. А это значит, что как бы велики ни были центробежные силы новых классов советского блока на национальной почве, сознание общих интересов в сохранении строя теперь значительно выше, особенно после Венгерской революции. Джилас склонен преувеличивать национальную рознь между коммунистическими олигархиями, в то время как об объединяющей их черте он упоминает вскользь. Конечно, советский империализм не желает сдавать своих позиций; все уступки делаются советской олигархией очень неохотно, с постоянными предупреждениями и напоминаниями своим партнерам о Венгерской революции и т. д., но, тем не менее, в праницах «особых путей к социализму», она на эти уступки идет. Одновременно с этим, усиленная экономическая эксплуатация сателлитов советским империализмом становится политически невыгодной, ибо приводит к событиям польского и венгерского характера. Поэтому СССР был принужден пойти по линии заинтересованности сателлитных коммунистических бюрократий, расширив их права в экономической области, но сохраняя в то же время свою гегемонию.

В свою очередь, национальные коммунистические классы принимают вид уже не безропотных проводников советского империализма, а скорее — сообщников и партнеров. Но это не означает, что народам стран, подвластных международному коммунизму, стало значительно легче жить; их положение немного улучшилось, но в конце концов для них составляет мало разницы, кто точно их грабит, свой ли или советский новый класс. От внешней экономической экспансии, от усиленной индустриализации и прочих мероприятий коммунистической экономики жизненный уровень народов не повышается.

В итоге можно сказать, что перед лицом общей опасности быть уничтоженными своими народами советский империализм идет на уступки, а национальные коммунистические олигархии на соединение с СССР против своих народов; другими словами, центростремительные тенденции сильнее центробежных. Советский империализм начинает переходить в империализм интернационального коммунизма с преобладающим внешним направлением.

Национальный коммунизм еще только развивается; национальные новые классы постепенно принимают свое настоящее лицо, более или менее различное, но выкристаллизовавшиеся общие интересы, объединяющие их, дают право сказать о существовании *интернационального нового класса* и, как парадоксально это ни звучит, переход к настоящему интернациональному коммунизму — равенству всех компартий — будет осуществлен через национальный коммунизм, если народы не решат иначе. Последнее слово остается за народами; они решат, будет ли национальный коммунизм или никакого коммунизма.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Из всего вышеизложенного обрисовывается объект борьбы — враг всех порабощенных коммунистическим режимом и еще свободных народов; этот враг — интернациональный коммунизм в лице советского и сателлитных новых классов, в лице интернационального нового класса. Борьба против него ни в коем случае не должна сводиться к борьбе против народов, в частности — против народа России, который еще используется советским новым классом в действиях против других порабощенных народов (с помощью местных коммунистических классов) и против стран свободного мира. Всякая борьба против русского народа

приведет к обратным результатам, к его консолидации с коммунистической властью, как это имело место во второй фазе последней мировой войны.

Маркс говорил, что у пролетариев нет отечества. После победы нового класса в эпоху «строительства социализма в одной стране» Сталин заявил, что отечество каждого пролетария — это СССР. Теперь коммунизм стал международной силой и показал свое истинное лицо; теперь у него опять нет отечества. Волею или неволею народы сателлитных стран пошли по дороге социализма и вместе с СССР образовали систему интернационального коммунизма.

Неразумно возводить национальные барьеры для борьбы против общего врага и превращать эту борьбу в разрозненные по времени и месту акции, как это делает «доктрина освобождения», играя на патриотизме народов. Она пренебрегает основным положением, что истинный патриотизм неотделим от интернационализма народов. В настоящем ее виде «доктрина освобождения» построена не на истинном патриотизме, а на сепаратизме и близоруком шовинизме, не видящем дальше своего носа. Хуже того, она неэффективна.

Половина победы над коммунизмом будет выиграна уже тогда, когда народы только поймут, кто их истинный враг. А этот враг — интернациональный коммунизм.

Болгария—Греция, февраль 1958 г.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. „The Economics of Soviet Penetration“. — Брошюра, февраль 1955 г.
2. „Soviet trade after 40 years“. — Брошюра, октябрь 1957 г. Таблицы и заимствованные цифры даны на основании „Estimates based on East-West trade, National Trade Statistics, and National Official Statements“.
3. «Бюджет СССР». Проф. д-р Л. Кованьковский, Мюнхен 1956 г.
4. „The New Class“. Milovan Djilas. New York. 1957.
5. «Идеологическая и политическая борьба в странах «народной демократии». — Л. Винярский. Доклад на IX политической конференции «Посева» 1957 г.

Школа в свободной России

В настоящей статье автор не ставит себе задачи дать законченный проект постановки школьного дела или более общей системы народного образования в России после ее освобождения от коммунистического порабощения. Цель его значительно уже, а именно: обрисовать некоторые, наиболее существенные, принципиальные пороки современной системы народного образования, вытекающие из порочной сущности господствующей в настоящее время в России политической и мировоззренческой системы коммунизма-марксизма-материализма и возможные пути их преодоления в будущем.

I

В Советском Союзе, — ведущем «государстве трудящихся», как это ни странно на первый взгляд, выработалось определенное пренебрежительное отношение к физическому труду — труду рабочего, а особенно крестьянина-земледельца и ремесленника-кустаря. Не отклоняясь в подробный анализ корней этого явления, отметим только такие его причины, как несообразно низкая оплата, бесперспективность и, главное, подневольность труда.

Относительно школы следует в связи с этим заметить, что задуманная и прокламированная как «единая трудовая школа» — начальная и средняя советская школа оказалась по ряду признаков не единой и, во всяком случае, явно не *трудовой*.

Как показала практика, советская общеобразовательная школа (семилетка и десятилетка) выпускает молодежь совершенно не имеющую практических трудовых навыков и не приспособленную к практической жизни и деятельности. Однако не это является решающим. Перечисленные недостатки могут быть на верстах временем и трудом. Важно то обстоятельство, что дальнейший жизненный путь в направлении практического ремесла и физической, даже высококвалифицированной, работы воспринимается современной российской молодежью как неполноценный.

Единственным полноценным путем, психологически приемлемым для нее является путь высшего университетского или специального образования, с последующей, если не академической, то, во всяком случае, административной (канцелярской) деятельностью.

В этом аспекте широко развиваемая и поощряемая в Советском Союзе система заочного «специального образования» воспринимается как возможность не повышения своей квалификации, а более успешного продвижения в избранной области практической работы, открывающей возможность уйти из «неполноценной области» физического, ремесленного труда в область «полноценного» кабинетного труда.

Психология «Белого Воротничка», пользуясь установившейся в США терминологией, явно господствует над психологией «Синей Спецовки».

Проявление этих тенденций ведет к разным результатам: например, к бегству молодежи из колхозов и паразитизму по отношению к родителям и т. п. Со стороны же коммунистической власти — к принудительным мобилизациям учеников в ремесленные училища, молодежи — на освоение целины, на сибирские стройки; к организованным «самообязательствам» целых классов выпускников идти после окончания школы на производство и, наконец, использования закончившего полную среднюю общеобразовательную школу юношества в качестве подсобных «разнорабочих».

Сюда же следует отнести экспериментирование с политехнизацией и интернатами, а затем и хрущевские планы полной ломки всей системы средней школы и среднего образования, которые, по существу, сводятся к практической ликвидации общего среднего образования и вызваны следующими соображениями ЦК КПСС:

1) попытаться оборвать процесс формирования высоко-культурного слоя населения, все более стремящегося к самостоятельному критическому анализу явлений жизни;

2) за счет *эксплуатации детского труда* форсировать «строительство коммунизма» и компенсировать прокламированное как коммунистическое достижение сокращение длительности рабочего дня взрослых трудящихся.



Очевидно, что с первого дня освобождения России встанет задача оздоровления системы народного образования. Решение этой задачи должно обеспечить высокий уровень учебной подготовки как молодежи, избирающей путь практической (ремесленной в широком смысле слова) деятельности, так и той ее части, которая изберет путь дальнейшей академической подготовки.

Намечающиеся контуры решения, как нам кажется, имеют следующую форму.

Среднее образование должно быть всеобщим, обязательным и бесплатным. Длительность его должна быть постепенно переведена с десяти до двенадцати лет в ближайшее, практически возможное, время. Однако среднее образование понимается нами в широком толковании, а именно, как *всякое школьное обучение*, имеющее самый разнообразный профиль, от типа классической гимназии, готовящей к поступлению в университет, до ремесленного училища.

При этом сама школа должна распадаться на две части: начальную — народную единую школу с семилетним, а в дальнейшем восьмилетним сроком обучения — и повышенную или, собственно среднюю школу, с трех-, а в дальнейшем, четырехлетним сроком обучения. Средняя школа, в свою очередь, распадается на учебные заведения самого разнообразного рода — типа гимназии классической, с преобладанием гуманитарного направления, и реальной, с преобладанием физико-математического или естественно-исторического направления, различного типа профессиональные школы — технические, сельскохозяйственные, коммерче-

ские, прикладные, художественные, музыкальные, иностранных языков (практические) и т. д., выпускающие молодых людей со средней технической (специальной) подготовкой, затем школы (по преимуществу женские) домашнего хозяйства и, наконец, различные ремесленные и сельскохозяйственные училища, выпускающие подготовленных молодых рабочих и сельских хозяев.

Практические вопросы распределения времени между классными занятиями и работой в мастерских, взаимоотношение учебных мастерских и хозяйств с промышленными предприятиями и т. п. мы здесь опускаем, так же, как и вопрос методов и объема включения некоторых элементов политехнизации в программу школ гимназического типа.

Обучение, как мы уже отмечали выше, в школах всех типов должно быть бесплатным*), но ученики школ практически-ремесленного направления должны получать оплату за произведенную ими в порядке обучения продукцию в соответствии с ее действительной (нормальной) стоимостью.

Характерным и общим признаком для всей молодежи школьного возраста должно являться их состояние в смысле юридического, правового статуса учеников, со всеми вытекающими преимуществами, независимо от типа школы, которую они себе избрали. Это должно в значительной мере способствовать возрождению здоровых традиций ремесленного ученичества, развивающегося в дальнейшей практической деятельности в высокое мастерство.

В целях исключения возможности *противопоставления* школы гимназического типа, выдающей аттестат зрелости, школам практического типа, выдающими лишь удостоверение или аттестат об их окончании, нам представляется необходимым произвести включение в программы и учебные планы всех типов школ, без исключения, некоего обязательного комплекса предметов, преподающегося в одинаковом объеме и по общим программам от ремесленных училищ до классической гимназии.

Предметы этого комплекса должны охватывать те знания, которые необходимы каждому полноценному гражданину, и включать, вероятно, родной язык, историю всеобщую, историю страны, географию страны, краеведение в областном разрезе, принципы государственного устройства страны, некоторый комплекс сведений из области морально-этической и социологической. Возможно также некоторое расширение этого комплекса предметов включением в него основных курсов по физико-математическому и естественно-историческому циклу, что поведет к расширению общего аттестата гражданской зрелости**).

Предметы этого комплекса должны охватывать те знания, которые необходимы каждому полноценному гражданину. В отдельных школах соответствующего типа по тем или другим предметам этого перечня могут иметь место дополнительные значительно расширенные программы, что ни в какой мере не меняет существа дела.

Сдача экзаменов по этому комплексу должна производиться отдельно от прочих академических или практических экзаменов, с участием представителей местного самоуправления и общественности, и заканчиваться вручением документа — «аттестата гражданской зрелости» — обладание которым будет знаменовать собою гражданское совершеннолетие и получение всех гражданских прав, как, например, право избирательное (пассивное и активное); право службы в во-

*) Вопрос стипендий мы оставляем вне рассмотрения.

**) Само собой разумеется, что программа предметов этого комплекса должна базироваться на законченном курсе общей народной школы (семи- или восьмилетней).

енных силах страны — почетное право защиты Родины; право занятия ряда должностей в аппарате самоуправления и т. д.*).

Таким образом, каждый, оканчивающий среднюю школу, — молодой человек или девушка, — будут обладать двумя аттестатами: одним единым для всех «аттестатом пражданской зрелости» и вторым специальным, соответствующим тому профилю или уклону школы, которую он окончил.

Для того, чтобы закончить намеченную общую характеристику системы среднего школьного образования, отметим еще, что перед свободной Россией будет стоять огромная задача доведения общей численности средних школ и их суммарной пропускной способности до соответствия с фактической численностью молодежи в школьном возрасте. Распределение же средних школ по типам должно примерно соответствовать потребности и заинтересованности государства и его народного хозяйства в работниках разного профиля.

В случае значительного наплыва желающих в учебные заведения того или иного профиля, отбор должен производиться по конкурсу наилучше подготовленных или соответствующих по другим признакам (например, здоровье для школ авиационных или водолазных), всякие социальные ограничения и т. п. полностью и безусловно исключаются.

Переходя к возможностям дальнейшего обучения и продвижения на жизненном пути молодежи, окончившей среднюю школу, не вдаваясь в подробности перестройки системы высшего образования, отметим лишь следующие, на наш взгляд, необходимые мероприятия.

Наравне с системой высшего образования для молодежи, избравшей путь академический, — для молодежи, избравшей путь практический (ремесленный), должна быть создана система специального обучения — повышения квалификации, не отрывающая его от практической производственной работы и дающая ему право по истечении срока, примерно равного сроку обучения в высшей школе (от 4 до 5 лет), сдачи дипломной практической работы и соответствующих экзаменов с выдачей государственного диплома, на звание мастера той или другой специальности**).

Такой экзамен и выдача диплома должны происходить с обязательным участием представителей местных самоуправлений, а также трудовых (профессиональных) объединений соответствующей отрасли.

Диплом мастера должен давать его обладателю ряд особых прав, в частности, права обучения учеников в ремесленных училищах и т. п., и право самостоятельного производства работ в определенной области.

Описанную нами систему можно изобразить следующей схемой, отображающей параллельность и равноценность обихих путей. (См. Схему народного образования.)

В этой схеме нами учтена также возможность и заочного образования, которое должно в дальнейшем выполнять, в основном, свое главное задание, — предоставление возможности повышения как квалификации, так особенно и общего уровня той части молодежи, которая, по окончании средней школы, независимо от ее типа (гимназического или профессионально-ремесленного), избрала путь полного включения в практическую жизнь и работу и не ставит перед собой це-

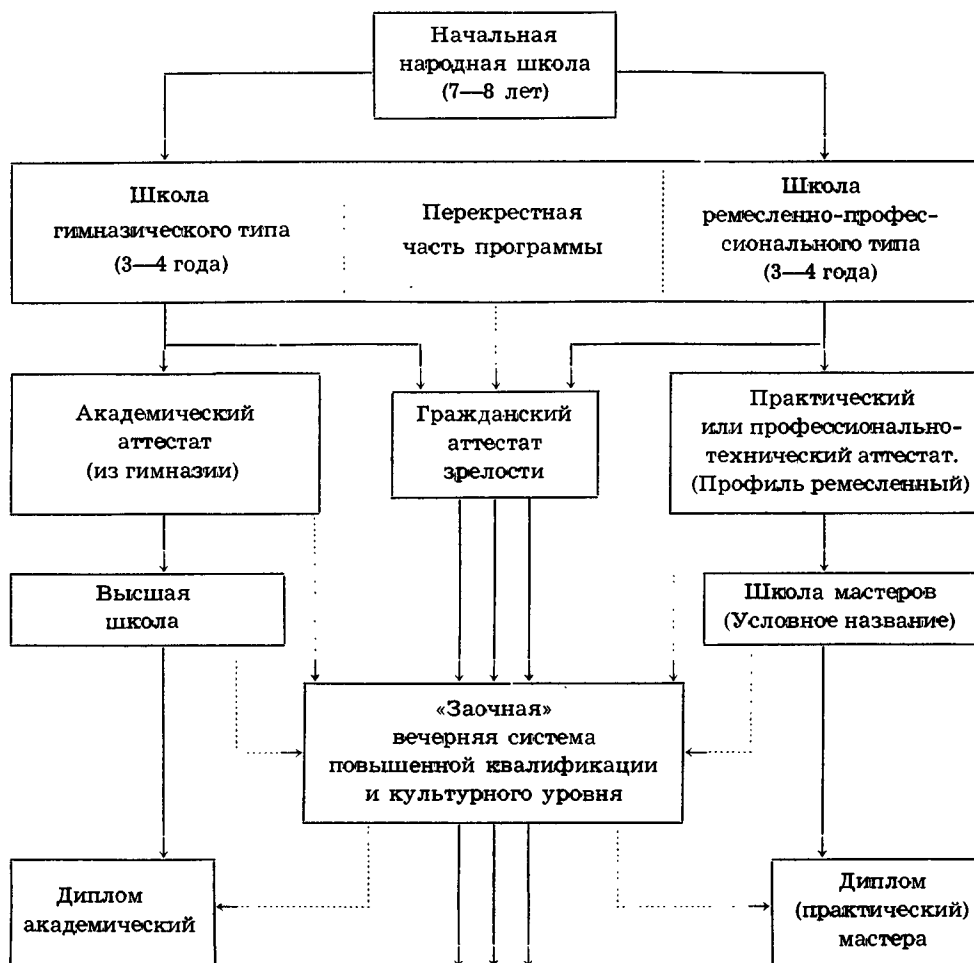
*) Отметим попутно, что считаем необходимым сдачу подобного экзамена и получения аттестата также каждым натурализирующимся иностранцем, независимо от его возраста, образования и т. д.

**) В этом отношении можно рекомендовать ознакомление с многолетним опытом Германии.

ли получения государственного диплома академического или мастера. (Система народных университетов.)

Отметим, что заочная система обучения может взять на себя и побочную функцию помощи тем, кто обнаружил ошибку в выборе рода деятельности и хочет изменить ее на более соответствующую его призванию. Последнее особенно важно для исключения ощущения обязательности и принудительности раз выбранной профессии или рода занятий.

Схема народного образования



Примечание:

Добавочными пунктирными линиями показано многообразие возможностей, предоставляемых «заочным» (вечерним и т. д.) образованием для повышения общего уровня и приобретения различных специальных знаний не только для людей с практическим, но даже с академическим образованием.

II

В первой части статьи мы дали набросок общей перестройки системы народного образования, не рассматривая содержания преподаваемых предметов и методов преподавания. В дальнейшем изложении мы остановимся на этих вопросах и наиболее существенных проблемах, с ними связанных.

Задачу, выполняемую школой, можно разбить на три основных элемента:

1. Первой задачей школы является сообщение учащимся в ней определенной суммы знаний в соответствии с уровнем и специализированным профилем школы.
2. Воспитание характера молодого поколения будущих граждан на определенных морально-этических основах как в аспекте личном, так и общественном.
3. Выработка и тренировка метода самостоятельного мышления, необходимого для решения задач практической жизни.

Как же разрешаются эти задачи в советской школе, каковы дефекты ее и намечающиеся пути выправления?

Наиболее ясен в этом смысле пункт первый. В области физико-математических, естественно-научных и чисто прикладных предметов положение можно считать достаточно удовлетворительным. Вероятно, в первый момент потребуются лишь сравнительно небольшая работа по освобождению учебников и программ от некоторых чересчур тенденциозно подобранных примеров и находящихся в этих учебниках, как правило, в незначительных количествах ссылок на классиков марксизма-ленинизма. Дальнейшее совершенствование в этой области школьного дела явится уже нормальной длительной творческой работой посвятивших себя этому людей.

Значительно худшим, но всё же вполне ясным, оказывается положение в области гуманитарных, историческо-филологических и социальных предметов, в силу не только засорения, но подчас и полного искажения и фальсификации учебного материала, подаваемого в этом случае на основе «марксистско-ленинской» и «материалистической» «теории» или «мировоззрения». Трудности тут будут не столько принципиального, сколько практического характера: пересоставление или просто составление и издание заново учебников и переподготовка обширного кадра преподавателей. При наличии достаточных исходных материалов (дореволюционных, эмигрантских, иностранных и даже в какой-то мере советских) работа эта потребует все же значительного времени, специальных кадров и материальных средств. Очевидно неизбежен переходный период, большей или меньшей длительности, когда на практике будут применяться временные материалы в виде всевозможных конспектов, записок, добавлений или изменений к существующим учебникам и т. д., изданных самыми разнообразными тиражами и способами, от типографского до рукописного. Постепенная кристаллизация из этого первичного материала сперва нормальных программ, а затем учебников, соответствующих этим программам, явится довольно длительным процессом. Однако, несмотря на указанные трудности, проблема и пути ее решения и в этом случае достаточно ясны.

Переходя к пункту второму, отметим только, что здесь имеется множество болезненных явлений, вызванных принципиальной порочностью системы коммунистического тоталитаризма и, в частности, системой школьного и партийного воспитания, в соответствии с этими принципами. Возможности преодоления некоторых из этих болезненных и ненормальных явлений намечены в разделе первом, на путях общей перестройки системы школьного образования.

Дальнейшая работа в этой области лежит, очевидно, в укреплении и оздоров-

лении семьи и домашней жизни, которые явятся следствием как общего духовного раскрепощения, так и в значительной мере повышения благосостояния народа, в результате ликвидации коммунистической диктатуры и отстройки здорового свободного общества. Далее, безусловно большая роль выпадает здесь на долю свободной общественности, и, наконец, возрожденной религиозной и церковной жизни.

Переходя к третьему и последнему пункту, мы считаем необходимым отметить полную неудовлетворительность положения не только в советской школе, но и в начальной и средней школе всех стран «европейской культуры»; в Советском же Союзе эта ненормальность усугубляется общей порочностью государственных системы и «идей».

Для обоснования и разъяснения этого утверждения необходимо подойти к настоящей проблеме в исторической перспективе. При этом мы можем различить три последовательных во времени типа мышления и метода подхода к решению практических и теоретических задач.

Первый период, начавшийся в глубокой древности, условно продолжался до конца XVIII — начала XIX века, начала массового распространения элементарного образования.

Период этот характерен интуитивным восприятием любой задачи, врожденным здравым смыслом и использованием опыта как своего личного, так и соборного предыдущих поколений.

Для типа мышления этого периода, который мы условно назовем *интуитивным*, характерно, с одной стороны, именно интуитивное решение, свободное и творческое предвидение у сравнительно малочисленных единиц (Леонардо да Винчи, Эйлер и др.) и общераспространенное уважение к опыту, труду, мастерству и искусству в той или другой области деятельности — начиная с самых элементарных, как отдельные ремесла, и кончая наиболее сложными — наукой, философией и политикой.

При этом, как вполне естественное и само собой разумеющееся, предполагается, что качество результата зависит как от способности исполнителя, так и его опыта и мастерства, а также, что у каждого могут быть удачные или неудачные результаты его деятельности. Причем неудача не является ни особой трагедией, ни результатом злой воли, и в процессе дальнейшей творческой деятельности либо того же лица, либо других лиц, может быть исправлена.

Такой метод мышления и подхода к решению проблем, очевидно, должен проявляться наравне с восприятием любой работы как творческого, а, следовательно, дающего личное удовлетворение, процесса, склонностью к определенной степени консерватизма и умеренному эволюционизму, — качествам способствующим созданию устойчивых и полноценных форм общественной жизни.

Положение существенно меняется на грани XVIII и XIX веков в связи, как мы уже указывали, всё более широким распространением элементарного образования, приводящего к созданию того типа мышления, который можно условно назвать *арифметическим*. Метод этот возникает в результате обобщения получаемых с первых лет обучения в школе навыков подхода к решению арифметических задач и сводится к тому, что всякая задача (как это бывает в учебниках) имеет определенное точное решение, достигаемое конечным числом действий, совершаемых по определенным правилам. Знающий эти правила всегда найдет верное, точное и единственное решение, которое в таком случае, естественно, является и окончательным.

В сознании большинства людей такой метод постепенно приводит к необо-

снованным обобщениям и перенесению этого принципа во все области жизни, в частности, и в область политики и социологии.

Характерным при этом является, возможно и подсознательное, построение «я учился мало (в начальной школе), потому я всех правил не знаю, но он (государственный или политический деятель) учился больше и, во всяком случае, достаточно, чтобы изучить все правила действий в области своей деятельности». Отсюда, как следствие, возникает предъявление к нему требования дать сразу окончательное, единственное правильное и т. п. решение*).

Практически указанное обстоятельство может вести либо к политическому радикализму, с требованиями немедленного решения всех проблем — достижения «рая на земле», либо к пассивному ожиданию благодетелей от знающего все правила-рецепты мудреца, т. е. к вождизму, и вызывает бросания либо в авантюрные перевороты, либо в полную стагнацию.

В обоих случаях, по-видимому, будет происходить снижение творческой энергии, активности и общий упадок духовной жизни, что явно и наблюдается на протяжении всего XIX и начала XX веков.

Очевидно, что арифметический метод мышления не может дать удовлетворительных результатов и в современной, всё усложняющейся жизни, с ее бесконечными взаимопереплетающимися течениями.

Преодолеть арифметический метод мышления может аналитический (по аналогии с соответствующими высшими областями математики) подход или метод, рассматривающий решение каждой проблемы как бесконечный ряд неточных, но всё более приближающихся к окончательному идеальному решению, однако никогда его в действительности не достигающих решений. Причем, каждое достигнутое приближенное, а, следовательно, неточное или неправильное, решение является исходной базой для получения следующего, более точного, лучшего, но всё же опять не окончательного решения, и так далее, в бесконечном процессе.

Переход к аналитическому методу мышления, по-видимому, будет означать возрождение восприятия работы — практической деятельности как творческого акта, т. е. появится возможность выбора разных путей приближения к идеальной цели, путей быстрых и путей долгих и медленных (по аналогии с быстро и медленно сходящимися бесконечными рядами), причем выбор того или иного пути будет зависеть от индивидуальности субъекта, деятельности и возможности все новых и новых улучшений — уточнений.

Этот метод, вероятно, приведет и к естественному возрождению уважения к мастерству, искусству (умению) и опыту.

Наконец, поскольку сам метод является методом последовательного улучшения результатов, он является методом эволюционным, т. е. не допускающим стагнации и, как правило, отвергающим радикализм, но не исключаящим, в особых случаях, скачка разрыва непрерывности, т. е. революции.

Непрерывное усложнение жизни не является принципиальным препятствием для применения этого метода мышления и подхода к решению практических проблем. Изложение показывает, что широкий переход к мышлению в аналитических формах должен устранить все те моменты, которые привели к оскудению духовной жизни и деятельности в период XIX—XX вв., а, следовательно, к новому ее полному расцвету.

Возвращаясь к арифметическому методу, отметим, что в либеральном демо-

*) В более высоких областях науки и философии этот метод мышления приводит к механизму, детерминизму и материализму.

кратическом обществе, в силу его особенностей неограниченной или весьма слабо ограниченной свободы, основным влиянием и следствием вероятно будет главный крен в сторону радикализма, в тоталитарных обществах и, в частности, в коммунистическом, в силу присущей последнему единой обязательной механической и детерминистической доктрины, являющихся дальнейшим развитием арифметического метода мышления, основной или преобладающий крен будет в сторону подавления духовной деятельности и пассивности, что не исключает, конечно, и противоположных проявлений.

Каковы же практические пути решения этой проблемы в области народного образования вообще и в Советском Союзе в частности и в особенности?

В условиях свободной России первым и неперемнным условием явится освобождение преподаваемых наук от сковывающего и замораживающего влияния механистическо-материалистической догмы во всех ее проявлениях. В этом направлении предстоит огромная работа по пересмотру методики изложения, доказательств и т. п. Работа эта, очевидно, должна будет проводиться систематически в течение более или менее длительного периода и идти параллельно с отмеченными выше корректировками или полным пересоставлением учебных пособий.

Однако, этим данная проблема в общей ее, а не специфически советской части, далеко не исчерпывается.

Мы считаем, что для преодоления вредных последствий арифметического метода мышления необходима перестройка методики преподавания и привития основных правил и методов аналитического мышления с самых начальных лет школьного обучения. Значительно легче сразу дать правильное направление в развитии мыслительных способностей и соответствующих навыков детей, чем заниматься переучиванием их в более зрелом возрасте, когда для искоренения сложившихся и применяемых часто автоматически навыков требуется длительная и усидчивая работа.

С этой точки зрения введение, например, в последнем классе гимназии краткого курса математического анализа, безусловно полезное с точки зрения повышения общего культурного уровня выпускников гимназии, не может считаться действительной и достаточной мерой по двум причинам:

1. Во-первых, длительность и объем изучения этой дисциплины в условиях гимназических, явно недостаточных, приводит к наложению довольно поверхностных сведений из этой науки на уже сложившийся привычный метод мышления. Восприятие излагаемых сведений из анализа воспринимается не как новый метод исследования и решения практических и теоретических проблем, а как сокращенное изложение еще одного нового правила в дополнение к уже известным ранее, либо как некоторая искусственная надстройка над солидным и непоколебимым зданием арифметической учебы. В обоих случаях ничего, по существу, не изменяется, и арифметический метод остается господствующим. Для перевоспитания сложившихся привычных методов и форм мышления необходимы годы работы в объеме полной высшей школы. Надо отметить, что в практической жизни очень часто случается, что и высшая школа оказывается часто недостаточной для достижения этой цели.

2. Во-вторых, полную гимназию оканчивает сравнительно небольшая часть молодежи, так что даже те незначительные сдвиги в привычных методах мышления, которые при этом достигаются, охватывают лишь эту небольшую часть, подавляющее же большинство молодежи остается при сложившемся привычном арифметическом методе совершенно незатронутой, со всеми вытекающими последствиями.

Практически необходимо с самых первых лет школьного обучения в начальные понятия арифметического целочисленного счета и правил действий с целыми числами вводить понятия измерения как операции приближенной и выполняющейся с различной степенью точности, в зависимости от потребности и имеющихся средств:

Пример:	Расстояние между породами	— в километрах
	Расстояние между домами в городе	— в метрах
	Размеры домов	— в сантиметрах
	Размеры грубых машин	— в миллиметрах
	и далее	— с 0,1 мм., с 0,01 мм. и

т. д. с выяснением для ребенка идеи последовательного приближения к истинному, но никогда не достижимому значению.

Ту же основную идею необходимо проводить и в преподавании всех других предметов и для более сложных понятий.

Пример: Приближенное измерение длины ведет к... приближенным измерениям емкости и далее приближенному значению единицы веса, т. е. приближенному измерению весового количества — взвешиванию.

Далее следует дать простейшее понятие меры точности.

Систематическое применение и проведение подобного метода обучения должно неизбежно привести к постепенному созданию правильного подхода к решению любой не только арифметической или физической задачи, но и к задаче, требующей длительного (в пределе бесконечного) ряда приближенных постепенно улучшающихся по точности решений; т. е. к широкому распространению того метода мышления, который мы условно назвали *аналитическим*.

Принципиальных трудностей, как нам кажется, при этом встречено быть не должно, т. к. понятие измерения величин (больше—меньше и т. д.) является таким же первичным, как и понятие счета (много—мало), и вполне доступным детям на уровне первых классов школы. Практические же все трудности бесспорно могут быть разрешены методологической разработкой соответствующих преподаваемых предметов.

Одной намечающейся опасностью, могущей возникнуть в случае неправильного применения указанного способа преподавания, является возможность развития у детей, а затем и у молодежи определенного нигилизма и скептицизма — что всё, мол, всё равно неверно и неправильно, и ничему не стоит придавать значения и вообще учиться и т. д.

Однако, весьма сильным противодействием возможности таких тенденций является перенесение центра тяжести на момент непрерывного уточнения ряда решений, на непрерывное приближение к истинной цели (платоновским идеям вещей) и непрерывное совершенствование, что, бесспорно, в корне ликвидирует тенденции в сторону нигилизма и скептицизма.

Франкфурт на Майне, 1957 г.

Будущее государственных займов СССР

На всем протяжении своей истории советская власть прабилa народ всеми доступными способами. Никакое другое государство мира не может похвалиться таким списком продуманных, точных, запланированных и эффективных способов и методов узаконенного грабежа. Конфискация имущества «лишенцев» и «кулаков», насильственная коллективизация, продразверстка, продналог, выкачивание золота у населения через «торгсины» и при помощи аппарата ОГПУ, непосильные налоги на «частников» и «нэпманов», баснословно высокий, доходящий до 300—400% налог с оборота и другие косвенные налоги — вот неполный список этих методов. Добровольно-обязательные субботники, авралы, стахановщина, обязательства «догнать и перегнать», «выполнить и перевыполнить», принудительный труд заключенных, все вело к грабительскому обогащению.

Но особенно успешно проходила и проходит «экспроприация у эксплуатируемых» через аппарат государственных финансов, где советская власть действительно добилась блестящих успехов. Не вдаваясь в технические подробности, нужно указать четыре основных способа: непрекращающаяся скачка цен, насильственные займы, незаконное присвоение государственным бюджетом фондов социального страхования и сбережений в сберкассах. В то время как последние два способа принесли правительству сравнительно небольшие средства, первые два являются краеугольными камнями финансовой политики СССР, и при их помощи огромная часть заработков была переведена в руки правительства.

История государственных финансов СССР, а в особенности история выпуска, распространения и расчета по государственным займам, никак не говорит о стабильности советской власти и умении выполнять взятые ею на себя обязательства. Внутренние государственные займы — вещь присущая не только советскому государству. В настоящее время нет ни одного крупного государства, не имеющего большего или меньшего национального долга, причем во многих странах он даже приближается по размеру к национальному доходу.

Характерной особенностью советских займов являлось то, что они распространялись среди населения в обязательном порядке, и что, несмотря на все якобы гарантии, советское правительство произвольно меняло проценты, выплачиваемые по облигациям, увеличивало сроки погашения, а то и просто объявляло мораторий по одному или всем займам. Вообще же, следя за историей советских государственных займов, не всегда понятно, для чего в тоталитарном государстве

нужна была эта игра. Цель займов всегда ясна — увеличение государственного бюджета и уменьшение покупательной силы у населения. Неясно только, почему этой цели нельзя было добиться другим, более простым путем — налоговым или через аппарат цен. Ответ напрашивается только один — кажется, что перед выпуском каждого займа правительство надеялось — ну, этот-то мы уже выплатим! Однако что-то непредвиденное опять случалось в «бесперебойной системе социалистического передового хозяйства», и министерство финансов производило очередной пересмотр условий займа, уменьшая проценты, аннулируя заем или удлиняя срок — меры, рассматриваемые на Западе как простое бесславное банкротство!

Не вдаваясь в подробности, просмотрим историю займов: с 1922 по 1927 годы было выпущено всего 13 различных так называемых «восстановительных» займов на сроки от одного до 10 лет, выплачивающих от 6 до 12% годовых. Ни один из этих займов не был полностью погашен, и в 1930 году была проведена конверсия всех непогашенных займов в один — с уменьшением на 6 процентов и с увеличением срока погашения до десяти лет. В 1936 году была произведена новая конверсия всех займов, выпущенных до этого года в один заем с понижением процентов с шести на четыре и удлинением срока погашения до двадцати лет. С 1936 по 1947 были выпущены и распространены между населением облигации государственных займов на общую сумму в 285 млрд. рублей. Все эти займы плюс непогашенный остаток займов, выпущенных до 1936 года и в декабре 1947 года, были сведены в один новый заем 47 года, причем было произведено очередное уменьшение процентов, выплачиваемых по займу, с 4% на 2%. Приурочив конверсию к денежной реформе 47 года, новые облигации обменивались на старые 1 за 3, то есть за 1000 руб. Владелец четырехпроцентных облигаций 1946 года получал 333 руб. двухпроцентных облигаций.

С 1948 года снова стали выпускаться новые четырехпроцентные займы, но уже в 1953 году проценты по ним были уменьшены до 3. Ровно через год было проведено еще одно уменьшение процентов — с трех на два.

Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 апреля 1957 года выпуск новых займов прекращался, а выплата по непогашенным 260 млрд. руб. была отсрочена на 20 лет. Трудно подсчитать, какую сумму законных заработков населения присвоила себе советская власть таким путем, но эта цифра очевидно превышает несколько сот млрд. рублей.

Последняя мера — мораторий на весь государственный долг — особенно сильно ударила по населению. Во-первых, очень сильно пострадали пожилые люди, отложившие на старость небольшие суммы денег в облигациях. Сумма в 260 млрд. — большая сумма (1300 рублей на человека), и удар по карману был очень чувствителен, особенно принимая во внимание то, что при нужде облигации можно было заложить в сберегательной кассе за 30 процентов номинальной цены. Подсахарило эту очередную «пилюлю» для населения лишь сознание того, что прекращаются, наконец, вычитания двух-четырёхнедельного жалования на заем! После этого краткого обзора перейду к вопросу будущего.

В первую очередь, вместе с коммунизмом, в России должен быть уничтожен и антинародный государственный капитализм. Концентрация в руках у правительства собственности на орудия производства, коллективизация сельского хозяйства, отсутствие частной инициативы, бездушный централизм, опломбированный аппарат плановиков и контролеров — все пресловутое социалистическое хозяйство, доведшее население богатейшей страны почти до разорения, должно быть в новой России коренным образом преобразовано. Определенный сектор народного

хозяйства страны должен быть денационализирован и возвращен в руки народа. Конечно, окончательные пределы денационализации хозяйства будет решать новая законодательная власть России, которая должна будет базироваться на максимальной выгоде народа.

Денационализация части хозяйства должна будет внести и некоторые изменения в структуру государственных финансов. Хаос, царящий в СССР в области ценообразования, в котором признаются сами советские экономисты, должен быть упорядочен. После проведения в жизнь необходимых законов о максимальной прибыли, максимальной наценке на себестоимость, минимальной заработной плате и пр., цены должны будут устанавливаться путем уравнивания спроса и предложения, а не распоряжением правительства. В плане государственных финансов предвидится, что наиболее выгодной для нашей страны системой будет установление, помимо министерства финансов, независимого центрального эмиссионного и кредитного банка. Для предотвращения резкого изменения покупательной способности рубля необходим будет аппарат, регулирующий количество денег в обороте путем эмиссии и контроля кредита. Выход из финансового хаоса, созданного советским правительством, видится нам в реформе рубля, реформе очевидно девальвационной, то есть ведущей к понижению количества наличных денег в обороте, падению цен на продукты потребления и повышению покупательной способности рубля. Однако, должен указать, что необходимость реформы рубля и ее характер будет продиктован длительностью и тяжестью переходного периода. Если предположить, что переходный период будет коротким, то вполне возможно, что уменьшение кредитных операций Госбанка будет вполне достаточно для оздоровления денежной системы страны, и необходимость реформы рубля с введением новых денег отпадет.

Какова же будет судьба советских государственных займов? Что случится с 260 млрд. рублей облигациями госзаймов?

Предполагаю, что первым долгом нового правительства свободной России будет компенсация-выплата владельцам облигаций занятых сумм. Это решение кажется выгодным и необходимым с нескольких точек зрения — юридической, финансовой и социальной справедливости.

Юридически это решение кажется неоспоримым. Новое правительство России наследует всё имущество советского правительства. По Конституции СССР (статья шестая): «Земля, ее недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный и воздушный транспорт, банки, средства связи, организованные государством крупные сельскохозяйственные предприятия (совхозы, МТС, и т. п.), а также коммунальные предприятия и основной жилищный фонд в городах и промышленных пунктах, являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием».

Наследуя всю государственную собственность СССР, новое правительство «обогатится» и всеми долгами правительства СССР как внутренними, так и внешними; и еще целым рядом других обязательств, как-то: обязательства по обеспечению пенсиями, страхованию жизни и имущества, пособию по безработице и выплате вкладов, находящихся в государственных сберегательных кассах.

Немного в другом плане, но также категорически, этот вопрос будет решаться в международном праве, где в известной доктрине государственной преемственности говорится, что при самых радикальных переменах всего социально-политического строя, государство само по себе не исчезает, и все обязательства этого государства продолжают носить нормативный характер.

В качестве исторического примера укажу, что, несмотря на совершенно раз-

ные социально-политические системы Германской империи, Веймарской республики и «Третьего Рейха» Гитлера, парламент Боннской республики 30 августа 1957 г. провел особый закон, апроприировав 5 млрд. немецких марок для погашения всех внутренних займов, выпускавшихся с 1916 года.

С точки зрения социальной справедливости, погашение советских государственных займов — столь же необходимо и оправдано. За сорок с лишним лет своей истории советская власть прибегала к всевозможным способам денежного ограбления населения. Долг будущего российского правительства — максимально загладить ущерб, нанесенный народу. Во многих случаях это будет очень трудно. Но именно в случае займов, где имеются налицо «расписки в грабеже», это совершенно необходимо.

Выше я говорил о необходимости частичной денационализации народного хозяйства. Но как же передать народу в частное владение часть хозяйственного капитала? Ответ напрашивается сам собой: с одной стороны, мы имеем 260 млрд. рублей государственного долга, с другой стороны — определенный сектор хозяйства, подлежащий передаче народу; приравняв стоимость денационализируемого сектора сумме долга и пропорционально разделив его между владельцами облигаций, правительство новой России решит этот вопрос. Нужно указать, что другого решения нет. Взять на себя государственный долг СССР и не установить источника средств для погашения — нельзя. Наличных сумм в Госбанке не хватит на покрытие и сотой доли долга, особенно учитывая другие финансовые обязательства нового правительства, как-то: выплата взносов из сберегательных касс, пенсий, пособий, компенсаций по страховкам и пр. Формальное финансовое решение несложно: произвести конверсию всего государственного долга СССР в один государственный заем и выплачивать его постепенно из бюджетных поступлений. Однако, социальная и финансовая бессмысленность такого решения очевидна — обложение народа повышенным налогом для возвращения народу его же денег. С другой стороны, также трудно установить форму денационализации, если не прибегать к указанному выше способу. Просто раздавать государственное имущество? Но как и кому, по какому принципу? Компенсация бывшим политическим заключенным не решит вопроса, т. к. их всего несколько миллионов человек, в то время как владельцев облигаций советских госзаймов около 80 миллионов. Любой вид продажи государственной собственности, даже в кредит, может привести к очень тяжелым последствиям. Не излагая подробно теории государственных финансов, можно принять за аксиому, что превышение бюджетных поступлений над бюджетными расходами поведет к дефляционному давлению на денежную систему государства, сокращению занятости и другим нежелательным последствиям. Хочу опять прибегнуть к примеру из истории государственных финансов Германской Федеративной Республики. Наследовав от «Третьего Рейха» Гитлера ряд государственных предприятий, как, например, заводы «Фольксваген» и бывшие заводы Германа Гёринга, Боннское правительство долго не могло решить, что с ними делать. Философия экономического неолиберализма, привезенцем которой является министр хозяйства и др. Эрхард и другие члены правительства, требовала немедленной денационализации. Практического же разрешения этого вопроса правительство Аденауэра не нашло до начала 1957 года (когда было принято решение о выпуске акций в целях денационализации заводов «Фольксваген»).

Нет, приняв за нормативное положение о возвращении долгов советской власти и денационализации части хозяйственного капитала, нужно признать, что ре-

шение возможно только в одном направлении — распределении денационализируемого капитала между владельцами облигаций.

При обсуждении технических аспектов решения этого вопроса станут ясными еще добавочные положительные моменты и выгода такого решения как с точки зрения народного благосостояния, так и с точки зрения государственных финансов.

Говоря о практическом решении проекта реформы займов, я не буду касаться определения размера сектора народного хозяйства, подлежащего передаче в руки народа. Окончательно этот вопрос будет решен законодательными органами будущей России, которые установят размер и характер частнохозяйственного сектора и сроки для передачи его в полное владение частных предпринимателей.

Обсуждая вопрос определения окончательной суммы долга, подлежащего погашению, нужно остановиться на следующем моменте. Надо принять во внимание то, что за редким исключением подписка на заём в СССР производилась насильственно и пропорционально заработку. Другими словами, распределение 260 млрд. рублей государственного долга между 80-90 миллионами граждан более или менее соответствует социальной структуре советского общества. Выступление Сталина в 1931 году против «уравниловки» окончательно уничтожило ранние мечты марксистов и социалистов всех категорий о материальном равенстве. Благодаря разнице в заработках и очень низкому подоходному налогу, СССР далеко обогнал капиталистические страны в неравенстве. Поэтому выплата и погашение облигаций 1:1 будет способствовать сохранению современной стратификации советского общества и будет более выгодна привилегированным группам. Вопрос несомненно чрезвычайно сложный, и при его решении нужно принять во внимание два момента. Во-первых, никак нельзя принять за аксиому положение, что «верность партии и правительству СССР» всегда прямо пропорциональна заработку человека в СССР. Привилегированными группами в СССР являются не только партийные и правительственные чиновники, но и врачи, инженеры, ученые, писатели, артисты и художники, то есть группы, получающие и в других социально-политических системах более высокое, чем другие, вознаграждение за свой труд. Во-вторых, можно предположить, что если человек действительно был виновен перед народом за свои действия в период советской власти, то он понесет свое наказание нормальным юридическим путем. Институт конфискации имущества в любой форме, за исключением долговых преступлений и банкротства, юридически совершенно не оправдан, так же, как не оправдан институт заложников и ответственности родственников за преступления членов семьи, — этим явлениям не место в правовом государстве.

Установить прогрессивную формулу обмена и погашения облигаций можно и даже, как я покажу ниже, нужно, но из соображений финансовых, а не политических. Прогрессивная формула обмена, то есть обмен определенной суммы 1:1, а затем при увеличении суммы облигаций в руках у одного владельца (или семьи), при уменьшении процента со 100 на 90, 80, 70, 60 и т. д. — необходима по следующим соображениям. После того, как населению станет известно о предполагаемой реформе государственных займов, облигации приобретут в глазах населения определенную ценность, что приведет к двум последствиям: 1) начнется скупка облигаций лицами, имеющими свободные средства или предпочитающими выгоды в будущем — наличным суммам в данный момент. Для предотвращения быстрой и незаслуженной наживы и нужна прогрессивная формула обмена, которая предотвратит концентрацию больших сумм в одних руках. Второе соображение, делающее прогрессивную формулу обмена необходимой, следующее: как

только станет известно о предполагаемой реформе, и облигации госзаймов приобретут в глазах населения ценность, давно потерянную при советской власти, облигации начнут ходить наравне с рублем, и в стране создастся эквивалент денег. В зависимости от того, будет или не будет необходимой реформа рубля, установится стоимость облигаций. Понятно, что если станет известно, что рубль будет девальвирован, а облигации обменены 1:1, то рубль облигациями будет стоить больше рубля денежного, и облигации начнут ходить наравне с денежными рублями. Появление в стране денежного эквивалента, что равносильно увеличению денежной массы в обращении, вызовет инфляцию, то есть повышение цен и понижение покупательной способности рубля. В какой-то степени этот процесс был бы замедлен характером облигаций (в основном, достоинством в 100 рублей), неудобным для быстрого оборота, но всё же это явление — нежелательно. Прогрессивная формула обмена и регистрация облигаций, о которой скажу ниже, будет способствовать уменьшению и ограничению этого явления.

Попробуем установить ход предлагаемой реформы государственных займов. Первым шагом, после опубликования постановления правительства о реформе, будет регистрация и передача на хранение в государственные учреждения всех имеющихся облигаций госзаймов. Кроме вышеприведенных соображений, такая регистрация необходима еще по нескольким соображениям. Во-первых, будет установлена точная сумма облигаций, находящихся на руках у народа. Во-вторых (и в этом заключается ценность данной реформы для переходного периода), контроль над облигациями даст в руки финансовым органам правительства ценнейшее оружие для стабилизации денежной системы.

Нужно принять во внимание, что в первые годы после революционного переворота в стране будут происходить большие хозяйственные перемены и структурного и даже физического характера, на которые денежная система сразу будет реагировать. Контрольные же моменты, достаточные для поддержания стабильности рубля в нормальное время, могут оказаться недостаточными, особенно если учесть трудность предварительного определения формы, характера и последствий этих перемен. Например, очевидно, что в первую очередь сильно сократится численный состав вооруженных сил России. Так как армия состоит в основном из колхозной среды, можно предположить, что занятость в сельском хозяйстве увеличится с повышением производительности и продуктивности. В зависимости от состояния транспорта, соответственно увеличится количество продуктов питания на свободном рынке, с возможным падением цен. Одновременно будут происходить перемены в индустриальном секторе. Совершенно ясно, что дальнейший рост индустриализации — в интересах русского государства. Но, отказавшись от высоких косвенных налогов, в основном от налога с оборота, новое правительство сильно сократит бюджетные поступления, что вызовет сокращение капиталовложений в тяжелую индустрию. Сокращение капиталовложений плюс сокращение спроса на продукцию военных заводов, в свою очередь, сократят занятость в секторе тяжелой индустрии. Как быстро легкая индустрия, обслуживающая потребителя, сможет поглотить свободные рабочие силы, сказать трудно. Все эти перемены, именно потому, что они, в основном, явятся переменами в формах и распределении занятости населения, будут регистрироваться денежной системой страны. Любой центральный банк любой страны стал бы в тупик, если бы ему предложили, пользуясь обычными способами эмиссии и контроля над кредитом, сохранить стабильность денежной системы при таких переменах. Вот в этот-то момент финансовым органам и придет на помощь реформа государственного долга. Так как облигации госзаймов будут иметь определенную

ценность, то частичный выпуск их для обмена-продажи на свободном рынке ценных бумаг сможет всегда приостановить дефляцию, если таковая начнется. Варьируя количество облигаций в свободном обращении, финансовые органы государства смогут значительно легче справиться с поддержанием стабильности денег в переходный период. Следующим шагом после регистрации облигаций и сдачи их на сохранение будет установление размеров денационализируемого сектора народного хозяйства, о котором мы уже говорили, законодательными органами нового правительства. Затем, опять-таки в законном порядке, через законодательные органы будет установлена формула обмена — в большей или меньшей степени прогрессивная. Однако, общая сумма, подлежащая обмену, не будет меньше 260 млрд. руб., так как, используя прогрессивную формулу, нужно будет использовать оставшиеся облигации для распространения среди пострадавших от режима. Следующий шаг, а именно приравнение общей суммы облигаций, подлежащих обмену, общей стоимости денационализируемого сектора для пропорционального разделения, — наиболее сложный вопрос, и на нем придется остановиться подробнее. Главной задачей будет установление более или менее точных цен на все фабрики, заводы, предприятия, инвентарь и машины, подлежащие передаче в частновладельческие руки. Трудность этой задачи заключается в том, что использовать цены, существовавшие в СССР, будет очень трудно, если вообще возможно. Ценообразование в СССР было одной из наиболее сложных проблем, и по-настоящему она никогда разрешена не была. Цены, существующие в СССР, никак не отражают ни себестоимость предмета, ни его ценность и полезность, а его ценность только в глазах советского правительства. Надеяться на то, что новый свободный рынок быстро установит цены, нельзя. В то время как цены на продукты потребления установятся очевидно довольно быстро, цены на производящий капитал будут устанавливаться долго и с большим трудом. Предвидится два решения этой проблемы. Первое — это всё же использование советских цен с внесением необходимых поправок. Ведь вопрос заключается не в установлении абсолютной цены на то или иное предприятие, а в пропорциональном разделии всего сектора между владельцами облигаций.

Имеется и второе решение этого вопроса — установление сравнительной стоимости предприятия путем «капитализации», а именно через установление прибыльности.

Предположим, что имеется ряд предприятий, стоимость которых неизвестна, но должна быть установлена. Если мы назовем стоимость каждого предприятия а, б, в, г, д и т. д., то

$$а + б + в + г + д + \dots = \text{сумме } Y^1 \text{ (стоимость всех предприятий)}$$

Также имеется известная сумма облигаций, подлежащих обмену, а именно на Y руб. Каждое предприятие, в течение первых нескольких лет, передает весь чистый доход в особый фонд. Этот фонд периодически распределяется пропорционально между владельцами облигаций в виде дивидендов. Если мы назовем доход предприятия А, Б, В, Г, Д и т. д., а сумму всех доходов X руб., то размер этого дивиденда будет определен формулой:

$$\text{дивиденд} \quad \frac{X}{Y}$$

Одновременно будет установлен общий процент чистой прибыли в частном секторе, который будет равен:

$$\text{общий процент прибыли} \quad \frac{100 \times X}{Y}$$

Зная общий процент прибыли в частном секторе, мы можем установить относительную цену каждого предприятия по формуле:

$$a = \frac{A \times 100}{\text{процент}}$$

(доказательство: если цена предприятия определяется вышеприведенной формулой, а

$$a + b + v + r + \dots = Y^1$$

$$\text{то, } Y^1 = \frac{A \times 100}{\text{процент}} + \frac{B \times 100}{\text{процент}} + \frac{V \times 100}{\text{процент}} + \frac{R \times 100}{\text{процент}} \dots \text{то есть:}$$

$$Y^1 = \frac{100}{\text{процент}} \times (A + B + V + R + \dots), \text{ то есть } Y^1 = \frac{100 \times Y}{100 \times X} \times (X)$$

то есть $Y^1 = Y$, что и было нужно.)

После установления общего процента на капитал, представленный облигациями государственных займов СССР, будет определена относительная стоимость всех предприятий, входящих в денационализируемый сектор.

Следующий и заключительный шаг реформы — обмен советских облигаций на новые государственные облигации и переход предприятий в руки новых владельцев — держателей этих облигаций. Для того, чтобы последние шаги реформы не вызвали никаких финансовых затруднений, предположительно, что Государственный Банк должен будет гарантировать еще на несколько лет выплату определенного процента по облигациям владельцев, по тем или иным причинам не выбравшим себе предприятия. Юридически-финансовая форма этих новых государственных облигаций видится как документ, ценность которого гарантируется строго определенным хозяйственным капиталом, не выплачиваемым государством в денежной форме; на облигации будет указана ее номинальная цена, соответствующая относительной ценности хозяйственного капитала, представленного этой облигацией, и одновременно являющейся кратной стоимости советских облигаций госзайма, сданных взамен ее; на облигации будет указана фамилия владельца-держателя и процент, выплачиваемый государством при определенных условиях, и, наконец, на облигации будет дан последний срок, до истечения которого облигация должна быть закреплена за любым предприятием частного хозяйственного сектора.

Распределяя предприятия между держателями новых облигаций, новое правительство сможет способствовать созданию тех или иных хозяйственных форм частного сектора — кооперативной, корпоративной с выпуском именных или безымянных акций, акций с правом голоса, или без, и т. д.

Так, например, если наиболее желательной хозяйственной формой будет принята кооперация, можно будет в первую очередь распределить контрольный пакет облигаций между рабочими и служащими данного предприятия, с передачей остатка-баланса другим владельцам облигаций без права голоса. Но всё это уже будет зависеть от будущего; главная цель реформы будет уже осуществлена.

Новое правительство, наследовавшее всю собственность советского государства, расплатится со всеми обязательствами СССР, одновременно решив вопрос частичной денационализации. В процессе проведения реформы государственного долга СССР будет создан аппарат, стабилизирующий денежное богатство страны, и сама реформа даст возможность повлиять на дальнейший ход структурного развития хозяйства России.

Объективные элементы революционного процесса в России

Тоталитарный коммунизм родился из страха перед анархией, порожденной политическими и экономическими конфликтами на заре эпохи индустриализации. Коммунисты рассчитывали, что монополия политической власти упразднит международную и междупартийную борьбу, а монополия хозяйственной власти упразднит столкновения между «классами» и стихийность свободного рынка. Мало того, чтобы создать бесконфликтное общество, подсподство над средой человека должно было бы стать безраздельным. Наука, искусство, этика, даже личная жизнь людей должны были подчиниться целям нового режима.

Однако, подобный контроль над средой человека означал насилие; обязательность же общественного идеала заставила людей притворяться. В результате, как верно отметил Р. Редлих¹⁾, насилием достигалась лишь фикция идеала, причем ее устойчивость стала зависеть от власти режима. Идеал максимального усиления власти заменил собой идеал построения бесконфликтного общества.

Для максимального усиления власти была создана сложная система тоталитарного контроля, о которой написано немало книг²⁾. Она действует при помощи изоляции, пропаганды, репрессий и дифференцированных поощрений. Если бы тоталитарный контроль мог быть последовательно осуществлен, революция или иное изменение режима против его воли стало бы действительно невероятным. Однако, даже в страшные годы террора, вопреки кажущемуся тотальному контролю власти над связью и над средствами существования, под покровом режима сохранился богатый мир стихийных сил и идей.

Многочисленные пути избегания контроля в Советском Союзе общеизвестны. Изоляция и контроль над безличными отношениями компенсируются усилением личных связей в малых группах, трудно доступных аппарату сыска. Процветают блат, кумовство, «знакомство и связи». С источниками контролируемой информации соперничают такие источники, как личный опыт, семейная традиция, слухи, культурная традиция и прорывающиеся сквозь контроль или сквозь официальную прессу фактические сведения о внешнем мире. Сквозь массовую сетку карательного аппарата удивительно многим, индивидуально виновным, удалось проскочить невредимыми. Впоследствии же, после того, как репрессии достигли своего потолка, началось постепенное раскрепощение от страха. Что ка-

Настоящая статья представляет собой переработку выдержек из подготовленной к печати на английском языке книги «Путь к революции в СССР».

сается поощрений, то весьма значительную долю материальных благ граждане себе урывают вопреки воле режима, создавая, при всей государственной монополии на средства производства, островки личной хозяйственной независимости.

Благодаря массовому обходу системы контроля, Советский Союз никогда не достигал совершенства арвелловской Океании в сатирическом романе «1984». Царство условного рефлекса, «социализация душ» невозможны, пока наряду с миром официальных дел и идей сосуществует альтернатива, мир неофициальных, стихийных дел и идей. Сохранение вопреки системе тоталитарного контроля вот этого мира подлинных, а не навязанных и фальшивых чувств и явилось первой предпосылкой революционного изменения тоталитарного строя в СССР.

Договоримся, как бы в скобках, что под революцией мы в данной статье понимаем процесс качественного изменения режима, а не восстание, переворот или иное какое единичное событие. Различные события типа государственных переворотов могут, но не должны, быть частью революционного процесса. Такое употребление термина «революция» вполне закономерно. Принято, например, говорить о «промышленной революции» начала девятнадцатого века, или о «второй промышленной революции» нынешнего дня. Между тем, ни появление машинной промышленности в начале прошлого века, ни появление автоматизации в наши дни нельзя связывать с каким-либо одним потрясающим переворотом. Важно, что и в том и в другом случае в сравнительно ограниченный период произошли радикальные качественные изменения общественной жизни.

Но вернемся к рассмотрению предпосылок революции. Неполная эффективность контроля и связанное с ней сохранение независимой от режима общественной стихии есть необходимое, но недостаточное условие революционных перемен. При многократном преобладании силы режима над силами хотя и автономной, но разобщенной и безоружной общественности, сосуществование противостоящих друг другу власти и общества может длиться неопределенное время. Однако, такой пессимистический прогноз снимается, если мы ближе рассмотрим отношения между властью и обществом.

Суть диктатуры — в стремлении к предельному усилению власти, к концентрации контроля. Цель же общественных устремлений — в деконцентрации контроля, в рассредоточении власти, которое бы дало максимальную возможность развития автономным общественным силам. Пока этот конфликт не решен, и не найдено оптимальное распределение власти, стихийные силы общества объективно, т. е. не взирая на личные предпочтения их носителей, противостоят власти. Противостоят потому, что последовательное развитие этих сил привело бы к упразднению диктатуры.

На это можно услышать традиционное возражение, что различные пути стихийного избежания и обхода контроля не ослабляют, а усиливают режим. Шестерня советской экономики — не могла бы двигаться без смазки «блатом», а терпимые властью нарушения закона необходимы власти как одушина, без которой перетретый пар народного гнева взорвал бы котел диктатуры. На самом же деле, в признании зависимости режима от нережимных и антирежимных сил лежит начало признания обреченности коммунистической диктатуры. Ибо если дальнейшее существование режима зависит от чуждых его целеполаганию сил, эти силы могут, хотя бы и бессознательно, ставить режиму свои условия и этим его видоизменять.

В стремлении режима к предельному, в данных условиях, усилению контроля над жизнью страны нет творческого начала. Мало творческих элементов и в системе мифов и фикций, оставшихся от идеала бесконфликтного общества. Что-

бы двигаться вперед, режим вынужден привлекать на свою сторону не только фиктивную, но и искреннюю верность; не только формальные, но и подлинные устремления людей. Для этого и предлагает режим уступки. Но поскольку продолжительные уступки привели бы к самоупразднению диктатуры, режим вынужден сменять фазы послабления фазами репрессий. Чередование фаз зажима и послаблений есть, как показал в частности М. Файнрод³), характернейшая черта тоталитарного коммунизма. Мало однако обращалось внимания на то, что следующая за волной послаблений волна репрессий не может зайти далее точки, у которой режим незадолго до этого осознал острую необходимость уступок. Фактически, даже полное возвращение после периода «оттепели» к репрессиям предшествовавшей ей интенсивности не может стереть память об «оттепели», и, таким образом, каждая эпоха послаблений вносит неотъемлемо новый вклад в освободительный фонд.

Правда, подобная необратимость освободительного процесса не была бы объяснительной, если бы режим мог опереться на новую породу людей, желающую приспособиться к прогрессивно возрастающему давлению и способную воспринимать внешний контроль как свой собственный. Подобное положение господствовало в двадцатых и тридцатых годах, когда дух большевистской революции был еще жив и последствия политики террора не были полностью очевидны. Однако, когда незадолго до Второй мировой войны и террор, и пропаганда достигли точки уменьшающихся результатов, необратимость распада системы формального контроля явно обозначилась. Конечно, режим продолжает попытки поглотить личность и общество в своей формальной схеме, во имя механистической утопии бесконфликтного общества. Но жизнь утверждает себя, и режим оказывается не в состоянии заменить плановым, искусственным регулированием сложность и многообразие органических процессов.

Рассмотрев под таким углом зрения способности режима удовлетворить нужды народа, общества, государства, мы увидим, что, идя на уступки и удовлетворяя их частично сегодня, режим лишь подготавливает собственное самоупразднение в перспективе завтрашнего дня. Чтобы не быть голословными, рассмотрим возможности сохранения централизованного контроля и диктатуры в области экономики, культуры и политики.

Максимализация власти и экономика

Когда начиналась политика индустриализации, все производство стали, нефти или цемента в нашей стране не превышало производства небольшой современной американской фирмы. Естественно, что промышленность такого небольшого размера легко поддавалась централизованному контролю. Но с тех пор колоссально возрос не только объем производства, но и номенклатура выпускаемых товаров. С появлением сложнейших новых отраслей промышленности, — от химии пластмасс и искусственных волокон до электроники и атомной промышленности, — невероятно усложнились внутрихозяйственные связи. Как бы ни раздувал Госплан свои штаты, учесть в центре буквально миллионы различных связей и взаимоотношений стало физически невозможным. Децентрализация управления промышленностью стала насущно необходимой. С 1959 года сверху дается лишь перспективный план, с разбивкой заданий по отраслям. Центр тяжести плановой работы перенесен на места, в новообразованные совнархозы, которые привлекают к рассмотрению планов предприятий представителей профсою-

зов и других местных организаций⁴). Логика промышленного развития, таким образом, заставила ЦК КПСС отпустить вожжи, хотя Хрущев и старался по возможности компенсировать урон власти в центре укреплением партийного элемента в руководстве совнархозов.

Однако, как указывают многие зарубежные публицисты, роспуск хозяйственных министерств и создание совнархозов были типичной полумерой, которая, немного облегчив положение, тотчас создала уйму новых проблем. В частности, проблему местничества и районной автаркии, которые чрезвычайно мешают разумной территориальной специализации и развитию хозяйства в целом. Основной порок в том, что децентрализована, и притом частично, лишь администрация планирования, но не само планирование. Руководитель предприятия не может решать, сколько, чего, как и когда ему производить. Отсутствует цена как барометр спроса и предложения. Цена не отражает экономических фактов, а является произвольной, политически установленной величиной в плане.

Отсутствие реальной экономической цены создает ряд предельно серьезных трудностей, над которыми с усиливающимися ожесточением бьется советская экономика. Прежде всего, благодаря отсутствию точной цены, в плановом хозяйстве, как это ни парадоксально, нет рациональных критериев для размещения капиталовложений. Как пишет З. Чуханов в «Вопросах экономики», «у нас отсутствует дающий однозначное решение научно обоснованный метод сравнения экономической эффективности различных способов производства»⁵). Возможно, что в начальных стадиях развития нашего хозяйства, в первые пятилетки, размещение капиталовложений немного «на глаз», особенно с учетом военно-стратегических факторов, было допустимым. Новые предприятия в молодом хозяйстве часто должны работать вначале с убытком. Однако, при нынешнем развитии экономики СССР отсутствие точного критерия при размещении капитальных инвестиций и связанное с этим расточительство принимают характер национального бедствия. Пять миллиардов рублей были, например, совсем недавно истрачены на переоснащение Подмосковского утольного бассейна новым оборудованием. Между тем, вышеупомянутый З. Чуханов обосновывает взгляд, что добыча низкокачественного подмосковского угля вообще нерентабельна, и гораздо дешевле бы было возить уголь в Москву из Донбасса. История с внезапным решением Хрущева приостановить дальнейшее строительство гидроэлектростанций и сосредоточить ресурсы на строительстве тепловых электростанций не менее показательна.

Результатом отсутствия рыночной цены является не только неэффективность капиталовложений, но и непроизводительность труда. Так, в нашем народном хозяйстве сейчас крайне остро встал вопрос специализации предприятий. Советские историки подчеркивают, что высокая производительность американской промышленности в значительной мере обусловлена специализацией: удельный вес основной продукции составляет более 80% объема производства. Для наших же заводов типично обрастание вспомогательными и заготовительными цехами, на которых в век автоматизации господствуют доморощенные, кустарные методы производства. Основная причина стремления предприятий к полному самообслуживанию — в ненадежности планового снабжения. У потенциальных предприятий-смежников нет коммерческого стимула для надежного снабжения покупателя. Даже если на специализированном заводе себестоимость какой-нибудь детали ниже, главный завод все равно предпочтет производить ее сам, так как более низкая себестоимость никак не отражается в общей для всех предприятий планом установленной цене.

Выход из всех этих проблем — в последовательном продолжении децентрализации. Выход — в отпразднении произвольных экономических районов, искусственно связывающих функционально независимые отрасли, и в предоставлении руководству предприятий не только соучастия в составлении плана, но и самостоятельности в установлении цен. Получив свободу ценообразования и договорных связей друг с другом, предприятия будут иметь, в условиях государственной собственности, некоторый эквивалент свободного рынка. Подобное решение еще давно отстаивал польский социалист-теоретик Оскар Ланге. На Западе же, американские «автономные управления» могут частично служить прототипом предприятий, капитал которых принадлежит государству, но которые ведут дела по принципам независимой частной фирмы.

Конечно, сегодня КПСС еще отнюдь не готова давать предприятиям хозяйственную свободу. «Развязывать стихию» хотя бы полусвободного рынка — это все еще жупел. Пойти на этот шаг — это значит выпустить из рук партии непосредственное руководство хозяйством страны. Однако, при создавшемся положении партия уже не властна над целым рядом хозяйственных процессов. Рано или поздно их автономность должна будет быть признана, ибо выбор предельно прост: или раскрепощение хозяйства и ускоренный экономический прогресс, или же укрепление диктатуры и хозяйственный застой. В последнем случае — прощай мечта «догнать и перегнать капитализм в обозримые сроки».

Одной из причин, тормозящих раскрепощение хозяйства сегодня, является факт, что плановое хозяйство лишено экономических стимулов для прогресса. В свободном хозяйстве этот стимул — прибыль. При плановом хозяйстве он заменяется стимулом внеэкономическим, а именно: политическим давлением правящей партии через посредство плана. Такой порядок имеет то преимущество, что ресурсы могут быть предельно сконцентрированы на политически важных участках, как, например, производство ракет. Однако, сковывая коммерческую инициативу, такой порядок мешает гармоническому развитию хозяйства как целого. Уместный в условиях недостатка и малоразветвленной промышленности, он становится предельно неуклюжим в сегодняшних условиях. ЦК КПСС и Госплан не всеведущи, они не могут предвосхитить всех новых явлений во всех областях жизни, и их инициатива получается запоздалой и авральной. Капитализм становится шпаргалкой, с которой приходится все время списывать: ах, посмотрите, у них химия искусственных волокон. Ну, давайте себе химии искусственных волокон! Ах, посмотрите, у них нефть и газ господствуют в энергетическом балансе. Ну, живо форсировать добычу газа и нефти! Ах, посмотрите, у них кукуруза. А ну, живей, себе кукурузу! Та же самая целина, в условиях свободного землепользования, была бы сейчас освоена потоком инициативных переселенцев, без всяких кампаний. Но у загнанного в колхозы крестьянства, естественно, не было ни возможности, ни охоты без давления партии ехать осваивать целину. Чтобы развязать «инициативу масс» по-настоящему, нужно будет найти какие-то формы соучастия в прибыли и руководителей, и рядовых работников промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Отдельные голоса в пользу такого решения, скажем, в совхозах, уже проскальзывают в советской прессе. Дальнейшее развитие этой тенденции — путь в «народный капитализм».

Впрочем, самый страшный из всех, жупел «возврата к капитализму» виден совсем близко в таких областях, как жилищное строительство, бытовое обслуживание или животноводство. Хрущев признал в декабре 1958 года, что прирост производства мяса происходил, в значительной мере, за счет частных стад. Примерно треть жилищного фонда строится за счет частных средств, с помощью

кредита, и находится в личной собственности праждан. В колхозах молодежь создает пошивочные и иные мастерские по принципу кооперативов, и газеты приветствуют такую инициативу. Некоторые организации потребительской кооперации выступают за заключение контрактов с предприятиями-поставщиками непосредственно, минуя оптовые организации бывшего Министерства внутренней торговли.

Если государство расширит хозяйственную свободу колхозов и совхозов и будет усиленно форсировать капиталовложения в сельское хозяйство, то Хрущев прав, что технически мелкое животноводство имеет мало шансов соревноваться с крупным. Однако в области бытового обслуживания, своеобразный нэп вполне логичен. Будучи независимым от давления покупателя, плановое хозяйство принципиально не способно учесть всех потребностей в иголках или наперстках. Между тем, требовательность покупателей будет быстро расти, и партии придется поневоле решать задачи, от которых она отмахивалась сорок лет.

Дело в том, что в начале индустриализации режим имел в деревне необъятный резервуар дешевой рабочей силы. Жестокими сталинскими репрессиями и редкими стахановскими пряниками можно было заставлять неприспособленную массу крестьян отдавать свой труд на стройках и на заводах. Если миллионы гибли в тундре или в пустыне, им на смену гнали новые миллионы: нужен был физический труд. Но безудержная политика террора тридцатых годов и колоссальные военные потери в корне изменили обстановку. В России обозначился острый недостаток рабочих рук. Увеличивать число рабочих стало невозможным, пришлось повышать производительность труда. Режим, поставленный в необходимость соревноваться с капиталистическим миром, не мог себе позволить низкую производительность труда из-под палки. В то же время, разветвляющееся и усложняющееся хозяйство начало требовать все более квалифицированных работников, которые не могли строить электронную аппаратуру в лаптях на босу ногу. Удовлетворение нужд трудящихся, ранее нужное лишь «в-десятых», для пропагандного эффекта, становится сегодня одним из коренных условий дальнейшего хозяйственного роста. К тому же, продвигающаяся механизация и автоматизация производственных процессов делают невозможной потогонную эксплуатацию трудящихся в стиле стахановщины и сдельных ставок. Такие примитивные формы эксплуатации были возможны, когда результат труда зависел от физических усилий человека. Когда же ритм и производительность труда все более и более устанавливаются машиной, на долю обслуживающего ее человека выпадает все более квалифицированная и умственная работа. Недаром советская пресса бьет отбой: отставить штурмовщину и погоню за рекордами, и выставляет на первое место ритмичность работы. Недаром стахановщина уже много лет как сдана в архив, и пропагандируются «бригады коммунистического труда», в которых акцент стоит не на рекордах, а на повышении квалификации. В перспективе автоматизации сулит постепенное вымирание породы пролетариев, работников физического труда, превращение их в техников и инженеров, т. е. работников умственного труда. А техника и инженерам нужен высокий материальный уровень жизни хотя бы уже для того, чтобы у нынешних «пролетариев» был стимул учиться, повышать квалификацию и становиться инженерно-техническими работниками. Мы видим, что укрепление благосостояния, и тем самым экономической независимости, рядового гражданина есть условие технического прогресса.

Со стороны кажется, что у партии есть возможность удовлетворить потребности населения в непродолжительный срок, если только будут переброшены значительные средства в промышленность предметов потребления, если будет

отставлен приоритет тяжелой промышленности. Однако, до сих пор такой переброски средств не последовало, и семилетний план по-прежнему предвидит преимущественный рост средств производства. Такая политика неудивительна, если учесть, что, вопреки бахвальству Хрущева, наша страна, при имеющихся темпах роста, догонит сегодняшнее состояние США по производству на душу населения не ранее, как через 20 лет. Таким образом, приходится думать не о снижении, а о повышении темпов роста; необходимое же для этого удовлетворение потребителя достигать за счет рационализации производства. Рационализация же, в советских условиях, может иметь только одно действительное направление — постепенную ликвидацию «социалистической плановости».

Суммируя, мы видим, что в хозяйственной области технический прогресс, необходимый партии для того, чтобы удержаться у власти, одновременно и неизбежно подрывает самые устои диктаторской власти. Укрепление диктатуры и технический прогресс — несовместимы. Чтобы выйти из тупиков советского хозяйства, нужно перейти от методов «первобытной» государственной экономики сталинского периода, схожей по жестокости и по эксплуатации с капиталистической экономикой начальной фазы, против которой воюствовал Маркс, на позиции созревшей экономики, аналогичной современной экономике традиционных промышленных стран. Ибо структура материальной среды человека зависит не только от его личных предпочтений и прихотей, но и от объективных закономерностей, заложенных в этой среде.

Максимализация власти и культура

Мы нарочно так долго задержались на экономических закономерностях, противостоящих тенденциям диктатуры, потому что в этой области принудительный характер объективных антирежимных факторов наиболее ясен. Однако, техническое развитие предъявляет и к области культуры ряд требований, которые несовместимы с диктатурой одной идеологии.

Прежде всего, технический прогресс невозможен без образования. Рядом исследований доказано, что из разных видов капиталовложений наибольший эффект дают не капиталовложения в материальные факторы, а именно капиталовложения в дело народного образования. Мало того, страны, соревнующиеся за превосходство в области хозяйства и техники, вынуждены стремиться к максимальному использованию умственных ресурсов. В древности вполне возможно было постоянное сосуществование потомственной образованной элиты и широких необразованных масс. При таком положении оставалось неиспользованным большое количество потенциально талантливых умов, которым не было представлено возможности раскрыться в системе формального образования. В условиях погони за техническим прогрессом это — совершенно недопустимое расточительство. Каждому потенциальному уму должен быть предоставлен шанс выдвинуться вперед.

Наряду с максимальной мобилизацией умственных ресурсов, которой требует высокоразвитая техника для своего дальнейшего роста, эта же самая техника постепенно избавляет человека от нетворческого труда конвейерного типа, от грубого физического труда, и требует от него вместо этого максимальной самостоятельности решений. Дело в том, что автоматическая линия, которая будет выпускать, скажем, сотни тысяч совершенно одинаковых пылесосов совершенно без участия человеческих рук, сама по себе является отнюдь не рутинной, не мас-

совой, а сугубо индивидуальной конструкторской проблемой. Кроме того, снабжение всех потребителей дешевыми продуктами массового производства для удовлетворения первых необходимых будет сопровождаться повышенными требованиями на дорогие предметы не массово-машинного, а индивидуального, ручного производства. К этой категории индивидуально значимых предметов можно отнести не только художественное ремесло, но и вообще произведения искусства в широком смысле. Потребность высокоразвитой техники в оригинальном мышлении и естественный отбор творческой элиты — это тенденции, которые в корне противостоят тоталитарному стремлению к выравниванию мозгов. Есть, конечно, возражение, что тоталитаризм воспитает узких специалистов, которые будут строить межпланетные корабли, не слыхав никогда о Бетховене, но жизнь опровергает такой пессимистический прогноз. Ограниченность тоже ограничена, и в общей сложности, высокая концентрация интереса в одной области стимулирует хоть немного и смежные интересы. Сомневающиеся могут обратиться к тиражам классической литературы в современной России — самым высоким в мире.

Но, кроме того, сам характер научно-технических знаний взрывает, в значительной мере, партийно-тоталитарные догмы. Ибо универсальность естественно-научного знания очевидна, и тут никак уж не может быть двух истин, — социалистической и буржуазной. Крепость «партийности в науке» была взорвана, прежде всего, на естественнонаучном фронте, потому что за этим взрывом стояла необходимость технического прогресса. Выбор был снова предельно прост: или клеймить позором Эйнштейна, Планка, Гейзенберга, проклинать кибернетику Винера, превозносить халтурщиков стиля Лысенко и... топтаться на месте в области физики, биологии, теории регулирования, или двигаться во всех этих областях вперед, пойдя на компромиссы с учением Маркса. Учением, которое служит единственным оправданием диктаторской власти.

Истины, познанные естественнонаучным путем, и естественнонаучные методы мышления не могут не переноситься, по аналогии, и на общественные науки. Конкретность, акцент на фактах, на надежности и рациональности, свойственных точным наукам, — все это традиция, в которой, ради технического прогресса, партия воспитывает молодежь. Эта традиция не может не находиться в острейшем конфликте с бездоказательными догматами партийной идеологии и с ее напускной, фальшивой романтикой. Кроме того, достигнутая в результате образования компетентность в любом отдельном вопросе, — будь то история, экономика или поэзия, — неизбежно вступает в конфликт с «партийностью» в данной области. Уже одним тем, что оно оригинально, любое подлинно художественное произведение подрывает партийную стереотипность.

Между тем, партия остро нуждается в убедительной пропаганде. Одной макулатурой никого не вдохновишь — нужно мастерство, нужна критика. Уж слишком надоела советскому праздничному заурядному пропагандная жвачка, слишком сильные выработались против нее противоядия. Помимо того, критика нужна, чтобы подстегивать бюрократов, чтобы демонстрировать, что режим как-то решает встающие перед ним задачи. Но чуть только критика приобретает серьезные черты, как партия бьет отбой: «Свободу дискуссии нельзя понимать как свободу проповедовать чуждые марксизму-ленинизму взгляды...»⁶⁾. Сталинское требование правдоверности было вовсе не эзотерическим догматизмом, а весьма реальной политикой силы, основанной на весьма немарксистском прозрении, что еретические идеи ведут к враждебному действию.

В заключение стоит еще упомянуть факт «износа символов», особенно при-

нудительно навязанных символов, который сводит на нет усилия тоталитарной пропаганды. После 40 лет фетишизации труда из школ выходят люди с отвращением к физическому труду. После 40 лет «диктатуры пролетариата» психология молодежи оказывается «барской, интеллигентской». В ответ на культ трудностей следует желание легкой жизни. В ответ на политизацию всех областей жизни — аполитичность. На призыв к жертвенности отвечают требованием обеспеченной жизни. Воспитанные в психологии производителей, молодые люди вступают в жизнь с психологией потребителей. Развитие техники и здесь, бесспорно, сыграло свою роль: в век изобилия неоправданный, принудительный аскетизм — несносен. Повышение же благосостояния не только усиливает позицию каждого отдельного гражданина по отношению к власти, но и притупляет его желание жертвовать всем ради коммунизма. Это приводит нас в область политических факторов, противодействующих максимализации власти.

Максимализация власти и политика

Своеобразный тупик, в который зашла и хозяйственная система, и идеология «построенного социализма», объясняется подчинением этих сфер жизни основной цели тоталитаризма — концентрации контроля, концентрации политической власти. Последняя вызывает к жизни целый ряд сил, которые подрывают ее собственную основу. Режим нуждается в эффективности и компетентности, однако сам же их подрывает произвольным вмешательством во все области жизни, — вмешательством, обусловленным лишь принципом политической верности. Мы видели, как диктатура тормозит производительность, нужную для дальнейшего укрепления диктатуры же. Мы видели, как диктатура мешает возникновению убедительного художественного творчества, нужного для укрепления диктатуры же. Существует объективное противоречие между эффективностью и властью, и это противоречие терзает режим даже в чисто политической сфере.

Максимализация власти неотделима от неравномерного распределения поощрений. Неравномерное же распределение поощрений стимулирует рост наследственного привилегированного класса. Привилегированный класс, во-первых, тормозит технический рост (тем, что тормозит развитие умственных ресурсов непривилегированных классов), а во-вторых, самим своим существованием ограничивает тотальную власть. В этом смысле, формально произвольный террор Сталина или Ивана Грозного, направленный против привилегированного слоя, не был, возможно, лишен inferнальной рациональности.

Но попытка установить последовательно тоталитарную систему, независимую от какой-либо социальной группы, построенную лишь на страхе и слежке, создала ад на земле, на весь ужас которого недвусмысленно намекнул Хрущев в своей «тайной» речи на XX съезде КПСС. Ад тотального контроля привел страну на грань паралича всей административной системы. Безразличие, апатия, косность, формализм, перестраховка, «голое администрирование» — какими только прехами не страдала сталинская бюрократия! Смерть диктатора и распад верховного единства трех контролирующих друг друга пирамид принудительной власти (госаппарат, партия, МВД) поставили на повестку дня вопрос мобилизации добровольных мотивов.

В попытке мобилизовать на защиту власти искренние мотивы людей — основной смысл послесталинских реформ. За этой попыткой — и необходимость

ускорить темпы соревнования с Западом, и необходимость дать правящему слою гарантии против повторения кровавых чисток, и необходимость компенсировать ослабление террора усилением поощрений. Распуск концлагерей, либерализация законодательства, усиление роли союзных республик, местных советов, профсоюзных месткомов — пути различны, но итог один: рассредоточение диктаторской власти. Оно, как указывали многие зарубежные журналисты, особенно четко видно на верхах режима: сначала единоличник диктатор, потом триумвират, потом президиум ЦК и «коллективное руководство», потом уже пленум ЦК, и, наконец, обращение Хрущева ко всему народу, в стиле западных избирательных кампаний: «всенародное обсуждение» важных вопросов, «отчет партии перед народом» в декабре 1958 г. Несмотря на всю «организованность» последних двух кампаний, сама их «организация» указывает на зависимость режима от увеличивающегося числа факторов. То есть, на постепенное лишение режима тотальной полноты власти.

Подрывают тотальную власть и объективные факторы внешней политики. В интересах укрепления диктатуры — изоляция страны от внешнего мира, искусственное создание «вражеского окружения», которым очень удобно оправдывать диктатуру, поощрение международного коммунистического движения ленинского толка. Между тем, изоляция страны закрывает путь к международной сокровищнице знаний, необходимой для технического прогресса. Шпионаж как единственный источник связи с окружающим миром — явно недостаточен. Создание внешних врагов обрекает народное хозяйство страны на автаркию и этим наносит ему серьезный ущерб. Содержание под ружьем четырехмиллионной армии, когда в стране от недостатка рабочих рук детей гонят на производство, — крайне нерационально. Когда перед наследниками Сталина встал вопрос: стремиться ли по-прежнему к максимализации власти или пожертвовать ею во имя интересов государства, то они поступились интересами власти. Причем сделали они это не потому, что они хорошие, или потому, что им так захотелось, а потому, что по совместительству с руководством тоталитарной партии они возглавляют государство, существовавшее тысячу лет до них и связанное с окружающим миром и с современной эпохой тысячами логических и силовых взаимоотношений, изменять которые по своей прихоти людям не дано.

«Мирное сосуществование» с ранее вражеским окружением в области политической и хозяйственной делает идеологическую борьбу против внешнего мира нелогичной, в особенности, когда сами вожди коммунизма признают, что капитализм неплохо решает свои проблемы и в обозримом будущем рушиться не будет. Развитие военно-хозяйственной мощи страны, запуск спутников и космических ракет снимает, в значительной мере, тормозящий революцию комплекс неполноценности в народе. Если мы не хуже Запада, если у нас все есть, то почему же все-таки у нас такая жизнь? Не относящиеся к делу факторы отступают в сторону, и режимы можно сравнивать в их чистом виде. Тем более, что такому сравнению способствует туризм и прочие новые формы связи с заграницей. Если же удастся частичное разоружение, нужное режиму, опять-таки, с хозяйственной точки зрения, и произойдет разъединение военных сил в Европе, с народной психологией будет снята невероятная тяжесть военной угрозы. Угрозы, которая заставляет людей держаться за режим ради верности своей стране. Попытка построить отношения с другими странами «социалистического лагеря» на принципах добровольности освобождает национально центробежные силы

Замена тоталитарного монолита системой множественной власти, построенной на согласовании, а не на подчинении, создает уйму трений и трещин. Допущение же (хоть ненадолго) множественности путей к социализму сразу превращает страны-спутники в лаборатории ревизионизма и революции. Этот наглядный опыт колоссально ускоряет освободительный процесс, тем более, что расхождение во мнениях внутри партии уже не считается государственной изменой. В результате, коммунистический режим сегодня, как никогда, подобен витязю на распутьи: поедешь налево — коня потеряешь, поедешь направо — голову снимут. В решении этого предрешенного вопроса — основная суть спора между «догматиками» и «умеренными ревизионистами» в СССР сегодня.



Суммируя, можно сказать, что почти во всех областях своей деятельности режим партийной диктатуры вступает в конфликт с силами, необходимыми для дальнейшего развития государства, но в корне несовместимыми со стремлением удержатъ монополию хозяйственной, идеологической и политической власти. Возможно, наиболее заметной и динамичной из этих сил является технический прогресс, влиянию которого и было уделено столько внимания в настоящей статье. Раньше, говоря о развитии техники, принято было чертить на стене страшилище той абсолютной диктатуры, которую техника сделает якобы необходимой и возможной. Но бесчеловечность конвейерного труда, которой так боялись наши романтики, оказалась всего лишь детской болезнью индустриализации. Есть основания полагать, что таковой окажется и тоталитаризм. Диктатуры могли и, возможно, должны были строить пирамиды Египта, оросительные каналы древней Месопотамии, доменные печи первой пятилетки. Возможно, в Китае еще на полстолетия сохранится диктатура. Но в условиях высокоорганизованной материальной среды человека диктатуры начинают задыхаться. Задыхаться потому, что сама эта высокая организованность среды есть категория духовная, а не материальная. В сложноорганизованной среде структурно человеку, конечно, теснее. Ему запрещено стрелять уток в заповедниках или переходить улицу при красном свете. Но индивидуально и духовно технизированная среда дает человеку небывалую свободу выбора.

Пользуясь марксистским приемом, мы можем сказать, что существующая сейчас в СССР система общественных отношений тормозит развитие производительных сил страны. То есть, назрела неотложная потребность радикальной ломки режима. Тот факт, что марксистский анализ, на котором ранее базировалась идеология диктатуры, сегодня в значительной мере оборачивается против нее — лишний раз показывает банкротство отжившей системы.

Бесспорно, характер перечисленных выше объективных факторов революции не таков, чтобы обещать скорое и внезапное крушение системы. Но это — фон и перспектива, без которых невозможно рассматривать будущее России. В этой перспективе видны и элементы заложенного в необходимостях сегодняшнего дня будущего общественного идеала. Какими путями Россия к нему будет двигаться и в какие сроки — путем ли «эво-революции», сохраняя символы нынешнего режима, но изменяя их содержание, путем ли ступенчатого сноса диктатуры, или путем внезапного радикально-революционного катаклизма — решение этих вопросов уже относится к области революционной стратегии и тактики и естественно выходит за рамки настоящей статьи.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹⁾ Р. Н. Редлих, «Смысл существования большевизма», «Посев» № 166, 31 июля 1949 года.

²⁾ См., например: Hannah Arendt, „Origins of Totalitarianism“ (Harcourt, Brace, 1951); Karl A. Wittfogel, „Oriental Despotism“ (Yale University Press, 1956); Carl J. Friedrich, Zbiginiew K. Brzezinski, „Totalitarian dictatorship and autocracy“ (Harvard Univ. Press, 1956); Barrington Moore, „Soviet Politics, the dilemma of power“ (Harvard University Press, 1951).

³⁾ Merle Fainsod, „How Russia is ruled“ (Harvard University Press, 1954).

⁴⁾ А. Курский, «Вопросы совершенствования планирования в СССР», «Вопросы экономики», № 9, 1958.

⁵⁾ З. Чуханов, «Об эффективности развития подмосковного угольного бассейна», см. также «Всесоюзная научно-техническая конференция по проблемам оп-ределения экономической эффективности капитальных вложений и новой тех-ники в народном хозяйстве СССР», там же.

⁶⁾ «Коммунистическая партия побеждала и побеждает верностью ленинизму». «Правда», 5 апреля 1956.

БИБЛИОГРАФИЯ

Банкротство

(О книге Милована Джиласа «Новый класс»)

«Коммунистические режимы являются формой скрытой гражданской войны между правительством и народом». Уже эта одна фраза свидетельствует о том, что Джилас со всей честностью и до конца уяснил себе существо коммунистической системы. Такие четкие формулировки, выведенные из подлинно-диалектического анализа разных сторон коммунистической практики (отчасти и теории), рассыпаны по всей книге. Они, как и вся книга, чрезвычайно убедительны именно своей обоснованностью и глубоким всесторонним анализом. Но особое значение придает книге то обстоятельство, что составлена она одним из основных, в недавнем прошлом, теоретиков мирового коммунистического движения, получившим в то же время широкую известность своей боевой и государственной деятельностью в период борьбы за коммунизацию Югославии.

Основные этапы жизни и деятельности Джиласа, вкратце, таковы. Сын крестьянина, родился в 1911 г. в Калашине (Черногория). В двадцатилетнем возрасте возглавил наиболее радикально настроенную часть югославского студенчества. В 1932

году вступил в КПЮ. В 1933 г. арестован за участие в студенческой демонстрации и приговорен к трем годам тюрьмы. По освобождении, в 1936 г., перешел на нелегальное положение и работал главным образом в Белграде. В 1937 г. впервые встретился, в Загребе, с Тито, и по поручению последнего отправлял в Испанию сербских добровольцев. На V партконференции, в октябре 1940 г. (Загреб), избран в Политбюро КПЮ. В июне 1941 г., как и все члены Политбюро, назначен в Главную ставку национально-освободительного движения. В партизанской войне против оккупантов прославился как народный герой. В этот период особенно близко сдружился с Тито и в дальнейшем был его ближайшим сотрудником по партийной и государственной работе. В марте 1944 г. Джилас получил чин генерал-лейтенанта и в апреле того же года впервые выехал в Москву с военной миссией. (После он еще два раза был в Москве: в апреле 1945 г., с Тито, и в январе 1948 г. — с делегацией КПЮ; эта поездка оформила разрыв титовской КПЮ с КПСС). С момента создания Временного правительства Югославии, в марте 1944 г., Джилас входил до января 1953 г. во все составы правительства. Во все эти годы он был также членом Политбюро, Оргбюро и Секретариата КПЮ. Посетил за это же время все страны «народной демократии», представлял КПЮ и Югославию на различных международных съездах. В декабре 1953 г.

Milovan Djilas. The New Class. An Analysis of the Communist System. Published by Frederick A. Praeger, New York, August 1957. Pp. VIII + 2 + 214.

Русское издание:

Милован Джилас. Новый класс. Анализ коммунистической системы. Нью-Йорк, 1958, то же изд-во.

избран председателем Народной Скупщины ФРЮ.

Начиная с октября 1953 г., Джилас опубликовал в центральном органе КПЮ, газете «Борба», серию статей, содержащих нападки на бюрократизм в партии и требования изменений в партийной практике. 6 января 1954 г. поместил в «Новой мысли» статью «Анатомия морали», критикующую кастовость правящей клики. За эту статью пленум ЦК СКЮ 16—17 января 1954 г. объявил ему строгий выговор.

В конце января 1954 г. Джилас отказался от председательствования в Скупщине, в апреле возвратил свой партийный билет, и в конце того же года был удален со всех постов.

В январе 1955 г. Джилас впервые предстал перед коммунистическим судом: Белградский окружной суд приговорил его условно к полугоду тюрьмы за «клеветнические сообщения» иностранным корреспондентам.

Многое продумал и привнес в систему Джилас, когда смог наблюдать плоды дела и своих рук, оказавшись вне партии. События 1956 г. в Польше и Венгрии подвели черту. Его статьи «Коммунизм в кризисе» были распространены с 28 сентября по 1 ноября 1956 г. американским агентством „International News Service“. За статью о венгерской революции в журнале „New Leader“ (конечный вывод статьи: «Рана, которую венгерская революция нанесла коммунизму, никогда не заживет». «Венгерская революция обозначает начало конца коммунизма»), Джилас был предан суду по статье 18 Уголовного Кодекса («антинародная и антигосударственная пропаганда»), приговорен 19 ноября к трем годам заключения. Из тюрьмы в Митровице, в декабре 1956 г., он сумел направить в США, с одним из друзей, рукопись разбираемой здесь книги. Наказ Джиласа издателю Преджеру был при этом: «Опубликовать не теряя времени и не считаясь с моей судьбой». Книга вышла из печати 12 августа 1957 г. (задержка вызвана тем обстоятельством, что рукопись была на сербском языке, и перевод на английский потребовал времени).

Советская печать сразу откликнулась на появление книги Джиласа: молчать о ней было нельзя, так как радиостанции

свободного мира дали на многих языках (в том числе и на русском) рецензии на книгу, частично даже, в сериях передач, изложили основные положения Джиласа. Советская печать прибегла при этом к своему излюбленному приему: сообщение о книге было дано в «Правде» от 20 августа 1957 г. не от своего имени, а в виде выдержки из газеты «Коммунист» (орган Союза коммунистов Югославии). Советский читатель узнал немного: «Кто такой Джилас? — Джилас — лишь один из ренегатов, каких было много и какие неминуемо имеются в рабочем движении... Джилас остается тем, чем он есть на самом деле: капитулянтом, предавшим свой народ...»

В конце 1957 г. новый суд приговорил Джиласа за опубликование книги «Новый класс» к 7 годам строгого тюремного заключения.

Стоит привести слова Джиласа об эволюции его убеждений, помещенные в предисловии к книге: «За мою взрослую жизнь я прошел весь путь, доступный коммунисту: от нижней ступени до вершины иерархической лестницы, от местного и национального форума до международного, от формирования коммунистической партии и организации революции до установления так называемого социалистического общества. Никто не заставлял меня принимать или отвергать коммунизм. Я делал свои собственные заключения согласно своим убеждениям свободно, поскольку человек может быть свободным. Если даже я был разочарован, я не принадлежал к тем, чье разочарование принимает резкие и крайние формы. Я анализировал себя последовательно и сознательно, создавая картину и выводы, изложенные в этой книге. Отходя всё больше от реальности современного коммунизма, я подошел вплотную к идее демократического социализма... Я боролся в прошлом и борюсь теперь за лучший мир».

Сама личность Джиласа, все высказывания его в последние годы и рассматриваемая книга в особенности свидетельствуют о безусловной его честности.

Остановимся на некоторых его положениях.

Основные выводы автора об итогах коммунистических переворотов, например, следующие: «Никакая другая рево-

люция не обещала так много и выполнила так мало». «В противоположность прежним революциям, коммунистическая революция, проведенная во имя упразднения классов, привела к наиболее полному властвованию одного единственного нового класса. Все прочее (в коммунистической революции) есть обман и иллюзия».

Главу, посвященную «Новому классу», Джилас начинает с таких утверждений: «Всё в Советском Союзе и других коммунистических странах произошло иначе, чем предвидели вожди, даже такие выдающиеся, как Ленин, Сталин, Троцкий и Бухарин. Они предполагали быстрое отмирание государства и усиление демократии. Произошло обратное. Они предвидели быстрое повышение жизненного стандарта — этих перемен почти не произошло, а в унылых восточно-европейских странах стандарт даже снизился. Во всяком случае, уровень жизни не был пропорционален степени индустриализации, которая росла быстро. Предполагалось, что разрыв между городом и деревней, между интеллектуальным и физическим трудом будет постепенно исчезать; вместо этого разрыв увеличился. Коммунистические предвидения в других областях, включая их предположения о развитии в некоммунистическом мире, также не осуществились».

«Основа нового класса создалась в особой партии большевистского типа. Ленин был прав, рассматривая эту партию как исключительное явление в истории человеческого мира, хотя он и не предполагал, что эта партия явится началом нового класса». Зарождение основной группы нового правящего класса Джилас видит не во всей партии, а в ее сердцевине — прослойке так называемых профессиональных революционеров. Эта прослойка продолжала далее обрывать новыми элементами, способными понять и применить на деле требования руководства партии. Поэтому партия в целом и новый класс — не одно и то же. «Партия создает класс, и этот класс растет, используя партию как базу». Джилас приводит слова из речи Сталина, посвященной итогам первой пятилетки: «Если бы мы не создали аппарата, мы провалились бы», — и указывает, что если слово «аппарат» заме-

нить определением «новый класс», всё придет в ясность.

Анализируя коммунистическую систему, Джилас полагает, что в общем правильно мнение о власти над народом бюрократии, организованной в особую прослойку. Но более детальный анализ показывает, что лишь определенный замкнутый слой бюрократов, не несущих административных функций, составляет основу правящей бюрократии, или по терминологии Джиласа, «новый класс»; это — партийная или бюрократическая бюрократия. Все остальные составляют лишь аппарат, работающий под контролем нового класса.

Частная собственность, по многим соображениям, препятствовала становлению власти нового класса. Поэтому разрушение частной собственности явилось необходимой предпосылкой для экономической перестройки нации. «Новый класс получает свою власть, привилегии, идеологию и навыки из специфической формы собственности — коллективной собственности, которой новый класс распоряжается и управляет от имени нации или общества». «Лишение коммунистов прав на распоряжение материальными ценностями будет означать их упразднение как класса. Заставить их отказаться от других их прерогатив в общественной жизни... будет означать для коммунистов потерю монопольного распоряжения национальной собственностью, идеологией и управлением. Это будет началом демократии и свободы в коммунизме, концом коммунистического монополизма и тоталитаризма. Пока этого не будет, в коммунистических системах не произойдет никаких существенных, коренных изменений...»

«Действительным и прямым создателем нового класса был Сталин... Он создавал новый класс самыми варварскими способами, не щадя даже представителей самого этого класса... Он был истинным руководителем этого класса до тех пор, пока класс не стал способен отстраивать сам себя и не освоил власти». Джилас справедливо указывает, что становление нового класса встретило сильное сопротивление в самой партии, именно со стороны подлинно революционного ее крыла. Как наиболее яркий пример такого сопротивле-

ния, Джилас приводит борьбу Троцкого со Сталиным. Но революционное крыло партии едва пережило революционную (ленинскую) эпоху. На смену ей пришла диктаторская сталинская эпоха догматического коммунизма. И, наконец, «после Ленина и Сталина пришло то, что должно было прийти: посредственность, в форме коллективного руководства». Джилас определяет современную эпоху как период «недогматического коммунизма». Новому классу не нужны уже ни революция, ни догмы коммунизма, «он хочет спокойно жить», и он оберегает сам себя от всяких потрясений. «Героическая эпоха коммунизма прошла. Кончилась и эпоха его великих вождей. Началась эпоха людей практики. Новый класс создан. Он находится в зените своей власти и силы, но он не имеет никаких новых идей. Нечего больше сказать народу. Остается лишь самооправдание». «Больше чем что-либо другое, суть современного коммунизма составляет новый класс собственников и эксплуататоров».

Джилас заканчивает главу о новом классе разбором периода индустриализации, которую он считает «одним из величайших успехов». Но он утверждает также, что методы осуществления индустриализации «составляли одну из самых позорных страниц в истории человечества». Поэтому, «когда новый класс сойдет с исторической сцены, — а это должно произойти, — о нем будут сожалеть меньше, чем о каком-либо другом классе до него... Он обрек себя сам на падение и постыдный крах».

*

«Замалчивание и фальсификация не только допускаются, но стали общим явлением» — это положение мы выделяем в главе о духовной тирании в коммунистических режимах. Рассуждения Джиласа о коммунистическом мировоззрении и его истоках любопытны и могли бы составить предмет особого разбора; подобно многим, Джилас приходит к вопросу: «Нет ли оснований сравнивать современный коммунизм с религиозной сектой?» Подробно останавливается Джилас на «социалистическом реализме», который «царствует во всех коммунистических государствах». (Впрочем, в отноше-

нии Югославии делается оговорка: там «эта теория провалилась, и поддерживается теперь лишь самыми реакционными догматиками»). Хотя и нет ясно сформулированной теории социалистического реализма, последний используется коммунистическими режимами как средство идеологической монополии в искусстве. «Преследования, запреты, навязывание форм и идей; унижения и оскорбления; командование доктринеров, полу-литературных бюрократов над талантами; всё это преподносится от имени народа и для народа. Коммунистический «соцреализм» неразличим даже по терминологии от гитлеровского национал-социализма». Джилас приводит сопоставление высказываний ряда советских и нацистских идеологов и вождей по вопросам искусства, заимствуя эти сопоставления у югославского автора Эрвина Синко; сходство поразительное. И Джилас заключает: «Деспотические режимы, даже если они себя противопоставляют друг другу, оправдывают себя одинаковым образом; они не могут даже не применять одинаковых выражений».

Как следствие внутреннего сопротивления многих представителей интеллигенции — «самоубийство, безысходность и хулиганство, утрата внутренней силы и цельности, поскольку человек вынужден лгать перед самим собой и перед другими, — всё это самые обычные явления в коммунистической системе...» «Духовная тирания является наиболее полной и жестокой формой тирании; ею начинается и кончается любой другой вид тирании». Джилас кончает эту главу утверждением, что история может простить коммунизму многие его преступления, так как они были вызваны необходимостью борьбы (мы с этим «прощением» Джиласа решительно не согласны. — И. С.), «но удушение всех противоположных убеждений, исключительная монополия коммунистов над мышлением, в целях защиты их личных интересов, притвораживает коммунистов в истории к позорному кресту».

В главе о целях и средствах Джилас приходит к заключению, что «коммунисты оправдывают тиранию, беспринципность и преступления». «Коммунисты говорят о «коммунистической морали», о «новом социалистическом человеке» и

прочих подобных понятиях, представляя их как высшие этические категории. Эти туманные понятия нужны для единственной практической цели — цементированию коммунистических рядов и противопоставлению их посторонним влияниям». «Это не абсолютные принципы, но меняющиеся моральные нормы. Они закреплены в иерархии коммунистической системы, в которой почти всё решается верхушке — высшему круту, тогда как то же самое осуждается, если оно будет совершено на нижестоящих ступенях, в низших крутах». Такое положение вещей сложилось постепенно, и «конечным результатом этого процесса явилось создание особых кодексов моральных норм для различных слоев. Формирование такой кастовой морали в общем происходит совместно со становлением нового класса и с одновременным отходом от общечеловеческих, подлинно этических норм». Развитие этого процесса сопровождается моральными кризисами коммунизма; Джилас приводит эти кризисы, из которых последним по времени он называет десталинизацию. Но кризисы используются коммунистами для постоянного очищения и укрепления рядов нового класса. На XX съезде «Хрущев осудил не сталинские методы как таковые, но лишь их применение к правящему классу».

Общий итог своим оценкам коммунизма Джилас подводит в главе о сущности коммунистической системы. Он дает следующее определение: «Современный коммунизм является типом тоталитаризма, покоящимся на трех основных факторах владычества над народом. Первый фактор — власть; второй — собственность; третий — идеология. Всё это монополизировано одной единственной политической партией, или, согласно моим предыдущим разъяснениям и терминологии, — новым классом; в данное же время — олигархией этой партии или этого класса. Ни одна тоталитарная система, ни в истории, ни в наши дни, за исключением коммунизма, не смогла воплотить одновременно и до такой полноты все эти факторы владения над народом». Полнота власти, по справедливому утверждению Джиласа, является основным моментом, характеризующим коммунистическую систему. Это

есть «власть особого типа, управляющая идеями, государством и собственно — стью...»

Советский коммунизм, по Джиласу, прошел в своем развитии три фазы. Эти фазы свойственны и другим коммунистическим системам, за исключением Китая, находящегося до сих пор, в основном, во второй фазе. «Эти фазы — революционный, догматический и не-догматический коммунизм. Грубо говоря, основные лозунги, цели и личности, соответствующие этим фазам, таковы: революция или захват власти — Ленин; «социализм» или отстройка системы — Сталин; «легальность» или стабилизация системы — «коллективное руководство». Важно отметить, что фазы эти не различимы отчетливо одна от другой, так как элементы каждой из них содержатся и в других фазах. Догматизм уже процветал, и «строительство социализма» началось уже в ленинский период; Сталин не отвергал революции и не отбрасывал догм, которые противоречили строительству режима. Сегодня, ставший недогматическим, коммунизм является таковым лишь условно: он не поступит даже малейшими практическими выподами во имя догм».

Джилас оговаривается, что его фазы — лишь приблизительная схема. В разных странах периоды и условия строительства коммунистического режима могут уклоняться от схемы. «Так, Югославия прошла все три фазы за сравнительно короткое время и с теми же самими руководителями в возглавлении».

В противоположность всем основным главам книги, раздел, посвященный так называемому национальному коммунизму, содержит ряд путаных утверждений, что привело Джиласа к неверным выводам.

Например, вывод Джиласа, что советский империализм является продолжением царского русского империализма, является в корне неверным. Едва ли можно говорить о стремлении царской России обеспечить свободу судоплавания из Черного моря и национальную независимость славянских стран как об империализме. Такого империализма не существовало. Коммунистический же империализм представляет собой совершенно новое в истории явление и дейст-

вительную угрозу всему свободному миру. Неважно, где находится или мог бы находиться его центр — в Москве, Пекине, Берлине или Париже; суть коммунистической экспансии останется той же самой, и любое руководство мировым коммунизмом будет стремиться сохранить единство движения. «Национальный коммунизм», по нашему мнению, является лишь тактическим шагом, временно успокаивающим недовольство в народе и среди националистических элементов в данной компартии; национальные интересы, в нужный момент, будут пожертвованы Гомулкой, Мао или Тито во имя интернациональных целей коммунизма. В этом мы полностью не согласны с Джиласом.

Но мы согласны с оценкой Джиласом «национального коммунизма» как абсурда. Согласны и с тем, что возникновение этой тенденции внесло разлад в коммунистический мир и задержало темпы его экспансии. Все же Джилас преувеличивает значение «национального коммунизма», который нам представляется временным явлением.

Отмечает Джилас, вполне справедливо, и «кризис самосознания» в неправящих компартиях (Франции, Италии и др.). Он полагает, что в решающие моменты они переживут большие ломки. Действительно, такой кризис эти партии пережили после речи Хрущева на XX съезде КПСС, затем после Познани, после подавления Венгерской революции. Компартии потеряли значительное число своих членов и еще больше попутчиков. Но партаппарат сохранился в целости,

оперативность его не утеряна, возможности нового роста численности кадров сохраняются.

Приведем, наконец, еще один, последний абзац книги Джиласа, завершающий главу о сегодняшнем мире и отражающий надежды как Джиласа, так и всех свободолюбивых людей: «Во всяком случае, мир будет изменяться и идти в том направлении, которым он шел и должен был идти — к большему единству, прогрессу и свободе. Действительность и жизнь сильнее любой прубой силы и реальнее любой теории».

*

Джилас избрал особый путь: сделав всё для разоблачения идеи коммунизма и его режима, он не покинул свою страну. Но субъективно он, в то же время, не стал революционером. Он остался еще во многом марксистом, пытаясь частично оправдать то, в чем сам соучаствовал.

Объективно же Джилас стал фактором революционной борьбы против коммунизма. Он — в тюрьме. И его ореол страдальца за свои убеждения, его мужество в борьбе и честность привлекают к нему симпатии по обе стороны Железного занавеса.

Вероятно, не нас одних интересует вопрос, сознает ли он свое положение и сделает ли он, с присущей ему до сих пор последовательностью и принципиальностью следующий и последний шаг — в стан антикоммунистической революционности...

Ив. Сергеев

«Миссия»

В небольшой деревне, расположенной где-то между Туром и Бордо, находится монастырь с братией из тринадцати человек. Один из монахов — отец Георгий Мунье — однажды заметил, как служи-

тель готовился написать на крыше монастыря большими белыми буквами слово «Миссия» — дело было в 1940 году, и французы ожидали бомбардировку наступающих немецких частей. Эти несколько букв вызвали глубокий нравственный конфликт среди братии и послужили темой роману португальского писателя Феррейро де Кастро.

В деревушке было построено два одно-

Ferreiro de Castro. *La Mission*, traduit du portugais par Louise Delapierre et Renée Gahisto; Editions Bernard Grasset; Paris, 1957.

типных здания. Одно из них — это уже упомянутый монастырь, а другое должно было служить приютом монашек, но по каким-то причинам было занято фабрикой. Фабрика же эта была единственным возможным объектом вражеского налета. Написать слово «Миссия» — это законное право монастырей, оговоренное соответствующими конвенциями. Но написать его значит подвергнуть опасности фабрику, несколько сот рабочих, их семьи, живущие рядом в поселке... Однако фабрика предприняла маскировочные меры, ее не увидят с воздуха вражеские самолеты, но горе монастырю, нецелесообразному, без защитных белых букв...

Такова диалектическая цепь доводов и контрдоводов, нарушивших привычное спокойствие монастыря, ядом сомнений и антагонизмом разлившихся по сердцам.

Отец Георгий Мунье ставит вопрос о белых буквах перед настоятелем. Последний сначала удивляется, не понимает, потом протестует, наконец, всё глубже вникает в вопрос, в глубину его нравственной ответственности и не решается дать ответ — надо посоветоваться с братьями.

За каменным столом, под распятием из слоновой кости на черном дереве, сидят тринадцать черных людей. Они заняты самым главным, что может быть в человеческой жизни — решением. Плетется кружево доводов: трусость, лицемерие, здравый смысл, чувство ответственности за жизни людей и за пастырское служение, жажда жертвы и стремление к презвенности, разное понимание нравственного долга и задач церкви...

«Мы не имеем права на самоубийство»... «Мы призваны страдать за других»... «Наша задача в спасении душ, а не жизней!» «Да будет воля Божья»...

Большинство — за буквы, а не за отца Георгия. Но игумен встает в проблему, опускается в нее, как на дно колодца, и чем больше он в нее углубляется, тем дальше уплывает от нею ясности решения. Он его откладывает, говорит, что запросит руководителя ордена.

Всё тревожнее кругом, всё глубже проникают немецкие части в страну. Монахи сидят у радио, следят за событиями. Настоятель гуляет, всё чаще заходит далеко, туда, где фабрика, ласкает детей и мучительно думает, а ответа всё нет.

Однажды налетают самолеты. Гул моторов, блеск металлических тел... улетели. Один монах убежал, не выдержав напряжения, что-то придумав про большую мать.

Наконец пришло письмо. Казенные слова о том, что орден ценит духовную щепетильность братии, но не видит, почему бы следовало отступать от конвенции, пользующейся всеобщим признанием... Но письмо кладется в стол. Кто может исчерпать глубину решения?

Уже сформировано правительство Петэна, уже де Голль заявил из Лондона, что проиграно сражение, но не война, уже взят Париж, и немецкие войска где-то совсем близко от монастыря. Братия настаивает на том, чтобы собраться и наконец решить вопрос.

В полной тишине, еще больше сгорбившись, чем обычно, настоятель говорит: «Хорошо... я вызову маляра».

Отец Георгий стучит в келью настоятеля и сообщает, что покидает монастырь, покидает орден, что будет искать иного применения своим силам...

Затем приходит немецкий офицер, осматривает монастырь, реквизирует для своих солдат свободные кельи и, прощаясь, сухо бросает: «Пока же напишите на крыше слово «Миссия», ибо англичане будут несомненно бомбардировать Францию».

Такова тема Феррейро де Кастро. Он развивает ее очень тонко, проникая в самую глубину сознания людей, оттеняя глубинность переживания внешними деталями. Было бы неправильно воспринимать эту книгу в качестве апологии церкви или востания против нее. Благодарить церковь сосредоточена в распятии, в каком-то непередаваемом воздухе Богочеловечества, но люди в повести очень оголены, и в одиночестве богооставленности они принимают решение плоти и духа, страха и совести, и каждый несет свой крест.

В. Арсеньев

«Советский человек»

Доктор Менерт является перво-классным знатоком России, он прожил в ней немалое время — до революции и после нее. Он имел возможность посетить самые отдаленные уголки страны и лично видеть то, что подавляющее большинство советских людей никогда не увидит. Автор — друг России: на первой странице стоит посвящение его матери, «которая, будучи немкой, научила его русскому языку и научила любить всё русское». Отец Менерта, живший многие годы в России, при приближении Первой мировой войны, поспешил к себе на родину, чтобы выполнить свой долг в рамках полка, где он отбывал когда-то воинскую повинность. Он подал просьбу о том, чтобы его не заставляли бороться против русских и был направлен на западный фронт, где и погиб во Фландрии в качестве немецкого офицера.

Автор старается разобраться в чертах народа как постоянных, так и привитых советской властью. Он подчеркивает, что при этом можно обогатиться общим впечатлением, но следует избегать слишком точных и условных классификаций. Тем более надо отказаться от понятий типа «рабский дух народа», «азиатская психология» и т. д. — это лишь затуманивает картину. Подобные термины говорят только о том, как ужасающе мало знают люди и о дореволюционной России и о СССР.

Автор безукоризненно владеет русским языком и в годы пребывания в СССР иногда даже сходил за местного. Это сильно облегчало для него проникновение в среду советских людей, но, тем не менее, как отмечает сам д-р Менерт, проникновение всегда затруднительно, и гораздо труднее оно в отношении простых людей, чем высшего слоя. Оно стало легче после смерти Сталина. С 1955 года пошли облегчения, зато с 1957 года снова начал чувствоваться зажим.

Автор был в Советском Союзе более или менее долго 12 раз с 1929 по 1957 г. Перед читателем проходят картины не только знакомой нам советской совре-

менности, но и давно закрывшиеся страницы истории. В частности, во весь рост встает такое явление, как беспризорщина и борьба с ней — борьба в значительной степени ведшаяся при помощи самого жестокого в мире уголовного кодекса и нередко приводившая просто к истреблению «дефективного элемента».

Автор относится с симпатией к русскому человеку, но отмечает, что наряду с сердечными и добрыми людьми самых различных оттенков, встречаются и такие, общество которых неприятно даже для иностранца, ничем особенным не рискующего. К числу подобных людей следует причислить и основную массу советских прагматических лиц в советской зоне Германии. Благодаря этому, восточные немцы не имеют почти никаких шансов получить правильное представление о природе русского человека.

Автор указывает, что он преимущественно говорит о великороссах, хотя хорошо знает и другие народности. Великороссы — это тот стержень, вокруг которого создалась великая империя и который дал ей культуру, это — душа страны. Ненависть отдельных народов России к великороссам имеет место, и она имеет также свое объяснение, однако, ни то, ни другое не меняет основных проблем.

Менерт считает, что совершенно вне сомнения — разрыв между правительством и обществом. Налицо отталкивание общества от политики правительства, известный цинизм в отношении ко всему «государственному», явление «внутренней эмиграции». Люди часто ищут свое место в профессии, технике, науке, стараются уйти от мира коммунистических идеалов. Во всяком случае, если русский человек и изменился под влиянием коммунизма, то он очень далек от того образца, в который его старалась превратить советская власть. В этом она потерпела поражение.

Автор очень тепло отзываясь о русской женщине, считает, что она по своим душевным качествам стоит, в среднем, выше мужчины и была причиной того, что первый же натиск большевиков на душу человека был отбит.

Klaus Mehnert. Der Sowjetmensch.
Deutsche Verlagsanstalt. Stuttgart, 1958.

Автор сам является ярким антибольшевиком: бесконечные наблюдения его только всё больше убеждали в аморальной сущности режима. Однако, он скорее пессимистически смотрит на возможность революции — этому много причин, не только аппарат принуждения: определенную роль в этом играет инерция, привычка, незнание ничего другого, надежда, что и при советском строе может быть лучше, а также — отсутствие в СССР революционной организующей идеи.

Автор — друг России, но его руссофильство всё время сохраняет чувство

меры и кажется читателю естественным. Автор нигде не старается оперировать фальшивыми терминами, вроде: «добрый русский мужичок», «свет правды взойдет на востоке», «храм является идеей русского человека» и т. д. Для него русский человек — друг, который остается другом со всеми своими недостатками, и который не нуждается ни в мракобесных, ни в слащавых похвалах.

Этот труд является очень важным вкладом в дело изучения России и интересен даже для русских, знающих свою страну.

Л. З.

Ядерное оружие и внешняя политика

Под таким названием в 1957 году вышло первое издание книги известного эксперта по внешней политике и стратегии — Генри Киссингера. В 1958 году вышло популярное издание этого труда, а затем последовали переводы на некоторые другие языки (в частности, имеется немецкий перевод).

Киссингер принадлежит к числу наиболее крупных и глубоких знатоков стратегии и внешней политики в США. Он участвует во всех крупнейших начинаниях этого рода. Так, в числе прочего, он является профессором Харвардского университета, руководителем (при университете) международного семинара, советником по вопросам оперативного искусства и проблем вооружения при командовании вооруженных сил, одним из руководителей контрразведки и т. д. Киссингер имеет практически доступ ко всей массе документации, которая сосредоточена в руках ведущих ведомств США — в частности, ко всему, что там известно и о советских усилиях в области атомного вооружения.

Книга Киссингера написана простым языком, автор не любит малопонятных

слов и сложные предложения. Коротко и четко изложены все основные проблемы современной войны, которые вполне понятны и тому, кто до этого никакого отношения к военным вопросам не имел.

Автор начинает свой труд с напоминания старой избитой истины, часто забываемой людьми, в частности, современными американцами. Дело в том, что война далеко не всегда решается перевесом техники. Надо еще уметь технику применять — это относится к области тактики. Но, кроме того, надо иметь общую концепцию войны, т. е. военную доктрину на уровне высшей стратегии. Иначе говоря, готовясь к большой войне, правительство должно учесть всю совокупность факторов: технических, экономических, политических, психологических и т. д. Имея до предела ясное понимание реальности, правительство должно наметить применение данных стратегии к характеру предстоящей войны, т. е. выработать то, что на специальном языке называется военной доктриной. Между тем, как обстоит дело в США? В США военной доктрины вообще нет, нет ясного понимания обстановки, а только совокупность произвольных суждений и предрассудков. Так, в США — все от правительства и до последнего человека сходится на том, что США будут воевать только в том случае, если Советский Союз нападет на них. А что если, спрашивает автор, СССР не нападет на США

Henry Kissinger. Nuclear weapons and foreign policy, 1957, Ed. Harper. Он же — 1958, Doubleday Anchor Book. Немецкое издание: **Henry Kissinger, Kernwaffen und auswärtige Politik.** Verl. R. Oldenburg, München.

или их вооруженные силы? Что тогда? После Второй мировой войны мир коммунизма имел совершенно небывалые в истории и головокружительные успехи, сотни миллионов людей в Европе и Азии были захвачены коммунизмом, как правило, против воли этих людей. Причем, случилось это не только в 1945 году, а также и позже, когда СССР уже и не был союзником США и других бывших врагов Германии. США спокойно смотрели, как коммунизм шел от наступления к наступлению (а свободный мир от одного поражения к другому). США возложили все надежды на свой запас атомных бомб — но, может быть, этот запас никогда не получит применения, ибо свои систематические и яркие победы коммунизм одерживает без атомных бомб, часто даже без пролития крови! В чем дело?

У американцев нет никакой доктрины. Они упорно и тупо твердят о том, что США имеют атомное оружие и готовы к большой войне, но что делать, когда имеют место «малые» войны? Нет никакой наметки на план действий в случае таких малых войн. Эти малые войны начинаются всегда неожиданно для американского командования, всегда считаются «нерегулярными», не совместимыми с идеей большой войны. Их никто не старается предвидеть, исходя из общей политики СССР, они всегда возникают в момент, более выгодный коммунистам, чем их противникам. США надеются только на свой технический перевес. Но американское командование должно было бы помнить, что технический перевес — это еще не всё. Например, немецкое наступление против Франции и Англии летом 1940 года кончилось небывалым разгромом союзников, хотя силы немцев и были слабее. История знает

много аналогичных примеров.

По ту сторону положение иное. Учение коммунизма требует, чтобы коммунистические вожди всё время вели наступление на свободный мир. Однако, это же учение коммунизма считает нормальным, что наступление ведется и будет вестись по многим этапам, всё время преследуя только строго ограниченные цели. Из этого политического положения и вытекает советская идея частичных войн; если стать на точку зрения учения коммунизма, эта доктрина — очень разумная.

Вся сущность коммунизма, его учения, его политической тактики, «мирное сосуществование» и прочее — всё это не что иное, как только звенья в общей политике, конечная цель которой — завоевание всего мира и установление в нем коммунистического строя. Но лживость коммунистической пропаганды, невежество в вопросах советской политики, замена реальной картины вещей всякими мифами и предрассудками — всё это затрудняет для людей понимание сущности коммунистической политики.

Далее Киосингер разбирает вопрос малых войн с применением атомного оружия: такое применение вполне возможно, без особого риска вызвать большую войну. Наконец, автор уделяет много места вопросам стратегии, тактики и техники.

Этот труд вызвал бурную реакцию, дискуссии, стал настольной книгой не только военных, но и штатских читателей. Надеемся, что он заставит многих призадуматься над сущностью советской политики. И пусть анализ Киосингера — столь близкий нам по духу — поможет открыть глаза тем, кто еще витает в сфере вредных иллюзий.

Л. Зальцберг

«Волк из Лаэквэрэ»

В 1949 году Франц Ш. был присужден к 25 годам лагерного заключения. Зимой 1955/56 года, после переговоров канцлера Аденауэра в Москве о выдаче немецких военнопленных, он вернулся домой, про-

быв 6 лет в лагерях Караганды, Норильска, Колымы и Свердловска. Ему только 30 лет, но он уже седой. И долго еще спустя, после возвращения, его пугали шаги в ночной тишине улицы, стук в

чью-то дверь, чужие голоса: невольно рука шарилась под подушкой пистолет, верный спутник партизанской жизни.

Но не о пребывании в лагерях Советского Союза рассказывает Франц Ш., а о тех годах, которые он провел с партизанами, борцами за свободу в лесах Эстонии.

Автор Герман Бэр, со слов Франца Ш., написал эту книгу, которая читается как захватывающий роман и в которой говорится о маленькой стране и о маленьком народе, зажатом в тиски тирании, трудолюбивом, свободолюбивом и способном, любящем свою родину и ждущем, как и другие поработанные коммунизмом народы, светлого дня и часа освобождения.

Кто же были эти борцы за свободу, называвшие себя «братьями леса», и как случилось, что они пошли в лес?

После захвата большевиками Эстонии и, особенно, после объявления мобилизации в начале войны с немцами, многие эстонские патриоты ушли в леса, не желая носить ненавистную форму советских захватчиков. Среди них были люди всех слоев общества — раскулаченные крестьяне, рабочие, студенты, ученые, служащие и чины бывшей эстонской армии. В ходе войны они сражались потом на стороне немцев, но, разочаровавшись в «освободителях», ушли в партизаны, чтобы бороться против недавнего союзника. В 1945 году война в Эстонии далеко еще не кончилась. «Братья леса» продолжали свою борьбу за свободу, теперь уже снова против коммунистических насильников, борьбу, которая продолжается и по сей день. Борьбу против общества и против власти, которые не защищают прав человека, но, наоборот, жестоко карают его за дерзновение иметь свои взгляды, суждения и желания. С этими «братьями леса», спаянными ненавистью, отвагой, чувством мести и, более всего, жгучим стремлением к свободе, Франц Ш. проводит годы в лесах и болотах.

По окончании войны в 1945 г. Франц Ш. попадает в плен в Эстонии, и его заключают в лагерь в Кивизэли. Три раза ему удается бежать из лагеря и три раза

его снова схватывают и загоняют за проволоку. Кивизэли — это место большого и известного предприятия по добыче сланца. Франц Ш. и его товарищи по плену работают там в шахтах и грузят вагоны. Дым завода, в котором, путем перегонки, добывается сланцевое масло, днём и ночью висит над лагерем и становится для пленных символом их рабства, осуществляемого новейшими и изощреннейшими методами эксплуатации.

При первом своем экспромтом совершенном побеге, Франц Ш. находит приют в доме эстонского священника Палумэ. Палумэ симпатизирует «братьям леса». У него в доме запрятаны боеприпасы и оружие. К чему, спрашивается, священнику автомат, как это сочетать с заветом Христа: «Не убий!» И не всякая ли власть, даже чужая, от Бога? Нет, решает Франц Ш. Власть, царящая в Эстонии, закалила церковь и её служителей, заставляя их подчиняться воле безбожнейших из безбожных, учиня всякие трудности верующим, препятствуя посещению церкви, возлагая непосильные налоги и переделывая даже тексты притч до тех пор, пока, наконец, слово Божие теряло свой первоначальный смысл и становилось достаточно безопасным.

Между Францом Ш. и Лейдой, дочерью священника, просыпается любовь. Лейда, точно предчувствуя трагическую развязку, окунается в эту любовь, ища в ней спасения и забвения.

Недолго длится их молодое, тайное счастье. Франца Ш. обнаруживают в доме Палумэ. Священника ждет жестокая расправа властей — его с семьей депортируют.

Но воля Франца Ш. к свободе не сломлена. Новое бегство из Кивизэли, на этот раз с тремя товарищами, удастся. Они долго скрываются в лесу в землянках, месяцами ведя свою личную борьбу за свободу. При очередной облаве их обнаруживают. Франц Ш. попадает в тюрьму маленького эстонского городка. И вот настает день, — за ним приходят, чтобы снова погнать его в ненавистное рабство в Кивизэли, где его ждут бури, побои и издевательства.

В дежурке сидят молодой русский солдат-конвойный и милиционер. Солдат

Саша, к великому изумлению милиционера, угощает Франца Ш. и даже дает ему выпить глоток водки. Но, будто вспомнив что-то, Саша вдруг делается строгим и серьезным и, бряцая оружием, грозно приказывает: «Давай!» Точно он опять загнал «человека» в себе куда-то далеко, далеко...

Но, несмотря на всю напущенную суровость, Саша дружелюбно относится к своему пленному. И Франц Ш. думает: он мог бы стать моим другом, я мог бы полюбить его. Почему же, почему такая дружба не могла бы быть возможной?!

Весною 1946 года Францу в третий раз удается бежать. Он примыкает к «братьям леса», разделяет с ними их партизанскую жизнь и скитание по лесам. Они жестоко расправляются с изменниками дела свободы и наемниками власти. Они неслышно и невидимо приходят из темноты и уходят в темноту, оставляя за собой страх и растерянность. Население всецело на стороне «братьев леса», всячески поддерживая и укрывая их.

«Господа порабитители», — с ненавистью называет коммунистов Уссуэл, бывший крестьянин, предпочитавший жизнь партизана колхозному ядру.

«Да, думает Франц, Уссуэл прав, но видел ли Уссуэл когда-нибудь, знал ли он такого солдата, как Сашу. Маленького русского солдата, накормившего пленного и защитившего его по дороге в лагерь от нападков своих же товарищей? Наверно существуют тысячи таких, как Саша, сохранивших свои сердца и не давших затуманить себе голову. С такими Сашами можно жить на свете».

Провозглашается амнистия «братьям леса». Многие, поверив лживым обещаниям, возвращаются в родные места. Но

не долго длится эта мнимо-спокойная жизнь. Начинаются облавы, аресты, депортации, раскулачивание. Земля орошается слезами матерей, детей и стариков. Стон разносится по маленькой стране, но его почти никто не слышит в свободном мире, мало кто узнает о новых страданиях измученного народа.

И снова леса кишат людьми. Если раньше их сплавивала решительность и отвага, то теперь они спяны еще и страхом. И этот страх порождает новые формы сопротивления — «тактику осы». Летучие отряды появляются то здесь, то там и, выполнив свое задание, вновь исчезают.

1949 год. Группа партизан, к которым принадлежит и Франц Ш., путем предательства попадает в руки властей. Начинается долгомесечное томительное тюремное заключение в ожидании приговора.

И тут, в Таллинской тюрьме, цепляясь за решетку окна, Франц Ш. вновь видит Лейду, вместе с другими арестантками совершающую прогулку на тюремном дворе. Лейду, некогда так нежно любимую, а теперь такую далекую, недостижимую. Если Франца и мучит сознание, что она страдает по его вине, — ведь это он был косвенной причиной её ареста и несчастья ее семьи, — то всё же он чувствует и понимает в её такой знакомой и родной улыбке, что ни он, ни она не виноваты. Виноваты те, для которых любовь и человеческое счастье — лишь препрады на их сером жестоком пути выполнения планов, пятилеток и требований. Те, кто хотят превратить жизнь в одну сплошную и беспроблемную тюрьму.

М. Шведова

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

(ОКТАБРЬ—ДЕКАБРЬ 1958 г.)

ХРОНИКА

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА

Пресс-конференция советских и иностранных журналистов в Отделе печати МИД СССР о запуске американских разведывательных шаров в пределы воздушного пространства СССР.

«Правда» № 285 от 12 октября

✱

Нота советского правительства правительству США с протестом против запуска шаров в воздушные пространства СССР.

«Правда» № 287 от 14 октября

✱

Речи Н. С. Хрущева в Ставрополе и Краснодаре по вопросам сельского хозяйства.

«Правда» № 288 и № 289 от 15 и от 16 октября

✱

Беседа Н. С. Хрущева с колхозниками села Калиновки Курской области.

«Правда» № 294 от 21 октября

✱

23 октября присуждение Нобелевской премии по литературе Б. Л. Пастернаку. Начало его травли властью и казенной общественностью в СССР.

Речь Н. С. Хрущева и доклад В. Е. Семичастного и др. на торжественном пленуме ЦК ВЛКСМ в связи с 40-летием комсомола.

«Правда» № 303 от 30 октября

✱

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР — «Об обеспечении населения города Москвы картофелем и овощами за счет производства их в спе-

циализированных совхозах Московской области».

«Правда» № 306 от 2 ноября

✱

В ЦК КПСС, Совете Министров СССР и ВЦСПС — О переводе на сокращенный рабочий день и упорядочении заработной платы рабочих и служащих предприятий машиностроительной, нефтяной и газовой промышленности.

«Правда» № 308 от 4 ноября

✱

Сообщение ЦК КПСС и Совета Министров СССР — Об успешном выполнении государственного плана заготовок хлеба и других продуктов колхозами и совхозами Советского Союза в 1958 году.

«Правда» № 310 от 6 ноября

✱

Доклад А. П. Микояна на торжественном заседании Московского Совета 6 ноября 1958 г., посвященный 41-ой годовщине октябрьской социалистической революции.

«Правда» № 311 от 7 ноября

✱

Речи Н. С. Хрущева и В. Гомулки на митинге дружбы народов Советского Союза и Польской Народной Республики.

«Правда» № 315 от 11 ноября

✱

Советско-Польское заявление в связи с пребыванием делегации Польской Народной Республики в СССР.

«Правда» № 316 от 12 ноября

*

Речь Н. С. Хрущева на приеме выпускников военных академий 14 ноября 1958 г. по вопросам семилетнего плана и международного положения.

«Правда» № 319 от 15 ноября

*

Тезисы ЦК КПСС и Совета Министров СССР — Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в стране.

«Правда» № 320 от 16 ноября

*

Пресс-конференция отдела печати посольства СССР в ГДР по поводу возвращения в СССР И. В. Овчинникова и В. С. Ильинского.

«Правда» № 323 от 19 ноября (стр. 6)

*

Об освобождении генерала армии Серова Ивана Александровича от обязанностей председателя Комитета государственной безопасности при Совете Министров СССР в связи с его переходом на другую работу.

«Правда» № 342 от 8 декабря

*

Доклад Н. С. Хрущева на декабрьском

плenumе ЦК КПСС — «Итоги развития сельского хозяйства за последние пять лет и задачи дальнейшего увеличения производства сельскохозяйственных продуктов».

«Правда» № 350 от 16 декабря

*

Постановление пленума ЦК КПСС от 19 декабря по докладу Н. С. Хрущева (пленум с 15 по 19 декабря).

«Правда» № 354 от 20 декабря

*

Закон о Государственном бюджете СССР на 1959 год.

«Правда» № 358 от 24 декабря

*

Закон об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР, принятый сессией Верховного Совета СССР.

«Правда» № 359 от 25 декабря

*

Закон об утверждении основ уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, принятый сессией Верховного совета СССР.

«Правда» № 360 от 26 декабря

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

Нота советского правительства правительству США о согласии на начало переговоров в Женеве о прекращении испытаний ядерного оружия (от 1 октября 1958 г.).

«Правда» № 275 от 2 октября

*

Заявление ТАСС о причинах возобновления испытаний ядерного оружия в СССР.

«Правда» № 276 от 3 октября

*

Ответ Н. С. Хрущева на вопрос корреспондента ТАСС — является ли война в Тайваньском проливе гражданской войной?

«Правда» № 279 от 6 октября

*

Открытие Ташкентской конференции писателей стран Азии и Африки — 7 октября.

Назначение советского посла в Марокко — Пожидаева Д. П.

«Правда» № 284 от 11 октября

*

Памятная записка советского правительства правительству ФРГ о явлениях, мешающих улучшению отношений между странами.

«Правда» № 289 от 16 октября

*

Нота советского правительства правительству США по вопросу Совещания в Женеве о прекращении испытаний ядерного оружия.

«Правда» № 304 от 31 октября

*

Заявление советского правительства правительству Ирана против намерения Ирана подписать военное соглашение с США (от 31 октября).

«Правда» № 305 от 1 ноября

*

Нота МИД СССР посольству США по вопросу созыва совещания в Женеве о предотвращении внезапного нападения.

«Правда» № 306 от 2 ноября

*

Нота советского правительства итальянскому правительству против создания на территории Италии баз для запуска ракетного оружия (от 1 ноября).

«Правда» № 307 от 3 ноября

*

Заявление ТАСС, с требованием вывода из Кореи американских войск.

«Правда» № 313 от 9 ноября

*

Открытие женевского совещания экспертов по вопросу о мерах предотвращения внезапного нападения.

10 ноября

*

Заявление ТАСС о «неблагоприятных» маневрах правительств США и Великобритании на Генеральной Ассамблее ООН по вопросам прекращения испытаний ядерного оружия.

«Правда» № 319 от 15 ноября

*

Ноты советского правительства правительствам США, Великобритании, Франции, правительству ГДР и ФРГ по Берлинскому вопросу (от 27 ноября со сроком до 27 мая 1959 г.).

Пресс-конференция Н. С. Хрущева в Кремле 27 ноября по тому же вопросу.

«Правда» № 332 от 28 ноября

*

Обмен нотами между правительством СССР и правительством Японии по поводу использования японской территории вооруженными силами США.

«Правда» № 333 от 29 ноября

*

Заявление советского правительства от 2 декабря об американско-японских переговорах в Токио и пересмотре «Договора Безопасности».

«Правда» № 337 от 3 декабря

*

Декларация советского правительства по вопросу о прекращении испытаний атомного и водородного оружия, с проектом Соглашения о прекращении этих испытаний.

«Правда» № 338 от 4 декабря

*

Обращение Н. С. Хрущева к Председателю Конференции народов Африки в Аккре.

«Правда» № 339 от 5 декабря

*

Декларация советского правительства по вопросу о мерах по предотвращению внезапного нападения.

«Правда» № 342 от 8 декабря

*

Заявление ТАСС по поводу Берлина и «угроз Запада».

«Правда» № 346 от 12 декабря

*

Ответы Н. С. Хрущева на вопросы шеф-корреспондента газеты ФРГ «Зюд-дейче Цейтунг» Г. Кемпски.

«Правда» № 347 от 13 декабря

*

Заявление советского правительства в связи с предстоящей сессией НАТО (16 декабря).

«Правда» № 349 от 15 декабря

*

Заявление советского правительства правительству Турции по поводу переговоров Турции с США о заключении между ними нового военного соглашения.

«Правда» № 351 от 17 декабря

*

Заявление ТАСС по вопросам мирного сосуществования и итогам сессии НАТО 16 декабря.

«Правда» № 358 от 24 декабря

*

Постановление Верховного совета СССР по вопросу о прекращении испытаний атомного и водородного оружия и по Берлинскому вопросу.

«Правда» № 360 от 26 декабря

СПИСОК КНИГ, ПРИСЛАНЫХ НА ОТЗЫВ В РЕДАКЦИЮ:

Стихи:

Сергей Маковский «Еще страница», Париж, 1957.

А. Васильковская «Узелок», Сан-Франциско, 1957.

М. Харитоновна «Мелькнувшие в пути», Париж.

Александр Биск «Избранное из Райнера Мариа Рильке», Париж.

Л. Даль «Иная жизнь», изд. «Странник».

М. Шелехова-Бенке «Женщины в зеркале времен», Буэнос-Айрес, 1957.

А. Гейнцельман «Космические мелодии», «Священные огни», Неаполь, изд-во Пиронти.

Проза:

Борис Филиппов «Кресты и перекрестки», Вашингтон, 1957.

М. Карачеев «Ярлык Великого Хана», историч. роман, Буэнос-Айрес, 1958.

Воспоминания:

Родион Березов «Что было», Сан-Франциско, 1958.

С. Каменский «Век минувший», Париж, 1958.

Искусство, литературоведение и др.:

Николай Еленев «Стольник Потемкин и его портреты», «О двух неизвестных портретах», изд. Русск. историко-родосл. О-ва, 1957, 1958.

Peter Jershov „Letters of Gorky and Andreev (1899—1912)“, New York — London, 1958.

С. Н. Плаутин «Слово о полку Игореве», Париж, 1958.

Н. Эрн «Таинственный смысл Откровения Св. Иоанна Богослова», Буэнос-Айрес, 1956.

Александр Галин «Израиль — еврейское государство», изд. «Оманут», Тель-Авив, 1958.

«Мосты» № 1, 1958, Лит.-худ. и обществ.-полит. альманах.

Copyright by „Possev“

Главный редактор Е. Р. Романов
Заместитель главного редактора Н. Б. Тарасова

Редакционная коллегия:

А. Н. Артемов, А. Н. Неймирок, А. И. Поплюйко, А. С. Светов.

Адрес редакции журнала «Грани»:
Possev-Verlag, Frankfurt/M., Merianstr. 24-a

Druck: Possev-Verlag, V. Gorachek K. G., Frankfurt Main.

Год издания XIII

Выходит 4 раза в год

**ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ**

Г Р А Н И

№ 1

(РАСПРОДАН)

В номере :

Е. Романов — Вместо программной статьи; В. Каралин — Освобождение; С. Павлов — Чужой берег; С. Максимов — Танюша; Б. Вашин — Агентство «Молниеносный ответ»; М. О. Кубе — В гостях у «дикарей»; А. Угрюмов, А. Неймирок, Ф. Борисов — Стихи; Н. Витов — Гуманизм Федора Достоевского; Ж. П. Сартр — Новая французская литература; Проф. Д. С. — «Суриков, как художник-историк»; Р. Воробьев — По поводу статьи проф. Д. С. «Суриков, как художник-историк»; Библиография; Из мира литературы, искусства и науки.

№ 2

(РАСПРОДАН)

В номере :

Д. Новоселов — Клоун; С. Максимов — Прохожая; М. Кубе — На севере диком...; Ю. Гошин — Первый шаг; В. Гальской, В. Тополев, А. Котлин, С. Бонгарт, В. Завалишин, Р. Воробьев, И. Елагин, А. Парфенов, А. Угрюмов, О. Анстей — Стихи; Ф. Борисов — Россия и революция; С. Левицкий — Владимир Соловьев; П. Итирим Сорокин — Течение социальных отношений, войн и революций; Ф. Б.-в. — Древнерусская икона; Г. Стшелецкий — Автопортреты Рембрандта; Н. В. Ветлугин — Энергия атомного ядра; Библиография; Из мира литературы, искусства и науки.

№ 3

(РАСПРОДАН)

В номере :

Н. Александров — Бамбадон; С. Максимов — Царь Иоанн; Е. Гагарин — Белые ночи; Н. Табурин — Счастье; М. О. Кубе — Забытый адмирал; Проф. И. А. — Встречи с Сергеем Есениным; А. Котлин, А. Парфенов, А. Неймирок, В. Гальской, В. Марков, А. Угрюмов, В. Тополев, В. Завалишин — Стихи; С. Левицкий — Трагедия отлаченного добра; Р. Воробьев — Социалистическая утопия в России; Николай Саввич — Критик-художник (памяти Петра Пильского); Б. Филиппов — Чудодетей песни; Е. Е. Климов — Певец крестьянской детворы; Н. В. Ветлугин — Энергия атомного ядра.

№ 4

В номере :

С. Максимов — Денис Бушуев; Г. Андреев — Новелла о танке; А. Неймирок — Сербские народные былины; Н. Моршен, В. Завалишин, В. Тополев, Б. Филиппов — Стихи; В. Каралин — Застигнутый посреди дороги; Ф. Сиверцев — Язык и стиль Пушкина; Проф. А. Филиппов — Философия «как будто бы»; К. Сакс — Законы развития искусства; Е. Шугаев — Музыкальная жизнь Америки. В. Горич — Нефть; Библиография; В. Стремлев — Послевоенные звезды; А. Флауме — О трех учебных книгах; Из мира литературы, науки и искусства.

Цена 3 марки

за границы — 0,75 доллара

№ 5

В номере:

А. Землев — Родина ветловая; Бор. Зайцев — Сердце Авраамия; Г. Андреев — Встреча; Э. Хемингуэй — Революция; Д. Новоселов — В Коктебеле; Н. Моршен и О. Клычков — Стихи; Л. Ржевский — Живое и мертвое слово; Г. Иссако — Предсказанная эмигрантская поэзия; Н. Кошеватый — Воинствующий материализм, кризис культуры и грядущее новое сознание; Н. Осипов — Внутренняя эмиграция в СССР; В. Марков — О проблемах современной музыки; Е. Шугаев — Кризис современной архитектуры; С. Левицкий — Мировоззрение психоанализа; Н. Рутыч — Куликовская битва; В. Горич — О межпланетных путешествиях; Библиография; В. Стремлев — «Размышления о ювелирах».

Цена 3 марки

за границей — 0,75 доллара

№ 6-7

В номере:

С. Максимов — Денис Бушуев.

Цена 8 марок

за границей — 2,50 доллара

№ 8

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; Г. Андреев — Соловецкие острова; Дм. Кленовский и Ник. Моршен — Стихи; Мария Кригер — Отравленная туника; Всеволод Горелов — Бунтовщик и искатель; Капитан Воробьев — Советское танкостроение; Р. Редлих — Культ Сталина; В. Мерцалов — Сталин.

Цена 3 марки

за границей — 1 доллар

№ 9

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; В. Мартов — Угасшие звезды; Б. Филиппов — Монастырь; Святое Пасоэрье; А. Шишкова — Стихи; Л. Р-ский — Закат великих традиций; Н. Рутыч — К вопросу о развитии исторической мысли в СССР; С. Левицкий — Страх свободы; Н. Гаврилов — Цена достижений; Александр Уралов — Реставрация «критики и самокритики»; Библиография; П. Тверской — О русской песне; Л. Р. — Стихи сегодняшней нашей жизни.

Цена 3 марки

за границей — 1 доллар

№ 10

В номере:

Г. Андреев — Тамара; В. Мартов — Угасшие звезды; Григорий Климов — Диалектический цикл; Александр Неймирок — Стихи; Олег Ильинский — Стихи; Борис Филиппов — Петроград-Ленинград; Н. Громов — Кто победил?; А. Седов — Искусственное превращение элементов; Л. Ржевский — Светофоры на путях советского языкознания; В. Мерцалов — Животноводческая трехлетка; Н. Аркадьев — Книга, не достойная героев.

Цена 3 марки

за границей — 1 доллар

На складе издательства есть небольшое количество старых (4 - 10) номеров.

Цена отдельного номера: 3 марки (за границей 1 доллар с пересылкой).

Цена номера 6-7 — 8 марок (за границей 2,50 дол.)

№ 11

В номере:

Л. Ржевский — Девушка из бункера; Д. Кленовский — Стихи; С. Юрасов — Из цикла «Переводы самого себя»; Н. Аркадьев — Когда-то осенью; Г. Круговой — Неприятная жертва; В. Марков — Стихи. Переводы; Документы нашего времени — ИТК; Жак Сорель — Запад

и мы; Н. Осипов и Р. Редлих — Сознание и «сознательность»; Г. Андреев — Годы рождения 1927 - 1930; В. Мерцалов — Закрепощение трудящихся и трудовые резервы СССР; Библиография; Отдел пародий.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 12

В номере:

С. Юрасов — «Враг народа»; О. Ильинский — Стихи; Г. Андреев, Л. Ржевский — Награда; Н. Моршен — Стихи; Б. Филиппов — О многом; А. Шишкова — Стихи; Н. Берберова — Владислав Ходасевич; А. Трушнович — Берлин — окно в Россию; Э. Ройтер — Речь на собрании «Свободного Союза русско-немецкой дружбы»; Библиография.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 13

В номере:

Л. Ржевский — Между двух звезд (роман); Н. Соколов — Пути-дороги (роман); Г. Андреев — При взятии Берлина (рассказ); Стихи эмигрантского рассеяния; В. Мартов — Угасшие звезды (роман); Б. Вышеславцев — Вольность Пушкина; В. Марков — Творческий облик А. Жюда; Н. Рутыч — Декабристы; Н. Тарасова — Поединок генералиссимусов; Л. Осипова — Стахановский миф; Отдел пародий.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 14

В номере:

Е. Гагарин — Возвращение корнета; В. Свен — Певчая печка; О. Анстей, А. Лисицкая — Стихи; В. Мартов — Угасшие звезды; В. Марков — Творческий облик Андре Жюда; С. Левицкий — Достоевский и кризис гуманизма; М. Балмашев — М. Н. Ермолова, великая русская актриса; Библиография.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 15

В номере:

А. Ремизов — Стекольщик; А. Неймирок — В поисках; Б. Филиппов — Два рассказа; Л. Алексеева — Стихи; А. Кашин — Желтая Волга; О. Ильинский — Стихи; В. Свен — Канал пяти морей; О. Емельянова — По следам гололевского юбилея; В. Вейдле — Старость Шекспира; Документы нашего времени: Годы армии 1945 - 49; Р. Редлих — Актив — социальная опора советской власти; Н. Д. Добровольская — Западская — Явления жизни в научном освещении. Библиография.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 16

В номере:

Н. А. Тэффи — Анюта. Русь; Л. Ржевский — У Тэффи; Б. Ширяев — Овечья лужа; А. Неймирок, О. Можайская, А. Шишкова — Стихи; Г. Андреев — После концлагеря; В. Мерцалов — По Голландии; Г. Алексинский — Воспоминания о Н. А. Тэффи. Критика — Публицистика — Наука; Л. Р-ский — Когда Илья Эренбург молился; Н. Донец — Проблема истины и ее решение Лениным; С. Левицкий — Безумие рационализма; Н. Рутыч — Казань. Библиография.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 17

В номере:

Л. Алексеева — Весенний цикл; И. Сургучев — Кающийся бес; Н. Тарасова — У границы; А. Кашин — Ожидание; В. Свен — Пришвинское; С. Орлов — Из лирического блокнота (стихи); Н. Соколов — Пути-дороги;

В. Свен, А. Искандер — Охотничьи рассказы; Н. Кошеватый — Встречи с А. Вельм; А. Трушнович — Кембридж; В. Самарин — Фронт в тылу; Н. Арсеньев — Русские просторы и народная душа; Р. Редлих — Работники большевистского аппарата; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 18

В номере:

И. Бунин — Сны; Б. Филиппов — Счастье; Г. Андреев — Будет хорошо; Г. Петров — Ленинградский Петербург; Ф. Барков — Строители Петербурга; А. Касим, А. Лисицкая — Стихи; В. Гроссман — За правое дело (главы из романа); Н. Анатольева — В неравном бою; В. Самарин — Фронт в тылу (из опыта минувшей войны); В. Ильин — Сергей Прокофьев. Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 19

В номере:

А. Кашин — Мои знакомые. Повесть первая. Мишка и другие; А. Дар, Олег Ильинский, Александр Неймирок, Екатерина Таубер, Игорь Чиннов — стихи; В. Свен — Каламбай; Алексей Ремизов — Статуэтка; Ирина Сабурова — Вара; Документальная проза; Лев Дувинг — Великая скорбь; Критика и публицистика; Н. Тарасова — Тринадцатый апостол; Гр. Забежинский — Н. Г. Чернышевский и его «эстетика»; С. Левицкий — Об одной забытой полемике; В. Марков — Человек в джунглях; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 20

В номере:

Л. Ржевский — Памяти И. А. Бунина; И. Сургучев — «За чахохбили» (сцена из пьесы «Вождь»); А. Кашин — Мои знакомые. Повесть вторая. Чоротово колесо; Л. Алексеева — Маленькие рассказы: Тедди из Стокгольма. Экватор. Падение Семена Семеновича. Как мы были артистами. Золотые туфельки; К. Гершельман — Стихи; В. Ширнев — Горка Голгофа; В. Самарин — Город контрастов — Нью-Йорк; Ф. Барков — Художник Ф. Я. Алексеев, родоначальник русского городского пейзажа (1753 — 1953); Алексей Ремизов — Потихоньку, скоморохи, играйте; Н. А. Горчаков — Евреин; Н. Тарасова — Тринадцатый апостол; Д. Кленовский — О культовых мотивах в русской поэзии нашего века; Н. Арсеньев — О духовной традиции и о «разрывах» в истории культуры; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 21

В номере:

Л. Ржевский — Сентиментальная повесть; Д. Кленовский — Два стихотворения; Анатолий Дар — Солнце все же светит; О. Анстей, Борис Нарциссов — Стихи; В. Свен — Селитер; В. Унжовский, Т. Алексинская — О Куприне; В. Самарин — За спинами героев; Л. Осипова — Дневник коллаборантки; Борис Филиппов — Глухие времена стеньга; Гр. Забежинский — Критическое о критиках. Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 22

В номере:

Георгий Петров — Ее не будет больше никогда; Л. Алексеева — Мой осколок; Н. Неймирок — Товарищ баронесса; А. Кашин — За жизнью жизни!; А. Ремизов — Три сказки; В. Свен; — Серка; И. Сургучев — Письмо Периколы; В. Филиппов — Стена; А. Лисицкая — Сонеты; Анатолий Дар — Солнце все же светит; А. П. ЧЕХОВ. Эttore Логат

го — Чехов в Италии; Николай Татищев — А. П. Чехов и французы; К. Фитцлайон — Чехов в английской литературе; Грета Йельм — Чехов-драматург в Швеции; Виллиам Йенсен — «Вишневый сад» в Дании; А. Н. — Чехов у сербов; Глеб Струве — Чехов, Мейерхольд и фальсификаторы; В. Марков — О Хлебникове; С. Левицкий — С. Л. Франк и его учение; Е. Двойченко — Маркова — Пулково и американские астрономы; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 23

В номере:

В. Свен — Бунт на корабле; Л. Алексеева — Стихи; А. Франк — Героические рассказы; Анатолий Дар — Солнце все же светит (роман); А. Касим — Стихи; Федор Пульман — Сердце Фландрии; А. Крамаровский — На святой земле; Л. Дувинг — Великая скорбь; Дм. Кленовский — Казненные молчанием; Н. Тарасова — Об источниках живой воды; Г. Забежинский — Критическое о критиках; Н. Татищев — О современной французской мысли; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 24

В номере:

Анатолий Дар — Солнце все же светит; Из русской зарубежной поэзии — Александра Васильковская, Григорий Забежинский, А. Неймирок, Сергей Орлов, Екатерина Таубер, Борис Филиппов, Игорь Чиннов; А. Землев — Из цикла «Родина ветловая»; Е. Яконовский — Небесные фонарики; Рост — Письма о Канаде; Н. Анатольева — В поисках выхода; Борис Нарциссов — Вунин — поэт; Борис Филиппов — Константин Леонтьев и эстетика жизни; Н. Татищев — Сновидение Фридриха Гельдерлина; Книжное обозрение.

Цена 4 марки

за границей — 1,25 доллара

№ 25

В номере:

А. Кашин — Вавилоновы звенья; Из русской зарубежной поэзии — Олег Ильинский, Андрей Ермаков, Борис Нарциссов, Фридрих Гельдерлин; И. Шмелев — Солдаты (главы из романа); Н. Неймирок — Катя; М. Сабашникова — Волошина — Невеста; Рост — Письма о Канаде; А. Ремизов — Три письма Горького; Н. Татищев — На персидской границе; Анкета философа; В. Марков — Легенда о Есенине; К. Федоров — Без числа и без меры; С. Левицкий — Гносеология самопознания; Проф. Б. Вышеславцев — Массовая психология; Проф. Н. Лосский — О возникновении русской революции и смысле ее; Г. Юрьев — Душители духа; Заметки о книгах и журналах.

Цена 6 марок

за границей — 1,75 доллара

№ 26

В номере:

Анатолий Дар — Солнце все же светит (продолжение); И. Сургучев — Вред; Л. Алексеева — Стихи; А. Светланин — Вечное и преходящее; Н. Анатольева — Два юбиляра; Б. Литвинов — Сэнт-Экзюпери или этика ответственности; В. Арсеньев — Сэнт-Экзюпери о людях и любви; С. Левицкий — Свобода и творческое воображение; А. Мазурова — «Беатриче»; А. Николлин — Некоторые черты типизма; В. Яновский — Кампания по сокращению штатов; А. Шик — Всеволод Мейерхольд и русский театр; В. Арсеньев — Образы минувшего; И. Сергеев — Книга о польской Голгофе; Р. Реннинг — Кооперация в России; А. Светов — Лисий хвост; Г. Петров — О том, что не на потребу.

Цена 6 марок

за границей — 1,75 доллара

№ 27 - 28

В номере:

Джордж Орвелл — 1984 (роман). Перевод с английского В. Андреева и Н. Витова; О КИТАЕ: Китайские рассказы. Типр. Веселые приключения «Вот-я-здесь». Судьба. Жу-ши — Мать-рабыня. Янг Чен-шен — Якорь. Перевод О. Фомина; Н. Татищев — Китайские поэмы; К. Глебов — Коммунизм XI века; Гуан Тэ-Мао — Китайские коммунисты как «аграрные реформаторы»; А. Светланин — Преходящее и вечное; Н. Цуриков — «Кровавое воскресенье» в Кемптене; Б. Литвинов — Даниил среди львов; Г. Петров — забытые юбилеи; Проф. Н. Лосский — Персонализм против материализма; Проф. Н. Арсеньев — Паскаль; Е. Двойченко — Маркова — Америка и американская революция в русской литературе; Л. Зальцберг — Европейское Объединение угля и стали; Заметки о книгах и журналах. Политические документы.

Цена 8 марок

за границей — 2,50 доллара

№ 29

В номере:

Ф. М. Достоевский — Записки из подполья, часть первая. Сон смешного человека, фантастический рассказ. Пушкин, очерк; профессор М. Л. Гофман — Жизнь и творчество Ф. М. Достоевского; Борис Тих — Холодная война с тенью писателя; С. Левицкий — Об «амнистии» Достоевского; Нина Федорова Вор — рассказ; Владимир Смоленский — Стихи; Татьяна Кудашева — Сказание о вечности, рассказ; Александр Котлин — Стихи из цикла «Флаг в море»; А. Кашин — «Товарищи, Кронштадт наш!», пьеса; А. Светланин — Преходящее и вечное. Советские портреты. Окончание; Л. Дувинг — Кронштадтское восстание в документах; Профессор П. Кованьковский — Советский империализм; В. Арсеньев — Проблемы молодежи и педагогики; Ник. Андреев — О том, чего не случилось; Р. Плетнев — Неоправданная храбрость; Александр Шик — Новый труд об Александре I; А. Светов — Унылые «бодрячки»; Л. Зальцберг — Движущие силы ГФР; В. Кунгурцев — издание Академии Наук СССР. Политические документы.

Цена 6 марок

за границей — 1,75 доллара

№ 30

В номере:

Джордж Орвелл — 1984, роман. Перевод с английского В. Андреева и Н. Витова; Лидия Алексеева — Стихи; Из шведских поэтов — Переводы Л. Ржевского; П. Ильинский — Три года под немецкой оккупацией в Белоруссии; А. Неймирок — О современной русской лирике в Советском Союзе (1953--1956 гг.); Николай Оцуп — М. А. Шолохов; А. Чемесова — Путешествие без карты; А. Светланин — XX съезд КПСС; А. Столыпин — Персональные изменения в ЦК КПСС; А. Двойченко — Маркова — Джефферсон и декабристы; Н. Лосский — Ответ советским критикам «Истории русской философии»; Л. Сергеева — Неисторический документ; Заметки о книгах и журналах; Политические документы.

Цена 6 марок

за границей — 1,75 доллара

№ 31

В номере:

Джордж Орвелл — 1984, роман. Перевод с английского В. Андреева и Н. Витова; Д. Кленовский — Стихи; Г. Климов — Формула власти (Отрывки из романа); В. Нарцисов — Стихи; Е. Яконовский — Кафе «Аполло», рассказ; Николай Оцуп — Два стихотворения; Ив. Новгород-Северский — Сибирские сказки; П. Ильинский — Три года под немецкой оккупацией в Белоруссии; А. Неймирок — О современной русской лирике в Советском Союзе (1953--1956 гг.); А. Кемпфе — Поэзия Леонида Мартынова; С. Макаровский — Д. С. Стеллецкий; А. Полюйко — Шагает атомный век... С. Левицкий — Об упадке философии; Н. Татищев — Опыты религиозной философии в США; Р. Плетнев — Иерархия ценностей; Заметки о книгах и журналах; Политические документы.

Цена 6 марок

за границей — 1,75 доллара

№ 32

В номере:

Александр Иванов — Узкой тропой, стихи; Письма из Москвы; Лев Дувинг — «Дорога к социализму» (Венгерская революция); Евг. Замятин — Наводнение, повесть; Современная русская литература; Психология творчества; А. Кашин — Художник и человек; Ник. Андреев — «Ересь» Замятина; Нина Федорова — Дети, роман; Н. Моршен — Два стихотворения; Р. Туров — Рассказ Ивана Ивановича; С. Маковский — Зимой, цикл стихотворений; Николай Оцуп — Персонализм как явление литературы; А. Кузнецова — Охматдет на поводу у советской власти; С. Левицкий — Тишайший философ; Е. Двойченко-Маркова — Вениамин Франклин и Россия; Заметки о книгах и журналах; Политические документы.

Цена 6 марок

за границей — 1,75 доллара

№ 33

В номере:

Конгресс за права и свободу в России; Резолюция Конгресса за права и свободу в России; Н. Тарасова — Культурная и духовная жизнь современной России; Евг. Евтушенко — Станция Зима, (поэма); Ю. Нагибин — Свет в окне, рассказ; А. Неймирок — Стихи; Борис Зайцев — Дни; Олег Ильинский — Стихи; Нина Федорова — Дети, роман; Ю. М. — Лагерные стихи; Борис Тих — О романе Дудинцева «Не хлебом единым»; Екатерина Таубер — В пути находящиеся; Ник. Андреев — Литература в изгнании; Н. А. Горчаков — Марксистская теория театра; Н. Евреинов — Любовь актера; К. Федоров — Третье звено диалектической триады; С. Германов — «Ставка на сильных»; Заметки о книгах и журналах; Политические документы.

Цена 6 марок

за границей — 1,75 доллара

№ 34 - 35

В номере:

Стихи из России; Нина Федорова — Дети, роман; Николай Оцуп — Антихрист, стихотворение; Сергей Маковский — Раздумья, цикл стихотворений; В. Самарин — Счастье, рассказ; Лидия Алексеева — Стихи; Н. Нарок — Прошлогодний снег, рассказ; Сергей Рафальский — Поэма о потустороннем мире; А. Мазурова — Восьмушка гороха, рассказ; Из современной венгерской поэзии. Переводы А. Неймирока; Лада Николенко — Королева Анна, очерк; Алексей Ремизов — Со креста; Ренуха; Ник. Андреев — А. М. Ремизов; Георг Палоци-Хорват — Янош Кадар; Анатолий Орлов — Дагестанское восстание 1934-35 гг.; Н. Оцуп — Гуманизм в СССР; В. Филиппов — Погорельщина; В. Литвинов — Восстание совести; Н. Дешевой — Атлантида и Америка по древним преданиям; Ю. Марголин — О свободе; Р. Редлих — Доктрина революции в холодной войне; Д. Стефко — Реорганизация управления промышленностью; Заметки о книгах и журналах; Политические документы.

Цена 9 марок

за границей 2,50 доллара

№ 36

В номере:

Борис Пастернак — Стихи; Л. Ржевский — Паренек из Москвы, повесть; Русская поэзия в СССР: А. Ахматова, В. Луговской, Н. Заболоцкий, С. Кирсанов, Л. Мартынов; В. Ширяев — Кудеяров дуб, повесть; Сергей Маковский — Н. С. Гумилев; Т. Нео-Сильвестр — Охтенская «богородица»; В. Завалишин — Александр Блок и русская революция; К. Фотиев — Нетленная краса (О романе В. Пастернака «Доктор Живаго»); Н. Рутыч — Россия и революция в 1917 году; А. Светов — Коммунизм и мир; Ю. Марголин — О свободе; Библиография. Политические документы.

Цена 6 марок

за границей — 1,75 доллара

№ 37

В номере:

В. Ширяев — Кудеяров дуб, повесть (Окончание); Русская поэзия за рубежом: Д. Кленовский, Лидия Алексеева, Олег Ильинский, О. Анстей, Сергей Рафальский, Е. Таубер; Н. Анатольева — «Цель творчества — самодатча...»; Александра Мазурова — Томас Вольф и его судьи; В. Пав-

лов — Размышления над «Искусством»; А. Поплюйко — Астронавтика — мечты и действительность; С. Кирсанов — Сорок лет советской экономики; Н. Рутыч — Брест; Библиография; Политические документы.
Цена 6 марок за границей — 1,75 доллара

№ 38

В номере:

Голоса молодой России — Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко, Я. Аким, Евгений Винокуров, Юнна Мориц, Владимир Гордиенко, Белла Ахмадулина, Иван Рядченко, Иван Харабаров, Валерий Рыжик, Владимир Соколов, Наталия Астафьева, Сергей Давыдов, Владимир Цыбин, Владимир Фирсов, Майя Борисова, Анатолий Поперечный, Александр Коренев — с предисловием И. Гусева; А. Кашин — Крест на солнце, рассказ; Отец Павел, рассказ; Петр Ершов — Клярилюбю, рассказ; Г. Климов — Все люди братья, глава из романа «Имя мое легион»; Проф. М. Новиков — Первые шаги в эмиграции; Михаил Верлогин — Из воспоминаний советского журналиста; Николай Оцуп — Свобода творчества; В. Майцев — Два течения в литературе и искусстве народов Кавказа; А. Мазурова — Мир любви; Н. А. Горчаков — Борьба за новое в советской кинематографии; А. Поплюйко — Ученые России в советской науке; Р. Плетнев — Закат Европы; Проф. Н. Афсеньев — А. С. Хомяков; С. Левицкий — По ту сторону славянофильства и западничества; Библиография; Политические документы.

Цена 6 марок

за границей — 1,75 доллара

№ 39

В номере:

Жорж Бернанос — Записки сельского священника; Стихи из России. П. Востоков — Из пережитого (Вместо выступления — Ник. Оцуп); Поэты русского зарубежья — Лидия Алексеева, Сергей Маковский, Михаил Дараганов, Сергей Рафаэльский; Лев Дувинг — Великая скорбь (Из третьей части); В. Литвинов — Соблазн отчаяния; Ю. Терапиано — «Смотр»; Николай Еленев — Кем была Марина Цветаева? Н. Евреинов — Живопись и театр; А. Иванов — Дворец науки — символ международного сотрудничества; Сергей Левицкий — Апостол современного рационализма; Проф. Н. Лосский — Украинский и белорусский сепаратизм; † К. Федоров (К. Штепа) — «Сталинизм» и «хрущевизм»; Библиография; Политические документы; Н. Анатольева — Между двумя съездами.

Цена 6 марок

за границей — 1,75 доллара

Цена 6 марок (6 DM)